

*НОВЫЙ
Журнал*

124

*THE NEW
REVIEW*

ИЗДАТЕЛЬСТВО YMCA — PRESS
 книжный магазин: Les Editeurs Reunis
 11, Rue de la Montagne-Ste-Genevieve
 75005 Paris France

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА YMCA — PRESS	US \$ долл.
СОЛЖЕНИЦЫН А. — Архипелаг ГУЛаг, том III (части V-VI-VII) ...	10,25
СОЛЖЕНИЦЫН А. — Бодался телёнок с дубом (очерки литературной жизни)	11,50
<i>и все произведения Солженицына</i>	
АЛДАНОВ М. — Истоки (роман, в 2-х томах, об "истоках" Революции в историческом прошлом России)	10,45
БЕРБЕРОВА Н. — Облегчение участи (6 повестей)	3,85
БЕРДЯЕВ Н. — Русская идея (основные проблемы русской мысли XIX и начала XX вв.)	5,75
БЕРДЯЕВ Н. — Миросозерцание Достоевского	5,75
БЕРДЯЕВ Н. — Смысл истории	5,75
БУЛГАКОВ С. прот. — Православие	6,40
БУЛГАКОВ М. Собачье сердце	5,10
ВЕЙДЛЕ В. — О поэтах и поэзии (сборник статей)	5,75
ГИППИУС З. — Дмитрий Мережковский	7,45
ГЛАДКОВ А. — Встречи с Пастернаком	5,10
ГЕРЦЫК Е. — Воспоминания (Бердяев, В. Иванов, Волошин, С. Булгаков, А. Герцык)	5,75

НОВИНКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ:

ВЕСТНИК Русского Христианского Движения (Париж — Нью Йорк — Москва), ежеквартальный журнал, номер 117	6,00
ИВАНОВ Г. — Собрание сочинений (с изд. 1912-1956 + Неизданное) ...	39,60
КАМЕНЕВ Л. — Чернышевский (с изд. 1933), стр. 193, Израиль 1971 ..	12,75
ЛЕОНТЬЕВ К. — Собрание сочинений (с изд. М. 1912), 4 тома	145,50
"МЫ" — Стихотворения Бальмонта, В. Иванова, Ивнева, Кусикова, Никулина, Пастернака, Рубановича, Хлебникова, и др. (с изд. 1920), стр. 63, Израиль 1969	12,75
ОДОЕВСКИЙ В. — Романтические повести (с изд. 1929)	17,45
"СТЫК" — Первый сборник стихов московского цеха поэтов (предисл. А. Луначарского) (с изд. М. 1925)	15,95
ТЕРЦ А. Прогулки с Пушкиным (брошюрованный)	6,40
ТЕРЦ А. Прогулки с Пушкиным (в переплёте)	7,45
ТОЛСТОЙ Л. — В чём моя вера (с изд. тома 23 1957)	3,85
ХЕТСО Г. — Евгений Баратынский, жизнь и творчество (Осло 1976) ...	21,90

НЕ ПОСЫЛАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДЕНЕГ ВПЕРЕД!
 КАТАЛОГ 1976 ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

**THE
NEW REVIEW
Новый Журнал**

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

Тридцать пятый год издания

РЕДАКЦИЯ:

Г. Андреев (Хомяков), Р. Гуль (главный редактор), Л. Ржевский
Секретарь редакции: Зоя Юрьева

NEW REVIEW, September 1976

Quarterly No. 124

2700 Broadway, New York, N.Y. 10025

Subscription Price \$20 — for one year

Publisher: New Review Inc.

Second Class Mail postage paid
at New York, N.Y.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>И. Чиннов</i> — Стихи	5
<i>В. Вейдле</i> — Четыре дня	6
<i>Дм. Кленовский</i> — Стихи	30
<i>В. Шаламов</i> — Ключ алмазный	31
<i>И. Елагин</i> — Стихи	37
<i>Ю. Кротков</i> — "Мехлис, чаю!"	38
<i>В. Перелешин</i> — Стихи	44
<i>А. Герц</i> — К вольной воле заповедные пути	45
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	73
<i>П. Муравьев</i> — Нос	74
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	86
<i>Л. Алексеева</i> — Стихи	87
<i>Г. Андреев</i> — Минометчики	88
<i>М. Волин</i> — Стихи	108
<i>А. Суконик</i> — Урок Бахтина	109
<i>Л. Владимирова</i> — Стихи	115
<i>Л. Остророг</i> — Стихи	116
<i>Р. Гуль</i> — Прогулки хама с Пушкиным	117
<i>Б. Нарциссов</i> — Стихи	130
<i>И. Одоевцева</i> — На берегах Сены	131

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Письма Марины Цветаевой</i>	141
<i>К биографии А. Белого</i> (публ. Г. Струве)	152
<i>Письма А. Белого</i> (публ. Роджера Кийза)	163
<i>Письма русских писателей</i> (публ. С. Крыжицкого)	173
<i>О. Чернова</i> . Холодная зима	184
<i>Т. Розанова</i> — Воспоминания об отце В.В. Розанове	219

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>Игумен Геннадий</i> — О метафизических предпосылках утопизма .	236
<i>В. Зубов</i> — О социологии и социологах в СССР	244
<i>Б. Прянишников</i> — Куда идет Америка?	258

ПАМЯТИ УШЕДШИХ:

Б. Ижболдин — А.Н. Анцыферов как экономист 279
Л. Зуров — Монах-иконописец Г.И. Круг 283

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

Горький о Ленине и революции 289

БИБЛИОГРАФИЯ:

Б. Бровцын — С. Крыжицкий. "И. Бунин. Под серпом и молотом". *Н. Лупинин*. — В. Босс. "Ньютон и Россия". *Ф. Силницкий* — П. Тигрид. "Политическая эмиграция в атомном веке". *Т. Фесенко* — "Українська муза", под ред. А. Коваленка. *Н. Первушин* — Р. Пейн и Н. Романов. "Иван Грозный". *Книги для отзыва* 292

1

Я недавно коробку сардинок открыл.
 В ней лежал человечек и мирно курил.
 "— Ну, а где же сардинки?" — спросил его я.
 Он ответил: "Они в полноте бытия.
 Да, в плероме, а может, в нирване они
 И над ними горят золотые огни,
 Отражаясь в оливковом масле вот здесь,
 И огнем золотым пропитался я весь."

Я метафору эту не мог разгадать.
 Серебрила луна золотистую гладь.
 И на скрипке играл голубой господин,
 Под сурдинку играл он в коробке сардин,
 Под сардинку играл — совершенно один.

2

В белой тундре слышен шелк:
 В снежной буре ходит волк.
 Серый зайчик пробежал.
 Серый волк его задрал.
 В жизни будущей, иной
 Станет волк большой свиньей.

Зайчик, перевоплотясь,
 Уж не зайчик, а карась.
 Ни свиные, ни карасю
 Жизнь дожить не дали всю.
 Но свиная в краю ином
 Стала розовым кустом.

Зайчик в круге бытия
 Воплотился в соловья.
 Он не заяц, он не крот,
 И над розой он поет.
 И, краса тех райских мест,
 Бывший волк его не ест.

Игорь Чиннов

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Малолетнему мне отец доставлял большую радость, когда брал меня с собой в Никольский рынок, покупать у Капустина икру. Считалось, что лучшего выбора ее нет нигде в Петербурге. Я охотно этому верил, тем более, что и сам капустинский лабаз представлялся мне наилучшим из всех возможных приближением сарая к некоему сказочному Дворцу Чревоугодия. Высокие стропила крыши прикрыты не были плоским потолком. Пол был посыпан добротнейшими опилками. Бочки стояли в приятном отдалении одна от другой, — с десятков зернистой и столько же паюсной. Лабазники I-го ранга, в белых передниках, давали отведать каждой, при помощи лучинки, — не той же, как я некогда предположил, а новенькой каждый раз, как мне тогда же любезно пояснили. На седьмой или восьмой я уставал, но рублевую и не пробовал: прямо начинал с трехрублевой, а к пятирублевой подходил с подобающим ей почтением. Брала мы по два фунта паюсной и зернистой, причем первую, очень плотную, заворачивали в пергаментную бумагу и вручали отцу, а вторую клали в красивую жестянку, подходящую ей даже по цвету, и вручали мне, того не ведая, что я ее несколько паюсной не предпочитал.

Что же до пива (которым однако икру запивать не полагалось), то, когда подавали его у нас к столу, оно всегда было в бутылке, на ярлыке которой значилось по чешски "Праве Чешке Пиво" и сообщалось по-русски, что изготовлено оно заводом Ивана Дурдина и Сыновей. "Папа, — спрашивал я, — отчего же Николай Андреевич не Николай Иванович?" — "Оттого что он, как и его брат, сыновья Андрея Ивановича Дурдина". — "А почему ты, перед тем как Николай Андреевич первый раз пришел к нам обедать, сказал мне, что он юркий и шуплень-

кий?” — “Чтобы тебя им удивить”. Но я вовсе тогда отцу и не поверил. Не мог быть Дурдин шупленьким и юрким. Оттого я его, как увидел, сразу и полюбил. Он был живым опровержением такой нелепости.

Это я все к тому, что Дарья Федоровна, о которой мой рассказ, до такой степени была *du cote de cher Dourdine*, что приходилась Николаю Андреевичу племянницей. Но мог бы я местожительство ей дать и на стороне Никольского рынка. Сестра ее, милостивая, хоть и не слишком тоненькая, Глафира Федоровна вышла замуж за Капустина. Существовали и другие свидетельства семейной и душевной близости Никольского рынка к пивоваренному заводу братьев Дурдиных. Иных из этих людей я знал, кое-кого и не забыл. Но речь поведу не о них. О Дарье Федоровне будет речь, которую я никогда не позабуду.

На масляницу 13-го года, мама, ни с того, ни с сего, — как я выразился, когда об этом узнал, — пригласила ее к нам в Финляндию. Слышал я о ней и раньше, но именно тогда ее впервые увидел. Мама мне ее расхваливала:

— Пресимпатичная, все говорят; жизнерадостная, веселая. Я пригласила ее на четыре дня. Покатаешься с ней на лыжах и в санях. Ведь никто к нам из молодежи на этот раз не придет. Велю мою комнату хорошенько протопить и вторую кровать туда поставить. Мать говорит, что она зябкая. И еще так смешно сказала: “Если уж очень будет смеяться и болтать, скажите ей: не журчи!”. И пожалуйста не куксись. Она тебе очень понравится.

— Ей что, лет двадцать пять? Кто-то сказал, что она “на выданье”?

— Ничего подобного: двадцать. А “на выданье” — вздор. Всякая девушка может стать невестой.

— Хочу учиться, не хочу жениться.

— Ах ты мусор этакий! Молоко на губах не обсохло, а туда же о женитьбе рассуждать! И в мыслях у меня такого не было. Да и слишком хороша она для тебя.

Последнее оказалось совершенно верным.

Удивила она меня так, как удивил бы ее дядя, если бы и впрямь оказался юрким и шупленьким.

Вошла раскрасневшаяся с мороза, стройная, гибкая, в котиковой шубке до колен, такой же шапочке и белых, мягких тщательной отделки валенках. Мама посылала за ней сани на станцию; поехать ее встречать я отказался.

— Что-ж, — спросила мама, — Анти вас нашел?

— Я его нашла. Никого другого и не было. Ехали чудно, быстрее быстрого. Лошадка у вас резвая. А он — смешной. По-русски едва-едва. А с ней всю дорогу разговаривал, и так сердито. Я ни слова не поняла.

Журчит, подумал я, и спросил, с холодком:

— На ее языке?

Она взглянула на меня весело и дружелюбно:

— Нет, на своем. Но я ведь и по-фински не понимаю. Да и не слушала: глядела вокруг. Церковь у вас, над разливом, очень хороша. А снегу-то сколько! В городе почти весь стаял, а тут — сугробы! Мы с вами на лыжах побегаем — и в снежки поиграем. Или нет? Вам, говорят восемнадцать только что "стукнуло", а мне уже давно двадцать один. Я — старшая: надо меня слушаться.

Тут она залилась таким звонким и милым девичьим смехом, и так ласково взглянула на меня, что я оказался полностью обезоружен. Сняла шубку, сняла валенки, осталась в темно-голубом шерстяном платье и в белых шерстяных чулках, натянула поверх них вынутые из дорожной сумки толстые серые носочки, подшитые кожей, и мама повела ее наверх. Она что-то оживленно говорила маме, поднимаясь по лестнице. Журчит, сказал я себе, глядя на них снизу, но теперь это значило что-то совсем другое: доброе. Журчит, как весенний ручеек. Да и нельзя ей не журчать, раз такой голос у нее — звонкий, как серебряный колокольчик. Надо ему звенеть. Пусть почаще звенит.

Накинув на себя что-то, вышел в солнечный снежный сад. На душе у меня стало и светло, и весело, и спокойно. Какая милая! И чем она так мила? Не красавица, но такая цельная, ладная. Улыбнулась, рублем подарила. И высокая, гибкая, как молодое деревцо. Сравненьице простенькое, но ничем его не заменишь. Как яблоня (но не закорузлая какая-нибудь) в цвету, в полном, полном цвету, так что уж больше некуда. Дыши, вдыхай, — это должно быть Богом "на выданье" и зовется. Темнорусая, а глаза

у нее серые, большие и совсем особого тона: нежно-нежно серые. И тихие, даже когда смеется, оттого и успокаиваешься, когда на нее глядишь. И никакой мазни! Ни брови, ни губы не подкрашены; и ничем вообще не тронуте лицо. Словно только что умылась в этом своем журчащем ручейке. Вся свежая; вся свежая и теплая! Сейчас придет.

И вот она уже на крыльце, в валенках, в белой толстой вязанке и вязаной белой шапочке. Улыбка сверкает на солнце.

— Идем! Где у вас лыжи? Покажите мне ваш сад.

Весь тот день, до сумерек, катались мы с ней на длинных, с палками, финских лыжах, по реке, по разливу, скатывались с крутых берегов, играли порой и в снежки; покатались еще немного и при лунном свете; и с каждым часом казалась она мне все милей, да и она ощущала как будто все больше ко мне приязни. А вечером сидели мы с ней и с мамой в диванном углу большой нашей столовой; горел камин, и она рассказывала нам о Меране, где была прошлою весной, о том, как там "чудно" цветут фруктовые деревья. И я молча твердил "как ты, как ты", и думал, что так часто говорит она "чудно", потому что сама она чудная, и звенел и журчал милый ее голос, и мама глядела на нее с умилением.

Утром, пока Дарья Федоровна ходила натирать чем-то свои лыжи, а заодно, как она предложила, и мои, мама мне сказала:

— Золото, а не девушка. Вот бы мне такую дочь! Покладистая, быстрая, ласковая. Опрятная. Спала, как сурок, а утром и перед сном мылась, как уточка. Сорочка у нее ночная — до пят, из тончайшего батиста, вышита у ворота ее рукой. Ну и все видно насквозь. Напрасно я тебе это говорю, но сложена как Диана...

— Которая?

— А вот та, в Эрмитаже. Ты мне ее показывал после Италии. Гудона.*

— Мамочка, еще немножко, и ты станешь знатоком искусств.

Тут вошла и она, сияющая, радостная, одетая иначе, чем

* Пусть любопытный читатель не ищет ее там, где ее больше нет. Она ныне в Лиссабоне.

накануне, но снова безо всякого шелка, только шерсть и белый батист, который удивительно шел к ее свежести и теплу. Протянула мне свою красивую крупную с очень длинными пальцами руку, а маму обняла и сказала:

— Как у вас хорошо, Ольга Александровна! Вот и камин вспыхивает и потрескивает, мы сейчас себе поджарим ветчину на кочерге, будет *Mauseschinken*. А там, — показала она на замерзшие окна террасы, видимые из столовой, — солнце во всю, а мороза всего три градуса.

Зажурчала, зазвенела... Не мог я уже слышать равнодушно ее голос, все хотелось мне сказать — не словам, а ему в ответ — что-то сверхрадостное, сверхсчастливое... Опять мы с ней без усталости катались на лыжах, веселились, смеялись, все больше друг другу нравились. Я был счастлив тем, что это ее чувство так же непосредственно чувствовал, как и свое; да уже и думать ни о чем не мог, кроме как о ней. А под вечер я ей предложил поехать со мной вдвоем на розвальнях, вдоль опушки леса, по безлюдной зимою дороге в Верхнее Райвола, и она, радостно на меня взглянув, тотчас согласилась. Поднялась наверх переодеться. Вязанку сняла, надела свою шубку поверх платья, на шею накинула легкий муслиновый шарф, а вместо муфты взяла, тут же названные ею чудными, теплые рукавички. Мы убрали переднюю скамью саней, сели рядом на низкое заднее сиденье. Ноги у нас лежали на сене; мы их покрыли теплой полостью; я стегнул вожжей рыжего нашего коня, и мы двинулись в путь.

Сперва ехали быстро, а потом все медленней вдоль опушки, любясь только еще поднимавшейся на небосклон луной, а потом я съехал немного с дороги, остановил лошадь под оснеженными деревьями и мы стали ждать полного ее подъема. Мороза точно и вовсе не было. Дарье Федоровне стало жарко, она расстегнула шубку, сняла варежки, шапочку и стала поправлять шпильки в волосах. "Какие чудные у вас руки", сказал я тихо, и поцеловал сперва одну, потом другую у запястья, а потом обе, сблизив их у корня ладоней. Она их не отняла, я закрыл глаза, их целуя, и почувствовал, что своими длинными пальцами она гладит мне тихонько лоб и виски. Чуть приоткрытые ее губы были совсем близко от моих, но я все целовал ее руки, гладившие меня так нежно, так нежно. Она

опустилась чуть ниже, сползла с сиденья на сено, как и я, шубка ее распахнулась, муслин не покрывал уже нежную ее шею, и я, не переставая целовать ее руки, ощутил нечто совсем новое, никогда не испытанное дотоле: понял всем существом, что она вся расцвела, разнежилась, раскрылась, что в тот миг, безо всякого предела, она всю себя мне отдает. Еще приблизились ее губы; сейчас я их поцелую, сейчас поцелую... Как вдруг она что-то сказала, тихонько спросила.

— Вы любите Апухтина?

Сердце у меня упало, точно от испуга. Я слегка отодвинулся от нее, приподнялся — ее руки упали ей на колени — и с отвратительной мне самому сухостью произнес:

— Вас, но не Апухтина.

За тучу спряталась луна, еще до этих слов, я плохо ее видел, кажется она изменилась слегка в лице, но все так же тихо и ласково сказала:

— Значит вы презираете Апухтина больше, чем любите меня?

Ничего еще не было потеряно. Ее руки готовы были вновь приблизиться к моему лицу. Приоткрытые ее губы еще ожидали моих. Но я, хоть и больно мне было, все с той же сухостью вымолвил:

— Мама его любит. Поговорите о нем с ней.

— Вот и моя мама тоже. А вы кого? Вероятно Блока? Я его мало знаю и плохо понимаю, но мне нравится

Я послал тебе черную розу в бокале

Золотого, как небо, Аи...

— Это не лучшее у него. Терпеть не могу цыганщину, но так люблю Блока, что у него и цыганщину люблю. Он что-то сделал из нее другое, свое. Но вы-то зачем о черной розе? Вы — белая, чайная, но не желтоватая, а розово-белая. И вся она раскрылась, такая чудная, душистая, — и злым шопотом я прибавил, — я ею дышал, душою ее дышал.

— Я никогда не душусь.

— Вот именно поэтому, — шепнул я еще злее.

Кажется она смутилась немножко, может быть покраснела. Поправила свой белый шарфик. Села прямей. Сказала почти без упрёка:

— Вы меня хвалите, но как-то сердито.

Тут стало сразу совсем светло. Из-за облака вышла совсем круглая луна — никому не нужный белый блин, подумал я; вероятно из-за него моя роза и стала совершенно белой. Но милые глаза ее улыбнулись, и она совсем тихо сказала:

— Нет? Не сердитесь?

А потом взглянула на луну и удивительно чисто вполголоса запела:

Ай та тройка! Снег пушистый!
Ночь морозная кругом,
Светит месяц серебристый,
Мчится парочка вдвоем...

— Если мчится, то и мы помчимся, — прервал я ее прямо-таки грубо и дернул вожжи.

Лошадь тронулась, выбралась на дорогу. Я повернул ее в обратный путь. Мы теперь сидели рядом на заднем сиденьи, как до остановки. Дарья Федоровна застегнула шубку, надела варежки. Она больше не пела. Конь наш бежал рысцой. Я начал как-то хрипло:

— Какой голос у вас; Боже мой, какой голос! Это он — серебристый, а не луна. Серебряный колокольчик, серебристый голосок! И этим голосом... Хорошо что напевали вы только, а не пели. Если б он зазвенел вполне, не знаю, что бы я сделал, завыл бы, что ли. При таком напеве, с такими словами! Пошлость того и другого вы сумели, правда, скрасить. Не поете ухарски: "снег- - пуши - - стай". И даже не "Гай да тройка" у вас получилось, а куда мягче и лучше: ай. А то ведь прямо, как ногтем, по стеклу: "ночь маароз - - - ная, светит месяц - - - сере - - брестай!" Брр! Вы учились пению?

— Нет. Слышала Вяльцеву, вот и запомнилось. А вы меня опять хвалите, хвалите, а все-таки браните.

Молча мы ехали теперь под равнодушною луной. Дарья Федоровна достала из внутреннего кармана шубки плоский портсигарчик матового золота и плоские спички в замшевом футляре, вынула папиросу Лаферма с пробковым ободком и закурила.

— Значит вы курите, Дарья Федоровна? — сказал я разочарованно. — Я еще вас не видел с папироской.

— Почти не курю. Так только, изредка.

Я умолк и сразу же погрузился в очень мне свойственную особую грусть, которой я пропитываюсь, как губка, становясь неспособным улыбаться, говорить, делать что бы то не было. Вожжи, и те, я едва держал в руках. Лошадь пошла шагом. Затем и вовсе остановилась.

И вдруг Дарья Федоровна бросила в снег недокурную папиросу, повернулась ко мне, тихие глаза ее на меня взглянули, она вынула теплую руку из рукавички и провела мне ею по лицу.

— Боже мой, — сказал я почти с бешенством, — и рука ее душистая!

— Я никогда не душусь, — проговорила она тихо, словно в привычках.

— Вот именно поэтому, выдавил я из себя, и слезы, которых не мог больше удержать, полились по моим щекам.

Она достала из замшевого конвертика большой во много раз сложенный белый платок — "из тончайшего батиста", подумал я, как ее сорочка — и стала мне его прикладывать к лицу. Слезы мои полились еще сильнее. Тогда, приложив свою щеку к моей, она зашептала:

— Не смейте плакать. Вы — милый. Вы мне друг навсегда. Хоть и сразу показались вы мне милым, но теперь я вас люблю куда больше, чем до ...Апухтина. Вы не солгали, где всякий бы солгал. Не смейте горевать. Я вас сейчас поцелую так...

Тут однако, я заметил, что у нее самой на глазах слезы. Смutilo это меня ужасно; я поцеловал рукав ее шубки; плакать перестал, но сказать еще ничего не мог. Подхлестнул коня; он побежал быстрее. Полуобняв меня левой рукой, она тихонько мне гладила плечо и спину.

— Не печальтесь. Не печальтесь. Ну прочтите мне стихи, любимые ваши, или какие хотите.

— С той поры, что вы вошли к нам вот в этой вашей шубке и "зажурчали", как говорят о вас близкие, любимые мои стихи, вот они:

Слышу ли голос твой
Звонкий и ласковый,
Как птичка в клетке
сердце запрыгает...

Осека; продолжать не мог. Но прибавил доктринально:

— Есть на эти слова два прекрасных романа — Глинки, немножко условный, "итальянский", и Даргомыжского, совсем чудесный. Вот его бы и пели.

Стегнул еще раз коня и мы очень скоро оказались дома. Поужинали почти молча в столовой чем-то холодным, оставленным для нас. Я был в отчаянии. Что-то случилось неправимое, от чего и ей больно и мне. Камин потух. Мы вместе поднялись наверх, чтобы там разойтись по нашим комнатам. На верхней площадке она повернула меня к себе лицом:

— Только не печальтесь. Если вы меня полюбили, я счастлива, даю вам слово.

И перекрестилась. А потом перекрестила и меня.

Вероятно поэтому заснул я сразу. Но часа через два проснулся, вскочил с постели, сел на нее и, сжав кулаки, проскрежетал: болван! Какое тебе дело до того, какие она любит романы и стихи? Что за беда: разлюбит, научится другие любить. Ведь она была тут, все равно, что тут, колотил я постель кулаком, вот здесь, вся твоя, вся ее свежесть, все тепло! Вся ее суть тебе говорила, целуй меня, возьми меня. И если бы ты ее взял, как мужчина, без оглядки, целиком, она отдалась бы тебе тут же навсегда, и любила бы тебя, как никто тебя любить не будет.

В бессильном бешенстве упал я на подушку, — и другой голос во мне заговорил со мной:

— Вот именно: как никто. Вот именно: навсегда. Отдалась бы тебе, полагая, что будет твоей женой, что детей от тебя родит. Как бы хорошо держала она младенца в больших своих руках! С какой любовью глядела бы на него тихими своими глазами! Ты об этом подумал? Небось потешиться ею хотел? Для плезуру? Благоприятным стечением обстоятельств воспользоваться? Девицу у-по-тре-бить, как у нас в школе молодевавшие негодяи выражались. Такую девушку! Такую девушку! Благодарю Апухтина и Вяльцеву, что они тебя удержали. И помолись Богу, чтобы никогда в жизни Он тебя не допустил "употребить" ни одну живую душу, — даже и для чего бы то ни было.

Оба голоса были мои голоса, но второй в те времена — да пожалуй и всегда — был более моим, чем первый. И когда я потом просыпался, чуть ли не каждые полчаса, от первого был во мне только еще шопот: "А не придет ли она к тебе вот сейчас? Зажги лампу, приоткрой дверь. Вот-вот войдет в толстых своих носках и длинной сорочке". Но чем ближе было к рассвету, тем больше беспокоило меня совсем другое. Среда и четверг прошли; остались пятница и суббота. Но ведь ничего у нас не вышло. Зачем же ей оставаться? Не уедет ли еще до кофе? Разбудит Анти, велит ему запрягать, да может и пешком пойти на станцию. А если нет, то уж непременно позвонит домой и, под предлогом чьей-нибудь болезни, сегодня же от нас уедет.

И действительно, когда я к восьми часам спустился в столовую, я нашел там кофейник, горящий камин, маму, но не ее. Хотел спросить, но меня мама спросила.

— Что ты с ней сделал?

— А что?

— Пришла вчера в своих носочках, осторожно отворила дверь, чтобы меня не разбудить, а я и не окликнула ее, хоть и не спала. Потом долго мылась в ванной, я и заснула. А ночью я много раз просыпалась. Она лежала тихенько, как мышка, но по моему не спала всю ночь.

— Где ж она теперь?

— Не знаю.

Но тут уже стояла в дверях и она. Валенки были на ней и шубка, накинутая на плечи поверх светлого шерстяного платья. Пришла со двора через кухню, розовая и улыбчивая, как никогда, и зажурчала звончей всегдашнего:

— Смотрите, Ольга Александровна, я снегом умылась. Поцелуйте меня в щеку. Видите, холодная какая. А вы, мой юный друг, возьмите мои руки. Что скажете? Ага! Вот я их сейчас у огня погрею.

Я подумал, что ее руки еще лучше согрелись бы в моих... После бессонной ночи, хоть и видна была немножко усталость вокруг глаз, она была свежая, как всегда, свежая и теплая.

После кофе, попросила разрешения позвонить по телефону. Я подумал: вот оно; верно я предугадал.

— Обещала маме на третье утро позвонить. Можно сейчас? Дверь в прихожую она не затворила. С мамой за столом, мы слышали разговор.

— Мама? Ты уже встала?

.....

— Чувствую себя отлично и погода лучше не бывает

.....

— И она тебе кланяется. Она — чудная. Полюбила ее, как родную.

.....

— Тоже премилый. Целый день бегаем с ним на лыжах.

.....

— Нет О нет! Приеду, как сговорились, в воскресенье. До свиданья. Поцелуй папу и Глашу.

.....

— Что ты говоришь? О да! Журчу, журчу.

Какое я жалкое дрянцо, подумал я. А она — какая притворщица! Да ведь для других притворяется, не для себя. Насколько ей проще было бы уехать! Ведь в сущности нам с ней и говорить-то не о чем. Только лыжи нам остались.

Сразу же после кофе я и снаряжился. Но она сказала:

— Знаете, погуляем сперва немного по вашей липовой аллее; она, я видела, расчищена. На лыжах можно смеяться, кричать, радоваться, а разговаривать трудно.

Мы обошли дом и пошли по алле к реке.

— Я говорила сейчас с мамой.

— Я слышал и радовался.

— Чему?

— Тому, что вы не ускорили свой отъезд.

— А собиралась.

— Почему же?

— По тому самому, из за чего вы это предположили.

— И передумали?

— Не передумала, а не смогла.

— Почему?

— Вы не догадываетесь?

Она взглянула на меня и я просто обмер от нежности и грусти ее взгляда.

— Мама меня спросила, какой вы; я сказала: милый. Потом сказала: небось приударил за тобой. Я сказала: нет. Спросила: пожалуй и женишок из него получится? Я сказала: о нет!

— Отчего, отчего? Я, правда не думал о свадьбе...

— Вот именно. А девушка всегда думает. И я особенно. Вам вероятно говорили, что я "на выданье". Я и сама так чувствую. Жениха ищу. Хочу, чтобы у меня был муж и дети от него. А что приехала я к вам, это все моя мама — с помощью вашей — устроила. Дядя Коля вас ей хвалил. Он вас давно знает. А знаете ли вы, что он и умный и добрый, хоть и очень толстый. Я, говорят, похожа на него. Вы не находите?

Я неохотно ответил, потому что мучительно думал о другом:

— Для меня, вы не можете быть ни на кого похожи. Но, если всмотреться, пожалуй, что-то семейное есть в усмешке и в добродушии взгляда. Только у вас не добродушие, у вас — добро.

В правдивых милых глазах ее было столько боли, что я уткнулся в плечо ее шубки, понюхал нежный этот мех и сказал:

— Котик мой, котик, не мучь себя и меня.

— Нет, дружок, надо всю правду досказать до конца. Просватали меня, ну не по всей форме, а все таки. Приехала. Смотрю: женишок хоть куда, чуть повыше меня — это важно — очень уж только молод, да и сразу видно, из тех (как ваша мама мне потом сказала), кто хотят учиться, а не жениться. Но сразу понравилось мне, что без большого удовольствия вы меня встретили, а по началу так удивленно на меня взглянули, что я сразу поняла: находит, что не во всем я похожа на дядю Колю. Ну а потом, когда на лыжах мы бегали, хорошо мне было с вами, как еще ни с кем; что скрывать: понравились вы мне, да и ощутила я сразу, что сама вам нравлюсь. Оттого и согласилась "мчаться в саночках вдвоем". Только вы не думайте, что я очень уж легкомысленна или наивна. Осведомлена о таких делах отлично: я ведь медицине учусь — вам не говорили? — хоть и не намерена стать медиком. Но опыта по этой части у меня нет никакого. Я и не целовалась-то до сих пор ни с кем. Никогда и влюблена не была; может быть и в мужа моего влюблена не буду. Об иных молодых людях думала, что годились бы они мне

в мужа и что вышла бы я за того или иного из них, пожелай он этого, замуж. А влюбляться и целоваться направо и налево, это не по мне. Так что вы там, на опушке, слегка, пожалуй, и ошиблись, думая, что я поудобней в санях расположилась, чтобы тут же и "отдаться" вам. Поняла я сразу: и вы никакого опыта с женщинами еще не имели, поцеловать меня и то боялись. Ну так вот: и я боялась. Любо мне было гладить вам голову и лицо, а когда совсем уж близко стало к поцелую, я вас и спросила насчет Апухтина.

— Милая, милая — только и сумел я сказать, — нагнулся и поцеловал край ее шубки.

— Умиляйтесь в меру, — улыбаясь сказала она. — Дело в том, что все таки, как потом я поняла, в тот миг, если б вы решились на такое дело, там, в санях, близь дороги, пусть и безлюдной, я бы и тогда не смогла, чего и сейчас не могу, никогда уж не смогу: вас оттолкнуть.

— Значит вы хотите этого?

— Да, хочу. Только нельзя этому быть и этого не будет.

Но вы меня не оттолкнете, не сможете оттолкнуть?

А где же дружба? И доверие мое. Я вам доверяю.

Превращусь в ледяной столп или в снежную бабу.

А пока принесите лыжи. Все равно, я останусь в шубке. Бегите скорей, бегите, — как Иосиф от жены Пентефрия.

Я побежал, но она меня догнала:

— Нет, я бегу с вами: в шубке я за вами не угонюсь и хочу быть во всем белом, как вы.

Так начался наш сумасшедший лыжный день.

Мы вернулись к берегу, вышли на середину реки, поглядели оттуда на нашу дачу.

— Вот она какая! А я и не успела заметить в каком арабско-скандинавском дворце мы с вами живем. Мы. А все другие — другое дело. Два дня этому "мы", правда? И осталось ему тоже два дня. Милый, милый, знаю; но они — наши. А теперь я побегу, далеко убегу, а когда крикну — догоняйте.

И по плотному снегу она быстро отскользнула, отбежала от меня. Я приготовился и ждал, а когда звонкий голос ее позвал "вперед", я отпихнулся палками изо всех сил и понесся за ней с

быстротой для меня предельной. Она убежала быстро, нагнал я ее не скоро, только у далекой беседки, самой дальней, какая видна от нас. В награду она меня обняла и поцеловала своими детскими губами, не в губы, а возле губ.

Потом меня пустила вперед, и я добежал до самой последней купальни, оглянулся, позвал, но дальше не побежал, а глядел не отрываясь на приближающийся белый столбик под синим небом, на белизне снегов, и все во мне трепетало от радости и боли, и белый столбик порозовел вверх, и она подлетела, вся в улыбке, и глаза ее сияли, и она бросила палки и упала ко мне на грудь, и я поцеловал ее за ушко, в горячую, под шерстяным воротом, шею.

Оттуда мы дошли, уже без бегов, до второго разлива, нашли тропинку, поднимавшуюся в лес, и под тяжело нагруженными снегом еловыми ветвями, а потом под более высокими сосновыми долго шли гуськом, куда зайчик не выскочил почти что из под ее лыжи, мгновенно исчез в снегу, и она залилась таким звонким серебряным смехом, что я слышу его и сейчас, только слушать боюсь: сильна как смерть любовь, и она может умертвить меня еще и через шестьдесят три года... Хотя в сущности, чего же тут бояться? Разве не хочу я умереть в любви или хоть в памяти о любви?

Мы опоздали к завтраку, а после него посидели с мамой, рассказали ей о состязаниях наших, о зайце, о том как лыжи весело скрипели на снегу, и она нас слушала уже с одинаковой любовью к нам обоим, что мы одинаково ощущали и что причиняло нам одинаковую боль.

— Вы устали, Дашенька! Ты Дашеньку уморишь!

— Что вы, что вы, Ольга Александровна, мы сейчас опять пойдем. Я так радуюсь, мне так у вас хорошо.

И мы пошли, в другую теперь сторону, против ворот нашей дачи. Пересекли полянку, лесок и вышли на довольно крутой берег другого рукава реки. По дороге она нашла лежавшую на снегу длинную и гибкую ветвь какого-то куста и сказала, что напоминает она ей прекрасную, но не может она вспомнить какую именно легенду.

— Ту самую, кельтскую — сказал я. — Только там похоро-

нили их рядом, а мы, как бы мы далеко не умерли друг от друга, вырастет росток из моей могилы и вращет, вращет в твою. Затуманились на миг ее глаза. Впервые я их поцеловал, и ресницы их трепетали у меня на губах, и я сказал:

— Милая, родная, будь моей, совсем моей. И услышал в ответ:

— Ничьей никогда не буду больше и даже настолько, как вот сейчас я уже твоя.

Сияло солнце. Сиял снег ему в ответ. И на блаженном белом берегу долго резвились мы, как дети. Скатывались вниз к реке с палками и без палок, стоя и на корточках, в одиночку и вдвоем. Смеялись, веселились. Всё проделывали очень ловко. Любовались друг другом. То есть я — то до безумия любовался ею, но видел, что и она глядит на меня с восхищением любви, и даже с гордостью: вот каков мой жених, поглядите, кого он хуже?

А вечером, когда мы сидели втроем в диванном углу, и камин освещал ее красным пламенем порой, и батист ее белой кофточки, с рюшами возле шеи, так нежно выделял розовость ее лица, как была она снова тепла и свежа! Нельзя ее не любить, думал я, как нельзя не любить тепла и свежести. Но и надивиться я не мог ее выдержке, такту, да и просто уму, с каким находила она подходящие для всех нас троих темы разговора. Когда мама ушла, она сказала.

— Набегались! Пойдем отдыхать и мы. Знаю, о чем ваши думы: о том же, о чем и мои. Завтра — наш последний день. Милый, он ведь и будет наш всеми своими часами и минутами. Думайте об этом, только об этом. Не печальтесь. Да и все эти четыре дня, в моей жизни — а быть может и в вашей — не окажутся ли они самыми счастливыми, такими, при всей боли, счастливыми, что и слово "счастье" будет нам казаться приложимым только к ним.

Мы поднялись наверх, и опять она меня перекрестила, а я хотел перекрестить ее, но как-то пальцы не складывались у меня, и она их поцеловала, и я чтобы не разрыдаться, скорей убежал к себе.

Уснул я мирно, словно милое ее лицо улыбалось мне сквозь сомкнутые мои веки; и спал всю ночь очень хорошо. Только под

утро видел сон, после которого проснулся в ужасном волнении.

Было лето. Мы играли с ней в теннис у нас в саду. Одни, без зрителей, сплошные сингльсы. Бойко работали наши ракетки, бойко летали низкие, сильные мячи. Мы играли одинаково хорошо, и гораздо лучше, чем я когда-либо играл в теннис наяву. При равенстве наших сил, геймы длились страшно долго: дьюс, еще дьюс, еще, еще. Но сеты, загадочным образом, кончались быстро. Мы менялись сторонами, никогда не встречаясь у сетки: если она слева, то я справа, и наоборот. Мы хвалили друг друга: "Вот это — подача!", "Над самой сеткой пронесся!", "Совсем на черте, но ин, а не оут!". Потом начала игра как-то странно ускоряться. Все быстрее, невозможно быстро, вынести нельзя. Мы стали слепнуть и задыхаться. Ракетки — звенеть, мячи — свистеть. Наконец она уронила ракетку и сказала: "Милый, когда же ты попадешь мне прямо в сердце?". А я бросил свою, пошел к ней навстречу и на ходу сказал: "Милая, убей меня!".

Проснувшись, я успокоился не скоро. Было семь, почти что пора вставать. Особая тишина ощущалась не в доме, а вокруг дома. Я встал и подошел к окну. Шел снег; падал широкими хлопьями. Я лег и полежал еще немного. Погода не для лыж. Надо заняться чем-нибудь другим.

В восемь, мы все трое пили кофе у камина, и старая наша дачная кухарка, Минушка, мать райволского почтальона, принесла нам только что ею испеченные малюсенькие пирожки с морковью. "Для Дашеньки старалась", сказала мама, и ей, мол, Дашенька по душе. Ясно, подумал я, она ее считает моею суженой, как наверно и Анти, и садовник, их дети и жены. Да и все мои четыре пса. Кранци лижет ей руку, Бобка перед ней становится на задние лапы, а хвостами виляют и два прочие.

Она была в коричневом платье мягкой и легкой шерсти с белым гипюром у ворота. Улыбающаяся, но тихая. В прихожей обнаружил я большой красный зонт, который и раскрыл над ней неизвестно для чего, когда мы пошли под снегом осматривать то, что я еще не успел ей показать: огород, курятник, два сарая, дома дворника и садовника, ледник, особнячек, где некогда жила гувернантка моя Зеличка, а оттуда протянув вдаль руку, сказал:

— Вон видите там, под зеленой крышей, павильон, возле которого мы в теннис играем летом.

— В теннис, — сказала она, взглянув на меня с чем-то вроде испуга. — У вас есть теннис?

— Отчего это вас так удивляет, — спросил я, тоже смутясь.

— Нет, ни от чего. Просто я не знала. Да и видела во сне...

— "Милая, убей меня", сказал я чуть слышно.

— Ради Бога! Ради Бога!

Она закрыла лицо руками.

— Нет, я не видала никакого сна...

И вдруг схватила меня за оба рукава, так что я чуть не выронил зонт.

— Милый, любимый, не смей, не смей!

Прижалась ко мне всей своей шубкой, и мы постояли под красным зонтом и под снегом, который валил все гуще, добрых пять минут, ничего не говоря.

Вернулись домой, в столовую, где весело трещали в камине поленья, сели во вчерашние наши кресла друг против друга, и я сказал:

— Снег-то кажется надолго. Знаете, Дашенька, не сыграть ли нам в шахматы?

— Только не будьте такой грустный. Имя мое детское вы впервые произнесли, мне на радость, но с такою грустью его выговорили... Знаю. Это наш последний день. Господи Боже, каким чудным покажется он нам завтра! А насчет имен, не решаюсь я, ни уменьшительным вас звать, ни "ты" вам говорить. Как и вы, я это чувствую. Потому что завтра... А "милый" никогда не кончится. Никому я больше "милый" не скажу.

— И "милая" — навсегда.

Но в глаза ее побоялся я заглянуть, и скорей пошел за шахматным ящиком на террасу.

Я очень плохо играю в шахматы, — сказала она.

— Я тоже. Вот и хорошо: два сапога — пара.

Мы расставили фигуры. Ей достались белые. Она робко выдвинула пешку; я, столь же неуверенно, свою; но вскоре мы заиграли, к нашему удивлению, гораздо лучше, чем обычно. Шахматистами, однако, не стали и довольно быстро кончили партию — вничью. Вторая — опять вничью. Третья обещала кончиться также, но Даша с таким же испугом, как давеча в саду, прошептала "как в теннис" и смешала фигуры на доске.

Я предложил прочесть ей сказку Гофмана или Андерсена.

— Только не Андерсена: я всегда плакала, когда мне читали их в детстве. Да ведь и вообще, когда людям грустно, все сказки — грустные.

Так мы и остались сидеть молча в наших креслах до завтрака, глядя друг на друга, глядя руки друг у друга. Это все таки было лучше всего прочего. Как-никак, мы были вместе. Мы были одни на земле.

— Пожурчи, пожурчи немножко, Дашенька.

Нет, я этого вслух не сказал. Она бы не могла.

После завтрака, мама придумала новое развлечение. Она попросила Минушку, после того, как та убрала со стола и вымыла посуду, распустить на кухне волосы, показать их барышне. Я уже на таких спектаклях присутствовал не раз. У шестидесятилетней Минушки были действительно прекрасные волосы, темнокаштановые, с небольшою проседью. Когда она их распускала, они ей доходили до колен. Она очень таких экзотики стеснялась, но мама ее вновь уговорила, и она с застенчивой улыбкой исполнила мамино желание. Я успел маме шепнуть, чтоб она не вздумала просить того же у Дашеньки: сейчас же уйду и получится большой конфуз. Она посмотрела на меня с недоумением, но кажется готова была удовлетворить мою просьбу. Взмолилась, однако, сама Минушка: "Барышня, распустите, что вам стоит".

— Да у меня крысиный хвостик по сравнению с вами.

— Ну сделайте милость, распустите.

Тут и мама присоединилась,

— А ты, — обратилась она ко мне, — если не хочешь смотреть, можешь уйти.

Дашенька не могла отказать, хотя отказать, как я со всей силою ощущал, ей страшно хотелось. Повернувшись ко мне спиной, она вынула шпильки, растрясла волосы и бросила их на плечи. Они пришлись ей только до пояса, а не до колен, но красота их тона и живость волны были вообще, для меня, ни с чем не сравнимы. "Что скажешь?", спросила меня мама, не понимая, что нож втыкает мне в грудь и поворачивает его там.

— Дашенька, повернитесь к оболтусу нашему лицом.

Вот такой она могла прийти ко мне, в длинной своей сорочке, после свадьбы. Но бледна она была, как смерть. Она конечно думала то же самое. Я собрал все силы и каким-то деревянным голосом произнес:

— У Минушки редкостней волосы. Если б ей было двадцать лет, она бы Дарью Федоровну победила.

Дашенька с благодарностью взглянула на меня, но и сделала два шага в мою сторону: ей показалось, что я падаю. Но я не упал. Я только выбежал из кухни в прихожую, бросился в неоттапливаемый зимою отцовский кабинет, обрушился там в кресло и закрыл глаза, бормоча "нет, нет, нет, не может быть, что не увижу я ее такой, не буду целовать ее волос. Надо разбить это стекло между нами. Не даст Господь совершиться греху разлучения любящих".

Успокоившись немного и сильно озябнув, я вышел из моего убежища и нашел Дарью Федоровну в столовой, аккуратно причесанную, но растревоженную и бледную. В отличие от мамы, она слышала, как я хлопнул дверью, врываясь в кабинет, но не решилась войти в эту неведомую ей комнату. Мы побыли вдвоем. Это одно умиротворяло меня теперь. Без этого нельзя; этого достаточно; и тем самым все же это меня парализовало. Я подчинялся ее воле. Я не просто ее любил, как вчера. Я слишком ее любил.

Снег уже не падал. Скоро показалось и солнце. Мы переоделись по-лыжному и вышли за калитку. Дорога стала от выпавшего снега совсем новой, девственной. Воздух стал такой, что наслаждением было дышать. Верхний снежок до того был нежен и пушист, что хотелось коснуться его рукой, нагнуться, склониться к нему, прилечь... Милая, ляжем и уснем, как на брачном, как на смертном ложе... Мы две палки оставили в саду, я взял ее под руку, и мы не бежали и не шли, мы скользили, как во сне, на пуховом, нежном снегу.

До первого озера дошли, а возвращаясь, пригорюнились. Горькое сказали оба, но разное, не того же ранга. Я знал и тогда, что ей в подметки не гожусь. Она приблизила свою голову к моей и тихонько начала:

— "Три дня купеческая дочь! / Наташа пропадала". А Даша — четыре. "С вопросами отец и мать / К Наташе стали

приступать”, а Даша их не слышит./ Дрожит и еле дышит. Ничего страшного не видела. Женишка пригожего нашла. Да не в Охотном ряду, и слишком он тонок для Никольского рынка. Не увидит любимый распущенных моих волос, не разорвет на мне девичью мою сорочку...

Я поцеловал слезы на ее глазах, а потом не выдержал, губы поджал и произнес:

— Вдоволь покатались на лыжах и, при взаимном уважении, расстались навсегда.

Но посрамила меня Дашенька: нежно меня обняла и прошептала:

— Неужели хотел бы мой милый, чтобы не было этих четырех дней?

— Он хотел бы, что б не было ничего, кроме них, сказал я, поняв, как я был глуп и гадок.

Пообедали мы рано, и весь наш последний вечер провели, катаясь у соседей с ледяной горы на саночках. Она сидела спереди, а я за ней, придерживая ее за талию и направляя санки ступнями. Когда все дети и гости соседей ушли, и погас электрический фонарь, освещавший гору, мы скатились с нее в последний раз. Тут уж я не за талию Дашеньку придерживал, а вспомнив должно быть прекрасногорудую Диану, обнял ее повыше, чем управление санками затруднил, и мы, скатившись с горы, попали в сугроб, где и остались лежать, согнувшись, как были, неподвижно. Я не сжимал и не прижимал ее грудь, а только осязал ее ладонями, видел руками. Она молчала, дышала ровно; потом сказала:

— Милый, не надо, а то я Вяльцевой запою.

Я отпустил ее. Провел руками по ее плечам, рукам, бедрам, спине — на память, на память — и мы встали. Пошли к воротам, потом вдоль заборов, домой. Молчали сперва; потом она заговорила, но звонкости не было больше в ее голосе:

— Не думайте, милый, что мне было неприятно, когда я сказала “не надо”. Я бы там с вами осталась хоть до утра, хоть на всю жизнь. Лучше бы я к вам не приезжала, но без этих дней, мы были бы не мы. Нет, я не жалею ни о чем. Апухтин и Вяльцева — пустяки: вы отучили бы меня любить не только их,

но, если б захотели, и родителей, и сестру. Нет, нельзя, нельзя: вам слишком рано, вы не для меня. И знаете, даже если б можно было, было бы страшно. Мы слишком созданы друг для друга, чтобы быть всегда друг с другом. Уже думаем одновременно то же самое; уже видим одинаковые сны. Не позволено это на земле. Не годится, что я готова вот сейчас умереть, чтобы не расстаться с вами, или от радости, что в эту минуту вы со мной. Милый, мы у вашей калитки. Я сейчас поднимусь наверх. Завтра Ольга Александровна — она мне это сказала — проводит меня на станцию. Мы увидимся лишь мельком. Милый, прощайте. Я вас не забуду никогда.

Она меня обняла и мы поцеловались — долгим, долгим, долгим, предсмертным, страшным поцелуем.

Она отворила калитку и побежала к дому. Я ее не догонял. Не мог придти в себя, опомниться. Постоял у калитки, пошел медленно к дому, но не вошел, а стал почему-то ходить вокруг него, повторяя, как безумный: "Душу отдала, душу отдала".

Господи! Как она поцеловала! Ровно, просто, без ухищрений, одними губами, — и душу отдала. Душу. Мне. Отдала. Как же теперь душенька моя без души? А я? Ведь она себя к душе своей не приложила. Что ты с собой и со мной сделала, милая, милая, милая, милая? Ни о ком, никому не скажу никогда этого слова.

Так я кружил вокруг дома полчаса или больше, и вдруг осенило. Да ведь она еще здесь! Она придет к тебе! Беги наверх. Зажги лампу. Приоткрой дверь.

Я это сделал; сел в кресло; в постель не ложился. Ждал. И все больше приходил в иступленную ярость. Твердил: к чёрту, к чорту, какие тут могут быть преграды? Разобью стекло кулаком, лбом, лицом! Женюсь хоть завтра! Бывают и женатые студенты. Эка невидаль! И какие там Вяльцевы! Она кроме Моцарта и слушать ничего не захочет. "Кипарисовый ларец" знать будет наизусть. Умница она, умница, куда умней меня! И чище, проще, лучше. Да не может же быть, что мы завтра станемся навек! Клеветал я на себя, говоря, что насладиться ею хочу. Ничего я не хочу, чего она не хочет. Растаять хочу в ее дыханьи, раствориться в ее свежести и тепле, — в ее душе,

перелить в нее свою душу. Господи, и этого не надо; умереть хочу, чтоб она жила. Завтра же, до ее отъезда, стану посреди кухни на колени, и попрошу по всем правилам ее руки, при маме, при Минушке, при Анти, при всех четырех псах. Милая моя, теплая, свежая, душистая...

Наконец я лег, не раздеваясь, на постель — и мгновенно уснул. Когда проснулся, в доме было мертвецки тихо. Половина девятого. Они уехали. Я сбежал через три ступени вниз. Никого. Камин затоплен. Тарелки и чашки, крошки хлеба... Сунуть голову в камин. Побежать в реке и броситься в прорубь...

Вернулась со станции совершенно расстроенная и заплаканная мама.

— Как, и ты в слезах? Все вы с ума сошли! Я хотела тебя разбудить; она не позволила. Сказала: "Это от Бога. Так нам легче". Эта девушка — ангел. Лучшей жены тебе нигде не сыскать.

— Но мама, ты же мне сама говорила, что мне рано думать о женитьбе. Ты же сама мне клялась, что в мыслях у тебя этого нет.

— Мало ли что! Разве я ее знала, голосок ее разве слышала? Да ты еще главного-то и не знаешь.

Тут мама разрыдалась, долго не могла говорить, наконец, со всхлипываньями рассказала:

— Вечером вчера, вернувшись ко мне из ванной в длинной своей сорочке, она обернулась, поглядела на дверь, заперла ее на ключ, и ключ дала мне. Сказала: "Ольга Александровна, положите этот ключ под подушку, и не отдавайте мне, ни под каким предлогом, до утра. Я вполне способна ночью пойти к вашему сыну". "Голубушка, — говорю я ей, — касатка моя, идите к нему сейчас, если вы оба этого хотите." — "Мы оба хотим, но нельзя чтобы это было. Вашему сыну рано жениться, и я ему в жены не гожусь. А так, просто, — думаю, что и ему будет это к горю, ну а мне совсем конец". — "Да он женится на вас". — "Если женится, то не по настоящей своей свободной воле. Этого я не хочу. Ольга Александровна, я ложусь. Не давайте мне ключа."

— И что же, мама ...

— Она его и не попросила. Лежала всю ночь неподвижно на спине. Глаз не сомкнула. Я боялась с ней заговорить. А утром, если б ты видел! Такая всегда радостная! Лица на ней не было.

— Господи, мама, зачем же нам так мучиться обоим?

— Незачем! Завтра будем в Петербурге. Поезжай к ее родителям и делай предложение.

Никуда я не поехал. Никакого предложения не делал. Не хотел ее мучить. Всем нутром своим знал, что откажет. Два месяца думал: не могу без нее жить; по ночам шептал: милая, убей меня. А потом, как ни стыдно сказать, оказалось, что могу. Слышал, что она болела. Год спустя узнал, что вышла замуж. Еще лет десять просыпался порой среди ночи, воздух ловил руками — милая, милая — и плакал. Не видал ее больше никогда.

Через тридцать три года, в Париже, вскоре после войны, позвонил однажды кто-то у моей двери. Незнакомый мне человек. Коренастый, осанистый, подстриженный ежом, полуседой, лет на десять или двенадцать старше меня. Отрекомендовался полковником царской армии, но фамилии не назвал.

— Я к вам на минуту, по поручению друзей. Сказать два слова. Живу в Соединенных Штатах. Здесь всего на неделю.

Я провел его к себе. Сел за письменный стол, посадил его в кресло напротив. Он как-то странно не торопился перейти к делу. Спросил:

— Вот вы тут живете на улице генерала Бальфурье. А знаете ли кто этот генерал?

— Понятия не имею, как и другие квартиранты этого и соседних домов.

— Один из защитников Вердена. Я ему белый крестик георгиевский от покойного государя привез и на грудь нацепил.

Ну теперь, подумал я, скажет он, зачем пришел. А он книги мои стал разглядывать.

— Ух, много их у вас. У нас и десятой доли не сыщется. А этот вот Блок многотомный — есть. Жена постоянно его читает.

И других поэтов много. Любит она Анненского, Ходасевича, Ахматову. Но любимое ее стихотворение постарше будет...

Я схватился изо всех сил за ручки кресла и чуть у меня не вырвалось: Апухтина? Но полковник продолжал:

— Лермонтова это стихи. Знаете, коротенькие такие строчки. Первая, кажется, "Слышу ли голос твой".

Повидимому я так побледнел, что он воззрился на меня:

— Что это с вами?

— Я тоже эти стихи люблю, но много лет назад такое со мной случилось, что когда я перелистываю Лермонтова и попадаю на них, я поскорей переворачиваю страницу.

Он молчал. Помолчал и я, а потом решил:

— Дарья Федоровна жива?

— Отчего это вы спрашиваете о ней? Она - то ведь меня к вам и послала.

— Значит жива. И замужем? У нее есть дети?

— Замужем. У нее дочь и двое сыновей. Первенец наш, летчик, убит на войне. Ох, проговорился. Ну знайте: я ее муж и есть.

— Что же она просила мне передать?

— Только одно: что вас не забыла.

Долго я молчал. Так же долго, должно быть, как длился тот прощальный поцелуй.

— Полковник, я вижу, какой вы человек. Скажите ей, что и я не забыл и что люблю ее по-прежнему.

Полковник встал, поднял руку словно под козырек и сказал:

— Передам. Честь имею кланяться.

Повернулся на каблуках и направился к выходу. Но когда я уже открывал ему дверь, захлопнул ее, повернулся к ней спиной, и вытянулся во фрунт:

— Виноват. Сплоховал. Главное утаил. Вот что она велела: "Скажи, что не забыла и что люблю его, как любила тогда".

После чего, он снова поднял руку, повернулся к двери, которую я ему открыл и, не оглядываясь, вышел на улицу.

*

Когда бы не могли собою
Владеть сады, луга, леса —
К нам доносились бы весною
Взволнованные голоса.

Не может быть, чтоб в полдень мая,
Когда к цветку прильнет пчела,
Не трепеща, не воздыхая,
Твоя черешня зачала!

Он нам не слышен, затаенный,
Завороженный этот стон.
И только женщине влюбленной
Быть может смутно внятен он.

*

Я всё готов простить сполна
Без очной ставки, без дознанья
И ни одна твоя вина
Не омрачит воспоминанья.

Но есть предел и сквозь него
К тебе пробиться я не в силах:
Я не смогу простить того,
Что ты мне, ты — не всё простила.

Д.м. Кленовский, 1976.

КЛЮЧ АЛМАЗНЫЙ

Переправа длилась до самого вечера. На другом берегу мы долго карабкались по узкой каменистой тропке вверх, помогая друг другу. Тропка, едва заметная среди пожелтевшей поникшей травы, вела в ущелье, где в синеватой дали сходились вершины гор справа и слева — ручей в этом ущелье и назывался ключ "Алмазный".

Это была удивительная "командировка" — тот самый ключ "Алмазный", куда мы так давно и тщетно стремились из золотых забоев и о котором все мы слышали столько невероятного. Говорили, что на этом ключе нет конвоиров, нет ни проверок, ни бесконечных переключек, нет колючей проволоки, нет собак.

Мы привыкли к шелканью винтовочных затворов, заучили наизусть предупредительные команды — шаг влево, шаг вправо — считаю побегом — шагом арш! — и мы шли, и кто-нибудь из шутников, а они есть всегда в любой, самой тяжелой обстановке, ибо ирония — это оружие безоружных — кто-нибудь из шутников повторял извечную лагерную остроту: "прыжок вверх считаю агитацией". Подсказывалась эта злая острота неслышно для конвоира. Она вносила ободрение, давала секундное крошечное облегчение. Предупреждение мы получали четырежды в день: утром, когда шли на работу, днем, когда шли на обед и с обеда и вечером — как напутствие перед возвращением в барак. И каждый раз после знакомой формулы кто-то подсказывал замечание насчет прыжка, и никому это не надоедало, никого не раздражало. Напротив, остроту эту мы готовы были слышать тысячу раз.

И вот теперь — сбылись мечты, мы на ключе Алмазном, и с нами нет конвоя, и только чернобородый молодой человек, отпустивший бороду явно "для солидности", вооруженный ижевкой, наблюдает за нашей переправой. Это — начальник лесного участка, наш начальник, вольнонаемный десятник.

На ключе Алмазном велась заготовка столбов для высоковольтной линии электропередачи.

Немного на Колыме мест, где растут высокие деревья — мы будем вести "выборочный" лесоповал, самое выгодное дело для нашего брата. Золотой же забой — это работа, убивающая человека и притом быстро. Выборочный лесоповал выгодней сплошного повала, ибо лес редкий, малорослый — деревья выросли на болотах, великанов среди них нет, "трелевка" — доставка леса в штабеля на собственных плечах по рыхлому снегу — мучительна. А ведь двенадцатиметровые столбы для электролинии и нельзя "трелевать" людьми. Это делает лошадь или трактор. Стало быть, можно жить. К тому же командировка эта — бесконвойная, значит, никаких карцеров, никаких побоев; начальник участка — вольнонаемный, инженер или техник — нам, несомненно, повезло.

Мы переночевали на берегу, а утром по тропе двинулись к нашему бараку. Солнце еще не зашло, когда мы пришли к низкому длинному таежному срубу с крышей, закрытой мхом и засыпанной камнями. В бараке жило пятьдесят два человека, да нас пришло двадцать. Нары из накатника были высокими, потолок — низким, стоять во весь рост можно только в проходе.

Начальник был парень подвижной, поворотливый. Молодыми глазами, но опытным взглядом оглядел он ряды своих новых работяг. Мой шарф заинтересовал его немедленно. Шарф был, конечно, не шерстяной, а бумажный, но все же шарф, "вольный" шарф. Он был мне подарен в прошлом году больничным фельдшером, и с тех пор я не снимал его с шеи ни зимой, ни летом. Я стирал его, как мог, в бане, но ни разу не сдавал в вошебойку. Вшей, которых много было в шарфе, жарилка не убьет, а шарф бы украли немедленно. За шарфом моим велась и правильная охота моими соседями по бараку, жизни и работе, велась и неправильная — любым случайным человеком, — кто бы отказался заработать на табак, на хлеб,

такой шарф купит любой вольняшка, а вшей можно легко выпарить. Это трудно сделать только арестанту. Но я героически завязывал шарф перед сном на своем горбе узлами, страдая от вшей, к которыми нельзя привыкнуть, так же как нельзя привыкнуть к холоду.

— Не продашь ли? — сказал чернобородый.

— Нет, — ответил я.

— Ну, как знаешь. Тебе шарф не нужен.

Этот разговор мне не понравился. Плохо было и то, что кормили здесь только раз в сутки — после работы. А утром — только кипяток и хлеб. Но такое мне приходилось встречать и раньше. Начальники мало обращали внимания на кормежку арестантов. Каждый устраивал как проше.

Все продукты хранились у вольнонаемного десятника — он со своей "ижевкой" жил в крошечном срубе в десяти шагах от барака. Такое хранение продуктов было новостью — обычно продукты хранятся не у производственного начальства, а у самих заключенных, но порядок на ключе Алмазном, очевидно, был лучше: в руках голодных арестантов держать запасы пищи всегда опасно и рискованно, и об этом риске все знают.

На работу ходили далеко — километра четыре, и было ясно, что день ото дня выборочный лесоповал будет отодвигаться все дальше и дальше вглубь ущелья.

Дальняя ходьба даже с конвоем для арестанта скорее хорошо, чем плохо — чем больше времени уходит на ходьбу, тем меньше на работу, что бы там ни подсчитывали нормировщики и десятники.

Работа была не лучше и не хуже всякой арестантской работы в лесу. Мы валили отмеченные засечками десятников деревья, "кряжевали" их, очищали от сучьев, собирали сучья в кучу. Наиболее тяжелым делом было повалить дерево комлем на пенек — чтобы спасти его от снега, но десятник знал, что вывозка будет срочной, что придут трактора, знал, где поваленные деревья, и не всегда требовал поднять дерево на пенек.

Ужин на ключе Алмазном — это был завтрак, обед и ужин, соединенные вместе, они не выглядели богаче и сытнее, чем любой обед или ужин на приiske. Желудок мой меня уверял, что

общая калорийность и питательность еще меньше, чем на прииске, где мы получали меньше половины положенного нам пайка, — все остальное оседало в мисках начальников, obsługi и блатарей. Но я не верил изголодавшемуся на Колыме желудку. Его оценки были преувеличенными или преуменьшенными — он слишком многого хотел, слишком неотвязно требовал, был чересчур пристрастен.

После ужина никто почему-то не ложился спать. Все чего-то ждали. Поверки? Нет, поверок здесь не было. Наконец, дверь открылась, и вошел неутомимый чернобородый десятник с бумагой в руке. Дневальный снял бензиновую коптилку с верхних нар и поставил ее на стол, что был вкопан посреди барака. Десятник сел к свету.

— Что это будет? — спросил я у соседа.

— Проценты за сегодняшний день, — сказал сосед, и в тоне его я уловил нечто такое, что меня испугало — я слышал такой тон в очень серьезных обстоятельствах, когда жертвам тридцать восьмого года замеряли каждый день работы в золотом забое "индивидуальным замером". Я не мог ошибиться. Тут было что-то такое, что даже я еще не знал, какая-то опасная новость.

Десятник, не глядя ни на кого, ровным, скучным голосом прочел список в полной тишине, слышно было только тяжелое дыхание нескольких десятков людей в темноте.

— У кого меньше стало, — объяснил повеселевший сосед, — тому завтра хлеба давать не будут.

— Совсем?

— Совсем!

Такого я, действительно, никогда и нигде не встречал. На приисках паек определялся по докладной выработки бригады. В худшем случае давали штрафной паек — триста граммов, а не лишали хлеба вовсе.

Проценты расторопный десятник вычислял с "потолка", конечно. И я дал себе слово: если меня постигнет это лишение хлеба как метод производственного воздействия — не ждать.

Прошла неделя, во время которой я понял, почему проценты хранятся под койкой у десятника. О шарфе он не забыл.

— Слушай, Андреев, продай мне шарф.

— Дареный, гражданин начальник...

Он настаивал — я наотрез отказался. В тот же вечер я был в списке невыработавших норму. Доказывать я ничего не собирался. Утром осмотрел свой шарф и отнес нашему сапожнику.

— Только смотри, пропарь.

— Знаем, не маленькие, — весело ответил сапожник, радуясь своему неожиданному приобретению.

Сапожник дал мне за него пайку-пятисотку. Я отломил от нее кусок и спрятал за пазуху. Я напился кипятку и вышел вместе со всеми на работу, но отставал, отставал, а потом свернул с дороги в лес и, далеко огибая наш поселок, пошел вдоль той самой дороги, по которой пришел сюда месяц назад. Я шел в полуверсте от тропы, выпавший снег не мешал мне идти, собакишек у чернобородого десятника не было, и только впоследствии узнал, что он успел пробежать на лыжах до будки перевозчика — черная река здесь не замерзала долго — и сообщил с попутным конвоем в лагерь о моем побеге.

Часа через два я вышел на шоссе. Приятно было идти без вшивого шарфа — горло и шея как бы отдыхали, укрытые старым полотенцем — "сменкой", которое дал мне сапожник за мой шарф.

Я шел налегке. Очень важно для больших переходов — и зимой, и летом, чтоб руки были свободны. Руки участвуют в движении и согреваются на ходу, так же как и ноги. Только в руках ничего не надо нести — даже карандаш покажется немислимой тяжестью через двадцать-тридцать километров. Все это я давно и хорошо знал. Знал и кое-что другое: если человек способен пронести одной рукой некую тяжесть несколько шагов — он может нести, тащить эту тяжесть бесконечно — появится второе, третье, десятое дыхание. Я ни о чем не думал, да и думать на морозе нельзя — мороз отнимает мысли, превращает тебя быстро и легко в зверя. Я шел без расчета, с единственным желанием выбраться с этой проклятой бесконвойной командировки. Километрах в тридцати от лагеря на шоссе в избушке жили лесорубы, и там я рассчитывал погреться, а при удаче и заночевать.

Было уже темно, когда я добрался до этой избушки, открыл дверь, и переступив через морозный пар, вошел в барак. Из-за

русской печки навстречу мне поднялся человек — знакомый мне бригадир лесорубов Степан Жданов — из заключенных, конечно.

— Раздевайся, садись.

Я медленно разделся, разулся, развесил одежду около печки. Степан открыл заслонку печи и, надев рукавицу, вытащил оттуда горшок.

— Садись, ешь. — Он дал мне хлеба и супу.

Я лег спать на полу, но заснул нескоро — ныли ноги, руки.

Куда я иду и откуда — Степан не спрашивал. Я оценил его деликатность — навеки. Я никогда больше его не видел. Но и сейчас вспоминаю горячий пшенный суп, запах пригоревшей каши, напоминающий шоколад, вкус чубука трубки, которую, обтерев рукавом, протянул Степан мне, когда мы прощались, чтоб я мог "курнуть" на дороге.

Мутным зимним вечером я добрался до лагеря и сел в снег недалеко от ворот.

Вот сейчас я войду, и все кончится. Кончатся эти чудесные два дня свободы после многих лет тюрьмы — и снова вши, снова ледяной камень, белый пар, голод, побои. Вон прошел в лагерь через вахту актер из культбригады — бесконвойник-одиночка. Я знал его. Вот прошли рабочие с лесозавода — топчутся, чтобы не замерзнуть, а конвоир взошел на вахту, в тепло, и не спешит. Вот вошел начальник лагеря лейтенант Козычев, бросив окурок "Казбека" в снег, и тотчас туда кинулись лесорубы, стоявшие около вахты. Пора. Всю ночь сидеть не будешь. Все задуманное надо стараться доводить до конца. Я толкнул дверь и вошел в "проходную". В руке я держал заявление начальнику лагеря о всех порядках на бесконвойной командировке. Козычев прочел заявление и отправил меня в изолятор. Там я спал, пока не вызвали к следователю, но, как я и предполагал, "давать дело" мне не стали: у меня был велик срок. "Поедешь на штрафной прииск" — сказал следователь. И меня отправили туда через несколько дней: на центральной пересылке людей подолгу не держали.

Варлам Шаламов

*

В окна ошарашивает ветер сквозной,
А кондуктор спрашивает билет проездной.
Все вытаскиваю из карманов подряд.
Колеса лязгают, колеса гремят.

Осень донашивает рвань с желтизной,
А кондуктор спрашивает билет проездной.
А я-то заспанный, с виду босяк,
Никакого паспорта, никаких бумаг.

А закат окрашивает небо за сосной,
А кондуктор спрашивает билет проездной.
Ищу за рубахою, лезу в сапог,
Охаю, ахаю, от пота взмок!

Ноги подкашивает страх затяжной.
А кондуктор спрашивает билет проездной.
И так мне боязно, от страху обмяк,
Ссадят с поезда прямо в овраг!

А лес завораживает своей тишиной,
А кондуктор спрашивает билет проездной.
До самых седин все тот же бред:
— А ну, гражданин, предъявите билет!

Каждым утром, только встаю,
Входит кондуктор в спальню мою
И, охорашивая усы с сединой,
Кондуктор спрашивает билет проездной.

Как мертвою хваткой, я сдавлен тоской,
Сбегу без оглядки на берег морской,
В блещущий, пляжевый, солнечный зной,
Только не спрашивай билет проездной!

... Куда ни поеду — как приставной —
Кондуктор по следу ходит за мной.
Когда-нибудь эту я кончу игру,
Как жил без билета, так и умру,
И тело бросят за вечной стеной,
И ангелы спросят билет проездной.

Иван Елагин

”МЕХЛИС, ЧАЮ!”

Ночью не спалось. Как всегда мешала левая рука, казавшаяся людям короче правой и анемично свисавшая с плеча. Сон был тяжелым. Рот высох, сердце билось учащенно. На лбу выступил пот. К тому же сон был повторным, виденным прежде, что делало его еще более бессмысленным и страшным.

Два огромных мордастых дога с остервенением грызли его ноги. Боли он не чувствовал, но изнемогал от бессилия остановить их. И происходило это на покрытом мелкой галькой берегу Лиахвы, около родного городка Гори. Только текла эта река в обратном направлении, что нарушало правдоподобие, хотя торчавшие из воды камни и были такими, какими они запечатлелись с детства: темносиними, крутыми и гладкими как яблоко...

Дорога из Барвихи в Москву, с хвойным лесом вокруг, сегодня представлялась Сталину мрачной. Он сидел на заднем сидении ”Пакарда”, в своем уголке и, разглядывая жирную шею шофера, думал о том, что это противно все же, что спереди и сзади мчатся еще несколько машин с охраной и что москвичи называют это ”сталинской кавалькадой”.

Он глубоко вздохнул. А в памяти опять возникла Лиахва. Но теперь конечно она текла так, как она текла тысячу лет и конечно впадала в Куру. О, сколько радостных дней своей юности Сталин провел на этой Лиахве, купаясь в ее бурных водах, лазя с однокашниками по ее большим камням, играя тут же в ”чилик-а-джехи” или в ”Здравствуй, осел!”. Вспомнилось, как однажды на берегу Лиахвы его чуть не прибили школьные товарищи, заподозрив в воровстве. А он был невиновен. Хорошо, что заступился огромный и добродушный Родион

Чхивадзе, из 3-го класса, сын горинского дьякона. А не то было бы ой плохо.

Тогда Сталин подружился с Родионом, бывал у него дома, начал чаще заходить в церковь. Однако, он потерял своего друга из виду после переезда в Тифлис и поступления в духовную семинарию. Позже, уже в советское время, кто-то ему сказал, что Чхивадзе сделался партийным работником и возглавил один из райкомов ВКП(б) где-то в Грузии. Иногда Сталин думал о том, что надо бы было встретиться с Родионом, но как-то нехватало времени, ведь Сталин все же был уже генеральным секретарем ВКП(б).

На этот раз мысль о Родионе Чхивадзе почему-то испугала Сталина и где-то в его груди шевельнулось дурное предчувствие.

Когда он проходил к себе через кабинет начальника секретариата Мехлиса, статного еврея с красивым лицом и вьющимися волосами, тот приподнялся и сказал как всегда:

— Добрый день, Иосиф Виссарионович.

Сталин кивнул и небрежно бросил:

— Хорошо, хорошо...

Оставив дверь приоткрытой, он подошел к письменному столу, на котором поверх большого стекла лежала синяя папка с текущими делами генерального секретаря партии, приготовленная Мехлисом и его аппаратом.

Сталин закурил трубку, швырнув спичку прямо на пол, затем расстегнул ворот своей куртки цвета хаки и сел за стол. Он любил этот стол, черные телефоны, чернильный прибор на мраморной плитке и все остальные принадлежности. Он покурил минуту, другую, зная, что в такое время начальник его секретариата ни за что не войдет к нему с чем-либо даже очень важным и неотлагательным. Этот умный еврей понимал, что Сталину надо дать полчаса или час просмотреть сводку ТАСС’а, сделать два-три телефонных звонка, перелистать текущее, словом, войти в деловой транс.

В окна светило солнце, виднелись зубья Кремлевской стены. А на стене тихо отмеряли вечность большие часы в ореховой оправе.

Сталин тянул время. Ему явно не хотелось открывать синюю папку. Беспокоила левая рука и рот опять высох. Сталин

подумал о том, что надо набраться сил и бросить курить. Это и врачи советовали.

И все же дурное предчувствие не оставляло его. Отложив трубку, он наконец опустил локти на стекло и открыл папку.

Первым оказался список "врагов народа", рекомендованных Народным Комиссаром Внутренних Дел Ежовым к расстрелу. В нем было 26 фамилий. Столбик мертвецов. Тех, которые по мнению Ежова выступали против Сталина, то есть против Советской власти.

Ему надо было просмотреть этот список, вычеркнуть кого-нибудь или в п и с а т ь кого-либо, и завизировать документ, то есть поставить свою подпись в верхнем левом углу. После этого документ должен был пойти по рукам членов Политбюро и должен быть завизирован всеми без исключения. Но Сталин отлично знал, что это только проформа, что его подпись была решающей. Он знал, что приговаривал к высшей мере он, остальные "при сем лишь присутствовали".

Пробежав глазами список, он задержался на смертнике номер 24. Им был Родион Чхивадзе. Тот самый Родион, о котором Сталин вспомнил, едуци из Барвихи в Москву, тот самый, который, по-существу, спас его на берегу Лиахвы, когда мальчишки решили избить и утопить Сталина за то, что он якобы украл у кого-то завтрак.

Ему надо было позвонить Ежову и спросить о преступлении, совершенном его другом. Но он не сделал этого. Он поднялся из-за стола, опять закурил трубку и начал ходить по комнате. Это было его любимым: ходить из угла в угол. Так хорошо думалось. Больше всего Сталина озадачило то, что с утра он не мог избавиться от дурного предчувствия, что в машине он вспомнил о Родионе, и что вот теперь на столе лежал этот список с фамилией Родиона. Выходило, что дурное предчувствие сбылось..

Сталин никогда не был религиозен. Но Сталин всю жизнь был суеверен, хотя и скрывал это. Так неужели же на свете есть какие-то странные силы, ну хотя бы то, что скрывается за снами? Ведь не случайно же он видел во сне Лиахву и не случайно же она текла в обратном направлении? И не случайно же, что именно

это и привело его к мысли о Родионе Чхивадзе? Цепь совпадений?

Сталина роздражало, что сила, которую он чувствовал над собой, не объяснялась, и не подчинялась логике. Он ведь знал, что ему надо вернуться к столу, сесть и красным карандашом вычеркнуть фамилию друга своей юности из списка ”врагов народа”. Он знал, что ему велит это его грузинское сердце, что он не сможет одолеть свою человеческую природу. Ну, а если этот Родион изменил марксизму и стал ренегатом? А если он сказал где-нибудь, что Сталин тиран и убийца? А если он поддерживал Троцкого?

Ведь когда речь шла о его ближайшем соратнике, Серго Орджоникидзе, тоже грузине, Сталин не поколебался и не уступил, хотя и был убежден, что Серго после их последнего разговора пустит себе пулю в лоб. И Серго это сделал.

Нет, это было не так просто подписать смертный приговор Родиону Чхивадзе.

И потом это дурное предчувствие. Оно мешало карты, и прибавляло что-то. Какая-то чертовщина!

Список смертников лежал на столе и ждал утверждения. Сталин не понимал, что с ним происходит? Может быть, начали сказываться годы? Да нет, ведь ему только исполнилось шестьдесят. В такие годы другие государственные деятели только разворачиваются. Ведь сумел же он жестоко обойтись с собственной женой, которую действительно любил. Ее самоубийство было на его совести...

Сталин подошел к столу и сел за него. Надо было только взять в руку карандаш и вычеркнуть номер 24.

Но в эту секунду взгляд его остановился на столе, рядом с кнопкой звонка, которым он вызывал к себе Мехлиса, он увидел новую кнопку, с аккуратной надписью: ”Чай”.

Что за ерунда!? Сталин не поверил глазам. Ах, вот что! Это проделки Мехлиса...

Дело в том, что Сталин во время работы всегда пил чай. И днем и ночью. Хорошо заваренный грузинский чай поддерживал его. Он любил, чтобы чай приносил Мехлис в стакане с подстаканником и серебряной ложечкой. И поэтому Сталин оставлял

дверь в свой кабинет приоткрытой. Обычно он, слегка повышая голос, произносил:

— Мехлис, чаю!

И очень скоро Мехлис вносил стакан чаю, ставил его перед Сталиным, почтительно говоря:

— Пожалуйста, Иосиф Виссарионович.

Почтительность, собранность и точность Мехлиса немного сердили Сталина, и вместе с тем он нуждался именно в таком помощнике и в душе уважал этого еврея (про себя называя "моим евреем").

Может быть, Мехлис решил, что Сталину будет удобнее нажимать кнопку звонка, вместо того чтобы, повышая голос, произносить: "Мехлис, чаю!", и в этот день, до приезда Сталина, на его столе была установлена новая кнопка звонка, который звонил в спец. буфет, обслуживавший Сталина.

Если Мехлис это сделал, чтобы услужить Сталину — это одно. Но ведь он мог это сделать и потому, что ему надоело приносить Сталину чай, то есть потому, что он считал это унижительным для начальника секретариата.

Вторая мысль Сталина пересилила первую. И тут его обуял гнев.

Схватив кнопку с надписью "Чай", Сталин изо всех сил дернул ее в сторону, с тем чтобы оторвать от проводов. Но это не удалось. Тогда он встал, схватил кнопку звонка уже двумя руками и широким жестом вырвал ее вместе с проводами из стены, слегка поранив себе ладонь.

Сталин швырнул кнопку с проводами в корзину, стоящую у стола. Потом он грузно опустился в кресло. И Мехлис, сидя в своем кабинете, вдруг услышал из-за двери знакомое:

— Мехлис, чаю!

И тут он понял, что допустил серьезную ошибку, установив в кабинете вождя новую кнопку, не договорившись об этом со Сталиным заранее. Впрочем, если б он и попытался договориться со Сталиным, из этого ничего бы не вышло. Мехлис рискнул. И понял теперь, что рискнул зря, что в результате ему лишь предстоит нелегкий день, что вождь будет либо сердиться, либо подсмеиваться над ним и начнет рассказывать пошлые еврейские анекдоты.

Послышалось повторное, нетерпеливое и злое:

— Мехлис, чаю!

Минут через пять, когда Мехлис принес Сталину стакан чаю, заваренного так, как любил Сталин, в подстаканнике и с серебряной ложечкой, он поймал на себе почти грозный взгляд вождя. Только Сталин умел *так* смотреть на подчиненных, с легким прищуром, в котором светилось что-то почти змеиное.

Когда Сталин свирепел, он переставал говорить, за него говорили его глаза и чуть подергивавшиеся усы.

Мехлис подчеркнуто почтительно, но словно ничего и не произошло, ставя стакан с чаем, сказал:

— Пожалуйста, Иосиф Виссарионович.

В ответ Сталин протянул ему список Ежова, в котором двадцать четвертый номер остался на своем месте, не был вычеркнут, а в левом верхнем углу документа была надпись: ”И. Сталин”.

Родион Чхивадзе был приговорен к смерти.

Когда Мехлис пошел от стола к двери, он услышал за своей спиной слова Сталина:

— Собакам собачья смерть...

А ночью, вернее под утро, потому что Сталин вернулся из Кремля на дачу в Барвиху в пятом часу утра, вождь опять видел во сне двух огромных догов, которые опять с остервенением грызли его ноги. Боли он не чувствовал, но изнемогал от бес-силы остановить их.

И происходило это опять на берегу Лиахвы, около родного городка Гори. Только текла Лиахва *опять* в обратном направлении...

Ю. Кротков

ВЕРНОСТЬ

*"Мы любим тех нежнее и сильней,
Кто не дал нам ни ласк, ни поцелуя".*

Алексей Ачаир

"Мы любим тех нежнее и сильней,
Кто не дал нам ни ласк, ни поцелуя":
Среди живых, то плача, то ликуя,
Во много раз мы были бы бедней,

Прожорливей — но все же голодней,
На торжище любовном торжествуя,
Как торгоши, расчетливо торгуя
Гостинцами грудастых Дульциней.

Лишь вымысел — любить не перестанет,
Придуманной изменой не поранит,
Пока ему не изменю я сам —

Для новизны, для вымысла иного,
Но к призрачным не рвется телесам
От желудей распухший Казанова!

МОЯ МУЗА

Ты старомодница — кружево,
накидка, муфта с собачкой,
а лезешь в месиво, в луживо?
Вернись и туфель не пачкай:
ведь сырость, уже предзимняя,
чадит по кружным дорогам!

Но некогда Полигимния —
дурной пример недотрогам,
хотя под ногами брызгами
урчали моча и пена,
ходила взглянуть хоть издали
на вшивого Диогена.

Валерий Перелешин.

К ВОЛЬНОЙ ВОЛЕ ЗАПОВЕДНЫЕ ПУТИ

ХIII

В половине второго меня вызвали в отдел кадров. Ну, вот, начинается, подумала я, но как-то рассеянно, равнодушно: если б сейчас началось землетрясение, меня бы и это, наверно, встревожило лишь постольку, поскольку может помешать моей встрече с Глебом. В общем, я боялась лишь, что кадровичка задержит меня и я опоздаю. Однако все обошлось. Разговор был буквально минутный и совершенно безобидный: ей, видите ли, понадобилось уточнить кой-какие подробности насчет моей прежней работы (как будто по телефону не могла спросить, идиотка!). Но когда я вернулась в отделение, Танечка, многозначительно улыбаясь, сообщила: "А вам звонил приятный мужской голос!" (у нее все мужские голоса приятные), и я впала в отчаяние, решив, что это Глеб, и что он не придет. Приятный мужской голос, увы, ничего не просил передать. Все же в вестибюле у большого зеркала я подкрасила губы, тщательно причесалась и даже попробовала изобразить что-то вроде улыбки, но морда все равно была жалкая, убитая. Тут меня догнал Костя, пробормотал дежурное "Хороша, хороша!" и начал рассказывать какой-то анекдот, но, заметив мое отсутствующее лицо, обиженно замолчал и ретировался.

На боковой алее, где меня обычно поджидал Глеб, никого не было. То есть, на нашей скамейке сидели двое больных, оживленно разговаривали и что-то чертили на земле, но моего

милого-ненаглядного не было. Я присела на другую скамейку и, не зная, чем себя занять, тоже стала водить зонтиком по земле.

— В общем, я все точно подсчитал, — говорил один из мужчин. — Положим, проживу еще двадцать пять лет, в году пятьдесят две недели, итого одна тысяча триста недель или девять тысяч сто дней.

— Но почему же только до шестидесяти пяти, теперь дольше живут, — возразил второй.

Я нарисовала сердце и перечеркнула его наискосок стрелой.

— Э-э, потом-то уж совсем неинтересно. Ты лучше слушай, не перебивай, а то я со счета собьюсь. Съем я, значит, за это время три тысячи девятьсот шашлыков и бифштексов и одну тысячу триста цыплят табака. Это, заметь, в лучшем случае, если не будет войны и если барашки и цыплята к тому времени вообще не переведутся.

— Конечно, если все будут жрать как ты...

— Неправильный у тебя подход, ненаучный. Цыплятки и барашки для того и существуют, чтобы их слопали. Это их жизненное призвание, высшая цель — как, к примеру, для человека построение коммунизма, и попасть на сковородку или на вертел в хорошем товарном виде для них дело чести, доблести и геройства. Но совсем другой коленкор, если они загнутся от временных трудностей на полпути к сковороде. Схватываешь разницу?

— Усекаю.

Я дорисовала хвостик стрелы и вписала в сердце Н+Г.

— То-то. А загнуться они запросто могут, к тому идет. Взять, к примеру, рыбу — стерлядь, осетринку или хотя бы судачка. Где они? Ухайдакали. Да что судак! Вобла — и та сгнула, исчезла как класс, а кому она мешала? Вобла под пиво — отличная вещь, если кто понимает... Я тебе вот что скажу: временные трудности могут выдержать только два вида животных: человек и свинья. Ты в магазин зайди, там все как на витрине: только свинина еще и есть, а остальное... Куры и те заграничные...

— Стало быть, не пропадешь. На худой конец, пришлют из-за границы.

— Мне, может быть, отечественные цыплятки больше по нутру. Я в этом вопросе патриот.

— А как насчет выпивки?

— Спрашиваешь! Три тысячи девятьсот поллитрочек.

— Это по сколько ж в неделю? — деловито спросил его собеседник.

— Три банки, не считая виноградного вина. Ну, с этим заматано. Теперь бабы. Это, конечно, дело деликатное, не очень-то запланируешь... Но кто ищет, тот всегда найдет. В общем, я прикинул и решил, что две новые бабы в год. В среднем. И трахну я их, положим, три тысячи девятьсот раз.

— Ну даешь! Это по сколько же в неделю?

— Три раза. Если без простоя.

— А жена?

— Жена, конечно, не в счет. Да ты не перебивай, суть-то не в том.

— Как это не в том? Самый смак жизни, если, конечно, баба стоящая. Тут уж как повезет, какая попадетя. И по виду не угадаешь, только уж когда ее...

Они совсем не стеснялись меня, эти типы. Надо было, наверно, встать и уйти, пока они не углубились в подробности. Двадцать минут третьего, Глеб уже не придет. А вдруг он звонил, чтобы сказать, что задерживается? Если я пойду к воротам, мы можем разминуться..

— Говорю тебе, не в том суть. Я, понимаешь, подсчитал все это, ну, баб, водку, шашлыки и прочее, словом, все положительные эмоции, как говорят врачи, сел и подумал: ну и что? И так мне тошно стало, хоть в петлю лезь. Ну и что? — думаю, понимаешь, только это и стучит в голове: ну и что? а смысл?

— Зажрался ты, вот что! Какого тебе еще смысла, если три тысячи девятьсот...

— Вот и врач мне примерно то же сказал, только поинтеллигентнее. Пить, мол, меньше надо. Еврейчик, но вообще неплохой человек. Насчет баб не возражал. Ничего, говорит, подлечим вас, товарищ Самоцветов, и вы еще потрудитесь на благо нашей социалистической родины. И послал меня срочным порядком в Кашенко, чтобы вправили мозги. Потому как нормальным людям думать о смысле жизни не положено.

— Ну и правильно послал, таких только в дурдоме...

Но тут меня словно что-то подтолкнуло, я подняла голову и увидела Глеба. Он быстро шел по аллее, солнце било мне в глаза и мешало смотреть, и я на всякий случай сказала себе, что он мне померещился, хотя, конечно, сразу узнала его. Я вскочила и побежала к нему, и пока я бежала, меня не оставлял нелепый страх, что Глеб исчезнет прежде, чем я добежу до него, как уже не раз бывало во сне, так что, добежав, я, не говоря ни слова, вцепилась в него обеими руками и только тогда, наконец, успокоилась, поверила, что это в самом деле Глеб и что он никуда от меня не денется.

“У тебя было такое лицо, сказал он мне потом, что я подумал: что бы там ни случилось с нами, а это мое и останется со мной навсегда, даже если ты покинешь меня, все равно и ты не можешь отменить, вычеркнуть это, и много лет спустя я вспомню, как ты бежала ко мне и как тогда, в Аялунге, бросилась ко мне, и сто тысяч других прекрасных мгновений нашей с тобой жизни, и я скажу себе, что я счастливый человек и мне чертовски повезло”... А мне вдруг совсем некстати взгрустнулось, потому что я догадывалась о том, чего еще не понимал, не мог понимать Глеб, которому до меня не довелось узнать, что такое любовь, — и потерять ее, я знала: прошлое не имеет самостоятельного бытия, оно живет лишь отраженным светом и меняется вместе с настоящим, вместе с нами. И что в том, что его нельзя отменить? Когда-то я хранила мгновения счастья, как скупой рыцарь, в глубоких подвалах памяти и время от времени извлекала из тайников свои сокровища, любовалась ими, перебирала, пересчитывала — все ли на месте? Но нам ничего не дано сберечь, скопить на черный день, спасти. Прошлые радости вписываются в сердце перечнем утрат: ни забыть, ни сохранить. И наступает день, когда мы обнаруживаем, что в наших заветных кладовых ничего нет, кроме старого хлама и просроченных векселей, по которым и платить-то некому... Но все равно мы не решаемся расстаться с ними, хоть и знаем, что всем этим бумажкам — грош цена. Так моя нянька хранит в своем сундучке керенки, а спроси ее — зачем? И что ей Керенский?

— Мы к тебе, да? Ты свободен?

— Свободен, свободен. Видишь — позвала, и я все бросил, прибежал.

Я испугалась, что он все испортит, станет упрекать меня и все испортит.

— Ну что ты, синичка, — ответил он на мои мысли, — что ты. Все хорошо.

У ворот стояла черная "Волга" с шашечками.

— Ты на такси? А где твоя "Волга"?

— Продал. На слом уже пора старушку. Я новую "Волгу" покупаю. На-днях поллучу.

— Жалко. Я к ней привыкла, привязалась как к живой, словно к собаке.

— Ничего, к новой тоже привыкнешь.

Я устроилась рядом с Глебом, осторожно коснулась его руки — Боже мой, неужто мы снова вместе? — и засмеялась. Поехали, поехали!...

— Знаешь, девочка, я все время ловил себя на том, что пробую перенять твои движения, жесты. Затянусь сигареткой и вздыхаю — совсем как ты.

Я тоже играла в эту игру и старалась говорить его интонациями, втайне радуясь, если получится похоже, словно это он со мной разговаривал, словно можно, поймав отзвук голоса, из ничего, из колебаний воздуха воссоздать его самого или приманить, как мальчишки приманивают птиц, подражая их пению... Но я-то думала, что это мое личное открытие. Милый-милый, смешной... И разве я вздыхаю, когда курю?

— Какая у тебя улыбка, — сказал Глеб. — Вот этого мне никогда не перенять.

Улыбка, какая у тебя улыбка!.. Не может быть, чтобы я им обоим одинаково улыбалась! В этом есть что-то бесчестное. Но я же не виновата, что у меня только одно лицо и одно тело и нельзя сбросить вместе со старой любовью эту оболочку, в которую я заключена, и надеть новую, как надевают обновку к празднику. Я хотела бы подарить тебе отдельную — только для тебя — улыбку и сияющие новизной, никогда не бывшие в употреблении слова, но на свете не осталось таких слов, какие бы

мы уже не использовали с Алькой, и оттого я предпочитаю молчать, смотреть на тебя и улыбаться. И тогда ты говоришь: "Какая у тебя улыбка", а я слышу: "Знаешь, за что я тебя люблю? За то, что ты всегда просыпаешься с улыбкой и — ля-ля-ля — пошла крутиться пластинка — не уходи, тебя я умоляю... падам-падам-падам... и триста тридцать три миллиона китайцев"... Ах, все вздор, реникса, керенки...

— У моей няньки в сундучке целая пачка керенок.

— Ты с чего это вдруг?

— Так... вспомнила... Я вчера свезла ей весь наш самосад.

Она в сундучок прибрала, где эти самые керенки.

— Что-нибудь случилось? — насторожился Глеб.

Я понизила голос:

— Взяли одного нашего друга, бывшего Алькиного ученика.

— За что?

— Самиздат. Ну, может, еще что-нибудь, пока неясно. Жалко мне его — до слез. Такой трогательный мальчик, чистая душа. И умница. Жена у него беременная, на последнем месяце... Да ты же знаешь его!.. Борька Иоффе.

— Борис Иоффе! — воскликнул Глеб. — Борис Иоффе! Какого человека загубили, Боже мой!.. Это... Да за одно это я бы их всех...

Он вдруг резко отстранился и выдернул свою руку из моих рук.

— Жалко, говоришь? А что его жалеть? Дело прочно, когда под ним струится кровь... Вам ведь жертвы нужны, а то...

— Что ты говоришь? Что ты говоришь?... Опомнись.

— Нет, вам именно это и нужно!.. Александр с приятелями очередное письмишко сочинят, и пойдет кипучая деятельность. А ты денег соберешь для беременной жены, вот и...

— Ради Бога, замолчи! Ради Бога!.. Ты сам пожалеешь...

Борис Иоффе талант, понимаешь? Звезда первой величины, и если б не твой Александр и вся эта безответственная сволочь!..

— Я тебя сейчас ударю!

Глеб ошеломленно посмотрел на меня и замолчал. Вот и

дождалась праздника!.. Я забила в угол и тоже молчала. Глаза б мои на него не глядели. Чужой, совсем чужой!

— Улица Черняховского, приехали! — сказал водитель, притормаживая. — К какому дому вас?

— Ну так что, — спросил меня Глеб. — Ко мне пойдём или отвезти тебя домой?

— Не знаю. Все равно. Ах, делай, что хочешь!..

— На Арбат, — сказал шоферу Глеб.

— Куда-а?

— На Арбат.

Я будто окаменела: ни боли, ни сожаления, только тупая стопудовая тяжесть. Шофер молча развернул машину. Мы выехали на Ленинградское шоссе, миновали стадионы, Белорусский вокзал... На площади Маяковского часы показывали без пяти минут три. Еще полчаса не прошло с тех пор, как я бежала к нему по больничной аллее и, казалось, сердце разорвется от радости... Я украдкой посмотрела на Глеба. Он сидел в другом углу и хмуро курил, глядя прямо перед собой. Подавленный, отчужденный, угрюмый... Это я его подкосила. Ни когда раньше Глеб не сорвался бы так, даже если б Борька был его родным братом... И, конечно, он понимает, что обвинять Альку просто нелепо. Не такой Борька человек, чтобы его мог кто-нибудь "совратить". Своя голова на плечах. Но Глеб ненавидит Альку, в этом все дело, из-за меня ненавидит... Бедные мы, бедные... Уже площадь Пушкина, сейчас свернем на бульвар, и можно считать, что я дома. Не хочу, не хочу, не хочу!

За окном внезапно померкло, потускнело и по крыше забарабанил дождь — сначала редкими тяжелыми каплями вразнобой, будто примеряясь и раздумывая, а потом сплошным буйным потоком. Шофер, чертыхаясь, выскочил из машины и стал прикреплять к ветровому стеклу дворники.

— А я зонтик забыла... На лавочке в нашей аллее. Как увидела тебя, обо всем на свете забыла...

Глеб стремительно повернулся ко мне:

— Надежда, ты ведь все понимаешь, прости меня.

Водитель, чертыхаясь и отфыркиваясь, влез в машину.

— Вам какое место на Арбате?

— Нам на улицу Черняховского.

— И долго мы будем так кататься? — свирепая, спросил шофер, — Вы что — совсем того?

— Боюсь, что совсем, — весело сказала я.

— Что с тобой, девочка, почему ты плачешь?

Глеб приподнялся на локте, растерянный, встревоженный, и другой рукой осторожно отвел с моего лица волосы. Я поймала губами его руку и поцеловала.

— От счастья, любимый, от потрясения...

— Ох, как ты напугала меня. Я подумал, может, я что-нибудь не так...

— Нет, что ты. Все прекрасно. Как всегда. Даже лучше. Хотя каждый раз кажется, что лучше невозможно.

— И земля плыла?..

— И земля плыла...

Глеб опустил голову на подушку, притянул меня к себе и бережно-бережно обнял.

— Но раньше ты никогда не плакала.

— Наверно, я очень стосковалась по тебе... и забыла, как это бывает... И потом, я думала, что больше уж никогда мы не будем с тобой...

Я уткнулась лицом в его грудь и затихла. Дождь все еще лил, и под его однообразный ровный гул было особенно уютно и тепло лежать в надежном укрытии Глебовых рук. За окном шумели деревья, а может быть, море, и казалось, мы снова в Аялунге, и в целом мире нет никого кроме нас двоих... И снова плыла земля, раскачивая наше ложе, все выше, выше, я умирала, умирала, изнемогая от блаженной муки, слаще которой нет ничего на свете, чтобы воскреснуть, вернуться к жизни обновленной и безмятежной на солнечном райском берегу, куда последний сокрушительный девятый вал выбрасывал нашу ладью.

— Почему мы забываем об этом? — задумчиво проговорил Глеб.

— Ты о чем?

— Не знаю, как лучше сказать... Это ощущение прорыва за пределы действительности в какое-то другое измерение, что ли... А когда возвращаемся к обычной жизни, то уже через несколько

часов вспоминаем об этом неуверенно — было или не было?

— Как об утраченном рае, в который нас пустили на мгновенье... Знаешь, в такие минуты, ну, когда мы с тобой, я верю в Бога, просто чувствую, что он есть...

— Пожалуйста, не забудь там сказать, если нас все-таки призовут к ответу за грехи, что я обратил тебя к Богу...

— Ну тебя... Я вполне серьезно, я в самом деле так чувствую... Хотя, конечно, если вдуматься... Ведь не может быть, чтобы он создал нас, чтобы мы познавали его таким странным способом?

Я задремала, меня как-то вдруг сморило, и очнулась, лишь когда почувствовала, что Глеба нет рядом, вскочила и увидела, что он одевается. "Спи, спи, синичка, — сказал он. — Я на минутку в гастроном". Я хотела пойти с ним, но он уложил меня, укутал одеялом, поцеловал в ресницы и велел спать, и я снова задремала. Но и во сне меня не оставляло ощущение счастья, которое каким-то образом сливалось с гитарными аккордами, вплетававшимися в шум дождя и ветра. Когда я открыла глаза, Глеб еще не вернулся. Из растворенной балконной двери вместе с привычными городскими звуками доносились гитарные переборы: кто-то включил магнитофон. Дождь кончился, и сквозь золотистый шелк занавески, чуть подрагивавшей на ветру, струился ровный теплый свет, наполняя комнату мягким янтарным сиянием. И на душе было так же светло, ясно и радостно, я чувствовала себя легкой, чистой, молодой и счастливой, но что-то уже неуловимо изменилось, какая-то глухая, еще неназванная тревога тронула сердце — может быть, из-за гитары, грустившей за окном, и недавняя безмятежная радость померкла. Всегда, всегда в наших встречах с Глебом наступал момент, когда я чувствовала — праздник пошел на убыль, скоро придется расстаться (и даже если не скоро, даже если оставалось в запасе несколько часов, это уже ничего не меняло, главное, нельзя было вспоминать о том, что придется расстаться, и потому, входя к Глебу, я первым делом снимала с руки часы, как будто можно перехитрить судьбу, но все равно снимала — наверно, с тем же чувством, с каким бальзаковский Рафаэль забросил в колодец шагреневую

кожу: не видеть, не знать — в их спокойном безостановочном тикании мне слышалось всегда одно: "ваше время истекает, ваше время истекает").

Я нехотя встала и пошла в другую комнату, чтобы взглянуть на часы. Ого! Без четверти восемь. Я подумала, что надо бы позвонить Альке и лучше сделать это сейчас, пока нет Глеба, но звонить не хотелось. Магнитофон наигрывал теперь что-то знакомое, что-то про цыганок, которые качались на высоких, сбитых набок каблуках, и печальный, раздумчивый мужской голос обреченно тосковал о вольной воле и рвался им вслед... Я обошла квартиру, но за пять месяцев, что меня не было, ничего не изменилось. Как и прежде, в каждой комнате мои и Катюшкины фотографии, и всюду разбросаны английские книжки в пестрых глянцевых обложках: Глеб увлекается детективом. В кабинете на письменном столе лежал учебник испанского языка, испанско-русский словарь и английская брошюра о йогах. Вот это что-то новое. Я, наконец, пересилила себя и набрала наш номер. "Слава Богу, объявилась! — закричал Алька, — куда ты пропала?" Я сказала, что приду часов в десять и положила трубку. Потом я приняла душ, и, пока мылась, пришел Глеб. Он заглянул в ванную, сказал, что я просто неприлично хороша, поцеловал меня в плечо, прямо под струей, и исчез. Я вылезла из ванны, машинально протянула руку за своим халатиком, но его не было на привычном месте.

— Где мой халат? — крикнула я.

— Засунул куда-то, чтобы не попадался на глаза. Посмотри в шкафу.

В шкафу моего халата тоже не оказалось, но я обнаружила шикарное замшевое пальто. Женское. Сердце у меня екнуло. Я поспешно захлопнула дверцу. Мог бы все же убрать...

Торопливо натянув на себя платье, я пошла в кухню. Глеб выкладывал на стол покупки.

— Займись-ка, девочка, ужином.

Я молча поставила на плиту сковородку, швырнула на нее котлеты ("больше ничего не было, черт бы их подрал", — морщась, сказал Глеб) и стала нарезать сыр.

— Ты что сникла, райская птица? Наше время истекло?

— Чье это замшевое пальто в шкафу?

— Так, ерунда, — небрежно бросил Глеб.

— А все-таки?

— Собирался жениться, да не выгорело, — ответил он с натянутой улыбкой.

Я выронила нож и беспомощно посмотрела на Глеба. Хоть бы уж не улыбался!..

— Зачем ты говоришь мне это? Разве нельзя было соврать? Конечно, я сама виновата, знаю, виновата... И допускаю, что ты мог переспать с кем-то или даже завести роман, увлечься... Но жениться! Сразу, еще не успели мы...

— Ты что, всерьез? Всерьез? — переспросил Глеб. — Вот, не думал, что ты такая глупая. Зачем мне нелюбимая жена? Дурочка, пальто я тебе купил, кому же еще? У нас в подъезде живет одна спекулянтка, заграничными тряпками торгует, да ты ее видела, наверно. Она-то точно тебя углядела: предложила по-соседски — как раз для вашей дамы. Я и купил сгоряча, очень красивое. Но ты же не возьмешь, будто я не знаю? Скажешь: а как я Альке объясню?.. Ну, больше вопросов нет?

— А кто испанский учит?

Одна роскошная блондинка... Испанский, дорогая Надежда Федоровна, учу я.

— С чего это ты вдруг?

— Давнишняя мечта. И от сердечной тоски отвлекает... Я, видишь ли, в детстве мечтал стать матадором.

— Ты?!

— Представь себе. Разве я не говорил тебе?.. Да, все нам с тобой некогда, Надя, как дорвемся друг до друга, так уж не до разговоров...

— А я мечтала быть Кармен... Скажи что-нибудь по-испански.

— Пожалуйста. — И Глеб произнес длинную звучную фразу. Красиво?

— Очень. А что это значит?

— Господи, дай мне силы перенести то, что я не в силах изменить. Господи, дай мне силы изменить то, что я не в силах вынести. Господи, дай мне мудрости, чтобы отличить одно от другого.

— Ну, Глеб, к тому времени как ты выучишь испанский, ты таким мудрым станешь!

— Ах, девочка, я вообще-то многое могу, я себя знаю. Могу если понадобится, выучить древнееврейский и даже японский, но эту мудрость, боюсь, я так и не освою...

Мы сели за стол. Глеб разлил по рюмкам коньяк.

— Что ж, любимая...

— Глеб, — сказала я, — Глеб, ты моя единственная радость. Пожалуйста, помни об этом. Не оставляй меня, даже если я... Без тебя мне не выдержать этой проклятой жизни, понимаешь...

— Я помогаю тебе выдержать твою семейную жизнь...

Если б он упрекал, как обычно! Но Глеб сказал это так печально и просто, со спокойной горечью, что у меня горло перехватило от жалости, и опять, как тогда, в такси, я подумала, что разрушаю его, постепенно, как капля точит камень, подтачиваю его силу, цельность и ясность, все то, что мне так нравится в нем. И его браню.

— Конечно, я неправильно живу, но жизнь вообще неправильно устроена, не только наша, но всякая, везде и во все времена. Помнишь, у Чехова: у насекомых из гусеницы получается бабочка, а у человека наоборот. Без тебя я давно превратилась бы в противную мохнатую гусеницу... Только ты, только счастье помогает мне сохранить себя, остаться той женщиной, которую ты любишь...

А наше время истекало, истекало...

Истекало.

XIV

Мы кружили с Глебом около дома, приближаясь, удаляясь и снова приближаясь, чтобы у самых ворот опять повернуть назад: "Я провожу тебя немножко, милый". Не хотелось расставаться, просто невозможно расцепить руки... А где-то на полях сознания возникали и гасли непрощенные мысли: о том, что придется что-то соврать Альке, а я ничего не придумала, и противно врать, надоело, и когда это кончится; что нужно как следует прибраться в доме, полдня провожусь, не меньше: после обыска так и хочется не то что уборку сделать, а дезинфекцию — чтобы и духа их не

осталось; что надо где-то перехватить денег, чтобы заплатить за квартиру; что Наташка, наверно, уже улетела, бедная Наташка, совсем одна, я должна была настоять и проводить ее; что завтра непременно нужно заскочить к Верочке и заставить Альку поехать к Анютке... Жизнь уже стучалась ко мне, моя жизнь, но я не пускала ее, тихонечко отпихивала, уговаривала: ну, погоди, повремени еще чуть-чуть, я все знаю, помню, но дай мне еще несколько минут передышки, антракта, самовольной отлучки — и потом я снова твоя...

— Раньше понедельника вряд ли выйдет, — сказала я Глебу. — Но я все же постараюсь вырваться в воскресенье хоть на часок. Только ты не жди специально, ладно? Если ты собирался за город или...

— Ты же знаешь, что я буду ждать, — привычно сказал Глеб.

Я знала, конечно.

Мы опять повернули к моему дому. Было тихо и безлюдно: то ли спать все уже завалились, то ли сбежали от московской духоты на природу — ни встречающих, ни огонька в домах, лишь изредка мелькнет среди слепых черных глазниц желтый прямоугольник освещенного окна. В летние вечера, особенно по пятницам и субботам, мои любимые арбатские переулки, дремотно цепенеющие в холодном голубоватом сиянии фонарей дневного света, напоминают покинутый или вымерший город. Слабый, мерный звук наших шагов еще больше подчеркивал тишину, стоявшую вокруг, и было странно и как-то не по себе от мысли, что все эти огни, неровной провисающей гирляндой тянувшиеся по серому ночному небу, зажжены для нас с Глебом. Впереди темнели две человеческие фигуры. Они стояли на тротуаре, приподняв головы, и, по-видимому, прислушивались к тому, что происходит над ними — в комнате, глядевшей в ночь воспаленно-розовым окном. Мы молча приближались к ним и за нами чуть ли не по пятам бежал гонимый ветром лист, с сухим, словно бы жестяным звуком царапавший мостовую. И вдруг тонкий детский голосок вспорол тишину: "Папочка, не надо, ой, папочка миленький, не надо"... Те двое равнодушно повернулись и побрели прочь. "Что же это, — крикнула я, — послушайте, ведь там...". Не помню, что еще я кричала им и почему вообще

пыталась остановить их. Наверно, мне казалось, что вместе мы сможем что-то сделать, ведь они были здешние, по-видимому, из этого дома, и знали того человека. А я знала только одно: бьют ребенка, и его слабый кроткий плач острой иглой вонзался мне в грудь. "Но послушайте..." — "А, привычное дело!" — ответил спокойный женский голос уже из темного зева подворотни, и мы остались вдвоем с Глебом.

— Но сделай же что-нибудь! — взмолилась я. — Глеб, солнышко, ну, пожалуйста...

— А-а-а! — неслось из окна.

— Пойми же, мы не можем ворваться среди ночи в чужой дом... Да нам и не откроют... Безнадежно... Подумай сама...

Но я ничего не соображала и все еще на что-то надеясь. хватала за руки Глеба, пытавшегося меня увести.

— Можно попробовать поискать милиционера, — неуверенно сказал он. — Там у посольства должен быть пост...

Посольство было рядом, в соседнем переулке, но милицейская будка пустовала..

"Папочка, миленький, не надо..." — звенело у меня в ушах.

— Слышишь? Он опять...

— Нет, — сказал Глеб, — тебе кажется. На таком расстоянии ничего не слышно. Ради бога, успокойся и перестань прислушиваться.

— А знаешь, — начала я.

...Алька ни за что не оставил бы это так, не то что ты, можешь быть уверен, уж он-то сумел бы справиться с этим подонком. И Алька не стал бы рассуждать, когда нужно действовать. У него безошибочная реакция на несправедливость: если обижают слабого, надо заступиться, а за подлость — бить в морду. Молниеносный рефлекс — как в детстве. Да, это мальчишество, согласна, можешь еще упомянуть о донкихотстве, валяй, я это тысячу раз слышала. Но только так и можно остаться нравственным в этом гнусном мире, где разумные люди вроде тебя умывают руки и порядочным называют человека, который неохотно совершает подлость. И вот потому, несмотря ни на что, я столько лет считала Альку

лучшим из людей и теперь еще держусь за него, а ты... "И что же сделал бы на моем месте лучший из людей? — спросил бы тогда Глеб, — разбил бы окно?" А хотя бы и так, милый, если уж ничего другого не остается... "Ну, а дальше?" — Не понимаю... "Влез бы в комнату и вырвал из рук злодея ребенка, так, что ли? А дальше?"... Ну, дал бы по морде этому папочке, если бы понадобилось... Хотя такие обычно трусливы и сразу пасуют... В общем, так или иначе прекратил бы истязание... "А дальше?"... В этом вопросе был какой-то подвох, я это с самого начала чувствовала... Дальше? Что ж, не исключено, что папочка, очухавшись, поташил бы Альку в милицию — за разбитое окно, не говоря уже о физиономии, что соседи — умыватели рук — сказали бы, что знать ничего не знают и что в конце концов Альке еще и пришили бы пятнадцать суток за хулиганство. ... Ты это хотел сказать? — "И это тоже, но, главное, дело в том, что ребенок..." Ребенок перестал бы плакать!... "Но на следующий день, когда твой муж будет возвращаться домой другой дорогой спасенный им ребенок... Что его ждет, как ты думаешь? Или это уже не имеет значения, лишь бы ты не слышала, как плачут?" Да, вот оно. Я кинула взгляд на Глеба, молча стоявшего рядом со мной, и он улыбнулся мне робкой, беспомощной, так не идущей ему улыбкой. Я знала все, что он мог сказать, и, конечно, он пощадил бы меня и не стал бы так прямо спрашивать. В мире слишком много зла и бессмысленных страданий, и мы бессильны это изменить, обычно говорил он, но мы можем стараться, насколько это зависит от нас, не увеличивать сумму мирового зла. Позиция принципиального невмешательства: "потому что, вмешиваясь в чужую судьбу, мы берем на себя обязательства, которые не в состоянии выполнить, а это, Надя, гораздо хуже, чем просто пройти мимо..." Может, ты и прав, но так рассуждать способен лишь равнодушный человек, и я понимаю Альку, который... Но тут передо мной всплыло Анюткино лицо и —

— так и не сказав ничего, я взяла Глеба под руку и поплелась за ним. Он молча довел меня до подъезда, и когда я потянулась к нему, чтобы поцеловать на прощанье, и увидела, как мгновенно осветилось радостью его сумрачное лицо, я вдруг почувствовала себя кругом виноватой: — перед Глебом и перед

Алькой, который, небось, извелся ожиданием, и перед ребенком, безутешно плакавшим в нескольких шагах от меня...

“...назревал духовный сдвиг, потребность очеловечиться, и помешало этому не противодействие властей, а отсутствие свободного сознания. Вы, Алька, такие же рабы, и пока человек не отделит себя внутренне от общего воздуха, он остается в системе этой кровавой математики...” — услышала я еще из коридора. Кажется, Славкин голос. И стиль его. Они вместе с Алькой делают какую-то халтуру, Хряков взял на свое имя — для Альки, а тот, конечно, откладывал до последней минуты, и вот теперь уж сроки поджимают, так что Славке пришлось включиться в работу (ох и честил он Альку за безответственность: пойми ты, людей подводишь... чтоб я еще взялся тебе помогать!..), но дело все равно подвигалось медленно, потому что они не столько работали, сколько чесали языки и ругались, споря о мировых проблемах, и под конец уж Марина — самый деловой человек в нашей компании (она, впрочем, тоже любит потрепаться, особенно о высоких материях, но при этом как-то умудряется и статьи писать, и на всех премьерах и вернисажах бывать, и хозяйство вести, и по портнихам бегать — Маришка все успевает), предложила свою помощь и попыталась железной рукой навести порядок, только они и ее заговорили, они кого угодно заговорят...

Я толкнула дверь: так и есть, вся троица на месте. На столе — грязная посуда вперемешку с рукописями, пепельница полна окурков, от дыма не продохнешь. Марина лучезарно улыбнулась мне — той особой, “домашней” улыбкой, которая предназначена только самым близким друзьям, но я не ответила ей — у меня все еще саднило в груди, не могла я забыть плачущий детский голосок, он словно заноза торчал во мне, мешал вздохнуть и, возможно, поэтому, увидев Марину, я вспоминала Оську и опять подумала, что она, наверно, уши затыкала... Слава и Алька, поглощенные спором — и чего я беспокоилась? никто меня не ждет — рассеянно кивнули мне и снова схлестнулись.

— Вы тоже порождение этой системы, потому что не способны вырваться за пределы ее законов, отвергнуть ее логику,

потому что живете ненавистью, — кричал Хряков, — а ненависть бесплодна и разрушает прежде всего того, кто сам...

— Да, черт подери, да, да! — кричал Алька. — Нельзя жить ненавистью, она иссушает душу, без тебя знаю, я тоже устал ненавидеть. Но бывают эпохи, когда можно любить свою родину, только ненавидя! Это наше проклятие, согласен, но что же...

— Это проклятие лучших людей России, начиная с Чаадаева, даже, пожалуй, с Радищева, — сказала Марина.

— Ты вон у моей Надьки лучше спроси, она настоящая христианка, хоть и не верит в Бога, всех пожалеть готова, ты у нее спроси насчет ненависти. Если уж она...

... в лужице крови, уткнувшись носом в землю и на его совершенно сером лице веснушки казались брызгами грязи. "Если мы все пойдем и попросим", — твердил Сашка, но никто из них не тронулся с места, никто, и мы пошли с Сашкой вдвоем, хотя я тоже думала, что это бесполезно, но в конце концов никогда нельзя знать заранее, да и не могла я спокойно смотреть, как тот парень умирает. Вдоль фасада тянулась вереница правительственных машин, их всегда можно отличить по занавескам на окнах, мы прошли мимо них, провожаемые внимательными взглядами шоферов (наверно, нас тоже можно по каким-то приметам сразу отличить от тех, кого они возят), поднялись по каменным ступеням и вошли. В вестибюле нас остановил швейцар, я не стала терять времени на лишние разговоры: одна надежда — добраться до кого-нибудь из врачей — и, не слушая его криков, помчалась дальше, Сашка — за мной. Мраморные колонны, ковры, зеркала, декоративные растения... К нам уже бежали, привлеченные шумом, две тетки. Все было разыграно как по нотам: — несчастный случай, необходимо срочно... — если каждый с улицы — но поймите! — гражданка, вы знаете, где находитесь? — но послушайте, он умирает — здесь не скорая помощь — умирает!.. — гражданка, вам русским языком говорят — вы будете отвечать, если он — безобразие, вас что, силой выводить?.. Я села в кресло и сказала, что только силой, что никуда не уйду, пока не позовут начальство. Они, наконец, сообразили, что так просто от меня не отделаться, и пошли

кому-то звонить. Прошла целая вечность, прежде чем явилась вполне интеллигентная на вид женщина. Я воспрянула духом. Но все повторилось, только на полтона ниже. Невозможно было достучаться. "Я все понимаю, коллега, но есть установленный порядок, и мы не можем..." Очень хотелось бить зеркала. Она предложила мне воды: у меня губы тряслись. "А совесть у вас есть?" — это, конечно, Сашка спросил, на нем тоже лица не было. Не знаю, что бы он еще наговорил, если б я не увела его: безнадежно. Очень хотелось бить зеркала... Колонны, ковры, фикусы, швейцар, "Волги" с занавесочками... "Скорая помощь" все еще не приехала, мы еще от угла заметили толпу, терпеливо стоящую на прежнем месте. Сашка молча шагал рядом со мной, ссутулившись и отвернув лицо. Я догадалась, что он плачет. Внезапно он поднял голову и спросил: "Мама, неужели они все, абсолютно все могут себе позволить?.." Я не ответила, кровь оглушительно стучала в висках и во рту пересохло от ненависти.

Наверно, это и называется классовой ненавистью...

— Сволочи, — сказал Хряков, — конечно, сволочи! — и добавил кое-что покрепче. — Кто же спорит?.. Но если уж на то пошло, твоя история ничего не доказывает. Кого ж тут ненавидеть? Этих теток? Швейцара? Врачиху?.. Нелепо. Нельзя же ненавидеть стену.

— Но стену можно сломать, — сказал Алька.

— Хватит уж, наломали!.. Нет, начинать надо не с изменения внешних обстоятельств, а с себя, освободите сначала себя, это еще Герцен...

И пошло, пошло, закрутилась пластинка!..

...искать спасения только в самом себе, в своей душе... Лучше прямо скажи, спасать себя!.. Свобода духа... Твоя свобода — это просто свобода от ответственности! О какой свободе можно говорить, живя в тюрьме?... И в тюрьме можно быть внутренне свободным ... Слова, слова, слова! Назови хоть одного, который действительно... Сколько угодно. История христианства... К черту!.. Если тебе непонятно, это еще не значит... Меня интересуют не святые, а люди... Солженицын... то самое исключение, которое только подтверждает... На особом положении, и может себе позволить... как человек, у которого

иммунитет против чумы, потому что он уже переболел и потому... А Амальрик?

— Пойдите, мальчики, — сказала я, — мне кажется, я поняла... Славка прав: можно быть свободным в тюрьме, хотя не думаю, что сам он... Но это неважно. Да, свободным в тюрьме, хотя это, конечно, очень трудно, но нельзя быть свободным в о ж и д а н и и тюрьмы, это, наверно, никому не дано, и нет такого человека, на которого это ожидание не действовало бы разрушительно... Я иногда смотрю на наших и ужасаюсь, вот и вчера у Радина, что же это с нами творится?.. Мы все под этим страшным прессом живем, и это свыше человеческих сил... Ведь даже Амальрик, самый свободный человек на всю страну, я перед ним всегда преклонялась, но вспомните... ведь и у него нервы сдали, и он стал доказывать публично, в какой-то там немецкой газете, что он не агент КГБ, подумать только, и оправдываться в том, что его до сих пор не посадили!

— Вот именно, — сказал Хряков, — а кто виноват? Опять скажете, советская власть? Дудки! От нее-то он как раз свободен, он из тех немногих, кто сумел подняться над системой и жить так, словно ее просто не существует. Свои его довели, эти ваши демократы и борцы за свободу! Бесовщиной от вас разит... Если б ваши враги были умнее, они не шарахались бы от Достоевского, а взяли бы его на вооружение — против вас...

— А ты подскажи, где следует, может, послушаются умного совета! Предложи свои услуги, судя по всему, ты уже созрел для этого, — сказал Алька.

Хряков побагровел и стал медленно подниматься из-за стола, мыча что-то нечленораздельное. Он обычно многое спускал Альке, которому нравилось дразнить его, испытывать его "христианское смирение", однако на этот раз Славка не на шутку обозлился, да и было от чего, но Марина — ей бы укротительницей зверей быть: "Мужчин, дорогая, надо дрессировать" — только глянула на мужа своими узкими татарскими глазами, чуть сдвинув тонкие брови, и он мгновенно притих и покорно сел на место.

— По-моему, вы оба несколько увлеклись, — спокойно сказала она. — Может, все-таки поработаем?

Мужчины нехотя согласились и потребовали крепкого чая —

для прояснения мозгов. Я пошла на кухню, а когда вернулась с чайником, они все еще трепались, впрочем, вполне мирно.

— Только не надо ничего менять, — кротко уговаривал Хряков Альку, словно тот и в самом деле мог что-то изменить. Чудаки!.. — Ради Бога, не надо ничего менять! Исторический опыт показал, что всякое действие, даже самое благородное по цели, направленное на изменение внешних обстоятельств, неизбежно ведет к новому злу...

— Помните у Бердяева? — сказала Марина. — Периодически являются люди, которые с большим подъемом поют: "От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих за великое дело любви". И уходят, несут страшные жертвы, отдают свою жизнь. Но когда они побеждают, то быстро превращаются сами в "ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови". И тогда являются новые люди, которые хотят уйти в стан умирающих... И так без конца совершается трагикомедия истории...

— Вот я и говорю: бездействие — наименьшее зло. И если ваши победят, попомни, Алька, мое слово, твой сын будет гнить на нарах где-нибудь в Мордовии или на Колыме...

— Не знаю, как в случае победы... Но если ничего не изменится, моего сына уж точно не минует...

— Типун вам на язык, оставьте Сашку в покое! — закричала я. — Трепачи бессовестные. Вот уж действительно — праздно болтающие!.. Вы, кажется, собирались работать?

— Увы! — сказал Алька, придвигая к себе рукопись, — хотя бездействие несомненно благо...

Слава Богу, вроде уgomонились. Я собрала грязную посуду и понесла на кухню, чтобы помыть. Уже выходя из комнаты, услышала телефонный звонок. Это еще что? Первая мысль, конечно: какая-нибудь неприятность, не иначе, кто же станет среди ночи просто так звонить? Впрочем, Алькины приятели знают, что он поздно ложится, могут и без всякого дела звякнуть. Полуночники. Мишка недавно позвонил во втором часу, чтобы поделиться какой-то гениальной идеей, осенившей его спяну. Что-то насчет структурализма... Но все-таки на душе было беспокойно, и я, не домыв посуду, пошла в комнату.

— Федор приехал, — радостно сообщил Алька. — Завтра уезжает на дачу, приглашал нас к себе. А ты говоришь!..

— Наташка не звонила мне?

— Кретинка твоя Наташка, — сразу поскучнев, сказал Алька. — Теперь уж не позвонит. И какого черта полезла на рожон?

— Не может без вывертов и театральных жестов, — сказала Марина.

— Ну, уехала из Москвы, что тут такого...

Так я и знала, что ее будут осуждать!

— Уехала? С чего ты взяла?..

— Но она сама... А разве нет? Да не молчите вы, черт возьми, что с ней?

Альке пришлось, наверно, раз десять повторить, что Наташу арестовали, прежде чем до меня дошло, я слушала и ничего не понимала: не могли ее посадить, не за что, и сначала я даже обрадовалась, что она жива, потому что в первую минуту подумала самое страшное, у меня ведь еще вчера мелькнула такая мысль, но я поскорее отогнала ее, ухватившись за Наташкину выдумку про Магадан, хотя все было шито белыми нитками, мне и тогда показалось странным, что она письма оставляет, письма-то она могла взять с собой, но не т у д а , конечно. Говорят, ее увезли в Бутырку. Впрочем, никто ничего толком не знал. Было известно лишь, что она разбрасывала какие-то листовки, то ли в ГУМе, то ли на площади Пушкина, и ее тут же схватили и увезли. Какие листовки, о чем? А, не все ли равно?.. Ей это совершенно безразлично, просто решила погибнуть! Бедная, бедная, до какого же отчаяния она дошла, если... Ну, ты, Надя, разумеется, и сейчас готова ее защищать!.. Здесь человек сгорел, здесь человек сгорел... Ну, жалко ее, конечно, жалко, но она компрометирует серьезное дело... Чем же компрометирует? Разве уж нельзя даже погибнуть за дело, в которое не веришь?.. Могла бы выбрать другой способ самоубийства!.. Нет, лишь бы обратить на себя внимание, любой ценой, только бы... Вот видишь, во что вырождается это ваше движение, я говорил. Прибежище неудачников и психопаток...

— Замолчи, ты... ты..., — сказала я. — Прекратите... Она не психопатка, она несчастная, вы ведь знаете Наталью, как же

можно? Ты... христианин, неужто тебе не стыдно? Не понимаю! И ты, Алька, Боже мой, почему вы все такие безжалостные?..

Я прошла в другую комнату и бросилась на тахту. Ах, Талка, Талочка, что ты с собой сделала?.. "Глупо, конечно, знаю, Надя, но мне так легче"... Наталью давно искушала эта мысль, еще с тех пор, как Федора забрали, но сначала это было другое: разделить его судьбу, а потом, когда он отрекся от нее и начал продавать самым бесстыдным образом, рассказывая жене интимные подробности, словно ему доставляло особое наслаждение глумиться над своей бывшей любовью, Наташа, оглушенная горем и унижением, не знала, куда спрятаться от срама, и тюрьма все чаще стала ей представляться в ы х о д о м. Но тут было не только отчаяние, а все то же: "если бы понять". Да, ей нужно было самой пройти путь, оказавшийся роковым для Федора, чтобы понять, что же его сломило, поставить эксперимент на себе, если уж нельзя узнать это иначе, ведь все кругом не то что бы оправдывали Полушкина, но не разрешали себе судить его: он в тюрьме, разве можем мы з д е с ь понять, что он вынес, словом, отпускали ему грехи за с т р а д а н и я. ("Ну да, тюрьма все спишет", говорила Наташа). Ей-то ничего не прощали, каждое лыко ставили в строку, даже друзей раздражало ее опрокинутое лицо, испуганный, затравленный взгляд, и то, что сигаретка дрожит в ее худых пальцах, и что она до сих пор не утешилась, не завела себе любовника, она, видите ли, нарочно "расчесывает" себя, пора взять себя в руки и жить как все, не ее первую бросил любовник, от этого никто ещ^е не умирал... Знакомая песня! Раньше можно было в монастырь - заживо похоронить себя, а теперь, скажите, теперь куда пойдешь, если жизнь разбита?... Я понимаю Наташу: как же ей жить с вытоптанной душой? Меня всегда удивляло, почему интеллигентные, тонкие люди так безоговорочно признавали кулак, физическое насилие высшим аргументом: если кулаком в морду, то это больно, а если в душу, то вроде бы и ничего. Да на каких весах, какой мерой это мерили, кто это установил, что материальные лишения и издевательства тюремщиков страшнее, чем предательство любимого человека? Если б мне предложили выбор, я бы не задумываясь предпочла тюрьму. Но все-таки мне тоже казалось, что только человек, побывавший т а м, вправе так

рассуждать. "Проверим? — спрашивала Наталья фальшиво беспечным тоном. — Мне все равно терять нечего". Ох, не нравились мне эти разговорчики!.. Но последнее время она помалкивала.

Я лежала, уставившись в стенку, и все пыталась представить Наташу: как она сидела в своей любимой качалке, поставив рядом кофейник и положив на колени какую-нибудь папку или книжку в твердом переплете, отхлебывала кофе, курила, поглядывала в окно и писала эти дурацкие, никому не нужные листовки (но мне никак не удавалось угадать текст, возможно, потому, что и для нее это не имело значения и вместо политических призывов, уместных в данном, случае, я видела, как она, забывшись, пишет: "Выбросьте меня, я больше не могу" и "Если бы понять..." и снова "Выбросьте меня", крупными печатными буквами наискосок по белому полю бумаги). Вот она сложила в сумку листовки, оделась, навела на себя красоту и, в последний раз оглядев себя в зеркале и окинув прощальным взглядом свою комнату, вышла, захлопнув дверь и подергав на всякий случай, чтобы убедиться, заперто ли, все еще, может, не веря, что в самом деле решилась и сделает это, а словно бы примеряясь и подстегивая себя мыслью, что еще можно переиграть. Потом, когда она шла по улице и ехала в метро, бережно и опасливо неся сумку с листовками, — как бомбу замедленного действия — и с прощальной зоркостью всматривалась в привычный московский мир, в равнодушно-озабоченные лица прохожих и пассажиров ("прошайте, милые!") и позже, среди оголтелого неистовства гумовской толпы эта спасительная мысль, эта тайная надежда все еще трепетала и билась в ней, — и только в тот миг, когда она резким, угловатым движением вышвырнула из сумки листовки, мучительно краснея и ежась от неловкости и торопясь поскорее покончить с этой нелепой сценой, она, возможно, поняла, что это всерьез, что окончательно и бесповоротно распорядилась своей жизнью, выбросила ее на ветер, в никуда, вместе с листовками, тотчас же затоптанными толпой, и с удивлением, печалью и жалостью к себе подумала: зачем-зачем-зачем?.. Но было уже поздно.

Зачем-зачем-зачем? — вот что ей надо было написать на листовках...

— Все еще злишься? — спросил Хряков.

— А где остальные? — спросила я.

Он был один в комнате и читал Артура Лондона. Оказалось, они уже добились свою дневную норму и Марина моет посуду (она всегда старается помочь мне), а Алька, наверно, развлекает ее.

Я пошла на кухню за водой, лучше уж сразу принять снотворное, чем мучиться. Наташа не выходила у меня из головы, а то бы я, возможно, обратила внимание, что в кухне как-то уж слишком тихо и дверь закрыта, и подумала бы, прежде чем лезть туда, но мне было совсем не до того. Я машинально толкнула дверь и увидела ... ну, короче, я увидела, как Алька и Марина поспешно отскочили друг от друга. Видик у них был тот еще!... Мне бы поскорей уйти, но я от удивления и неожиданности прямо-таки приросла к месту, просто стою и смотрю на них, а они на меня, и все трое молчим. Наконец, я опомнилась и попятилась к двери, бормоча какие-то извинения, и в последнюю минуту, выходя, еще зачем-то повернула выключатель, оставив их в темноте. Фу ты, черт, до чего бездарно я иногда веду себя: извиняться уж вовсе было лишнее. Меня такие вот мелочи больше всего мучают, я уж знаю, и через десять лет, если вспомню, буду передергиваться от стыда за себя...

В комнату идти не хотелось: а вдруг Хряков о чем-нибудь догадается по моей физиономии — и я, потоптавшись в коридоре, пошла в ванную. Попила из-под крана воды и села на ящик с грязным бельем.

На душе было довольно погано, хоть реви. Ну, синичка, надеюсь, ты не станешь устраивать трагедию из этого фарса!.. Пора бы уж привыкнуть: Алька в своем обычном репертуаре. Разве я об Альке?.. Но Марина... в голове не укладывается, что Марина тоже... А почему, собственно? Всем можно, а ей нельзя?.. Ах, дружба и прочее!... Но ведь Маришка знает, что я не люблю Альку, почему бы не позволить себе маленькое развлечение, если ей это нравится. Могла бы сказать мне. Не смехи, пожалуйста, что же ей — разрешения у меня спрашивать? Так, мол, и так, дорогая, ты не возражаешь, если мы с твоим мужем?.. Нелепо, ни в какие ворота не лезет. Хотя для меня это было бы избавлением.

Я встала, чтобы привести себя в порядок, ополоснула лицо, причесалась, даже примерила перед зеркалом улыбку — нет,

улыбаться не стоит, а так все вроде нормально, можно выходить. И вдруг ...чьи-то торопливые шаги легким пунктиром каблучков прострочили коридор. Меня как током ударило и сразу, единым махом отбросило назад, в тот проклятый день... Марина?... Господи, неужто и тогда?.. Нет, нет, не хочу, это было бы слишком страшно.. Я еще пробовала сопротивляться, еще уговаривала кого-то: не надо, а память между тем уже раскручивала с лихорадочной поспешностью киноленту воспоминаний, и прежде чем из разрозненных, полузабытых деталей, втайне от меня хранившихся в темных закоулках сознания, выросла — звено за звеном — цепочка улик, я уже знала совершенно точно: М а р и н а, и увидела как сквозь расплывчатое белое пятно, все эти годы заменявшее той женщине лицо (той женщине, неслышно одевавшейся в моей комнате, пока я, стоя под дверью, умоляла Альку впустить меня) проступили знакомые черты — узкие татарские глаза, высокие надменные скулы, большой узкогубый рот. Словно на переводных картинках, которыми я увлекалась в детстве. Так вот ты какая!... "Удивляюсь твоей слепоте!" — услышала я сердитый Наташин голос. А я еще возмущалась, почему она темнит. Ей, может, Марина сама рассказывала, они раньше дружили. Тихий ангел, спасительница!.. Только такая доверчивая идиотка как я могла столько лет ни о чем не догадываться!.. И духи, конечно, Маришкины... А какими ясными, чистыми глазами она смотрела на меня, как безмятежно улыбалась, утешала... Не понимаю, никогда не пойму. Хотела бы я все-таки знать, что она сама при этом чувствовала! "Алик тебя любит — по-своему, но, понимаешь, у него пушкинская натура"... Ей-то, наверно, тоже несладко пришлось. Железная выдержка, ничего не скажешь. Броня. А что под ней?.. Вот у кого надо учиться самообладанию. Или лицемерию. И зачем ей, ради чего?.. А что, если она л ю б и т Альку? Кто ее разберет, может, и любит — "по-своему". Что, разумеется, отнюдь не мешает ей спать с другими и не помешало выйти замуж за Хрякова.

А Славка на каких ролях: обманутый муж-простофиля, или он все знает и терпит, мучается? Впрочем, ему сам Бог велел терпеть. Как это он объяснял мне тогда: с женой друга грех слаше... Ну их всех к дьяволу, может, им это как раз и нравится:

ходить по краю и преступать запреты, а я их под свои примитивные мерки подгоняю и удивляюсь. Что ж, и Алька такой?.. Не знаю.. Я все равно не пойму. Пускай живут как хотят и с кем хотят. Но все-таки противно, что все друг с другом переспали... У меня было такое чувство, словно я объелась какой-то дрянью — или картин Полужкина насмотрелась: вот-вот стошнит.

Нет уж, сказала я себе, озлившись, хватит! Пожалуйста, без глупостей, слава Богу, т е п е р ь это уже не касается меня, и если вдуматься... Надежда только подмигнула мне одним глазком, только дунула в лицо, пробуя расправить подбитые крылья, а у меня уже дух захватило, и еще не смея поверить и дать себе волю, я осторожно спросила: может, оно и к лучшему? Неужто я наконец развяжусь с прошлым: никому ничего не должна! Свободна, неужто свободна?..

— Еще три минутки и пойдем домой, — сказал Хряков Марине. — Дай дочитать главу.

Она стояла рядом с мужем, подтянутая и очень прямая, как всегда, может, только чуть бледнее обычного. Высокомерно вскинула голову, увидев меня, и ее темные волосы, которые она обыкновенно закалывает на затылке, вдруг рассыпались по плечам. Что-то вроде "иду на вы" почудилось мне в этом жесте. Ну и прекрасно, дорогая, люблю ясность. Давно бы так. Тем более, что и делить-то нам нечего. Вид у нее вызывающий и жалкий.

А Алька смотрел на меня трусливо и преданно, заискивающим собачьим взглядом, как нашкодивший пес, который приполз, виляя хвостом, домой и готов лизать ноги хозяину, лишь бы простил. Бедняга!.. Кажется, он не на шутку боится повторения той истории. Удивительно, как это до него до сих пор не дошло, что я не люблю его. Успокойся, милый, все в порядке.

И я сказала первое, что пришло в голову, просто чтобы дать понять Альке, что я не сержусь:

— Алик, ты случайно не знаешь такую песню про цыганок? Там еще есть такие слова: на высоких, сбитых набок каблуках...

— Знаю, — ответил он, недоверчиво уставившись на меня, — Я сто раз пел, разве ты не помнишь? А что?

— Так... слышала сегодня в одном доме — из окна, и чем-то она понравилась мне...

— Между прочим, слова Даниэля.

— Того самого?

— Ну да. А музыка Кости Бабицкого. Того самого...

— Может, споешь?

— Сейчас? — удивленно протянул он. — Прямо вот сейчас?.. Пожалуйста, деточка, я как пионер: всегда готов!..

Алька вдруг ужасно обрадовался, торопливо вскочил и, осторожно обойдя Марину, достал со стены гитару.

— Будут вам цыганки и цыганочки, все будет, — ласково бормотал он. — Только вот музыку налажу.

Марина тоже повеселела и, чуть усмехаясь, села на диван, приготовившись слушать. Слава отодвинул рукопись и потянулся за сигаретами.

Алька, наконец, настроил гитару, помолчал, склонив голову набок и к чему-то прислушиваясь, и раздумчиво, нежно тронул пальцами струны. И тотчас же сладкая, щемящая печаль мягко сжала сердце, что-то дрогнуло, встрепенулось, запело во мне, словно он перебирал не какие-то там нейлоновые нитки, натянутые на кусок дерева, а струны моей души.

Алька пел, а цыганки, птицы смуглые, лениво плыли по московским тротуарам, покачиваясь на высоких, сбитых набок каблуках, и манили за собой, к вольной воле весь свой век мы держим путь, и я чувствовала, как слезы подступают к горлу, все забыть, словно ничего не было, уйти... куда? — не знаю, никто не знает, никаких цыганок нет, мы их выдумали, чтобы тосковать под гитару, а цыганки все шли и шли, не оглядываясь, уплывали, качаясь на высоких, сбитых набок каблуках, и слезы текли по моим щекам, ах, не вырваться, да что же это со мной, вот и уплыли, но Алка еще играл им вдогонку, и я тихонько встала и подошла к окну, чтобы никто не увидел моего заплаканного лица...

Давно смолкла гитара, и цыганки бесследно растаяли, Марина и Слава собрались уходить, а я все плакала и уже не пыталась унять слезы. О чем? Все вдруг разом нахлынуло,

десятки лиц, событий, встреч, несбывшиеся надежды, вопросы, на которые не было ответа, вся моя путаная, счастливая и горькая жизнь обступила меня, и трудно было сказать, отчего мне так нестерпимо, так мучительно грустно: обо всем думалось как-то одновременно: о том, что мне не вырваться, и о чужом ребенке, которого я не сумела защитить, может, он еще плачет невидимо и неслышно за несколько домов от меня, и об Анютке; о Даниэле, который спит во Владимирке, не подозревая о том, куда забрела его песня, спит и видит свободу: Москву, родной дом, откуда рвался, тоскуя, за смуглым призраком цыганской воли; об автостопе и моем незабвенном балтийском лете, о Глебе, с которым я могла бы быть счастливой; о Наташке, так нелепо загубившей себя, но, может, она, наконец, успокоилась в тюремной камере; о Радине, который бродит в бессонной тревоге по своей обезлюдившей квартире, измученный ожиданием и не зная, что делать с собой, как дотянуть до рокового часа, когда судьба постучится в дверь, и о других, кого не минует чаша сия. Я плакала о Борике Иоффе, который не мог заниматься своей наукой, потому что считал справедливость важнее математики, и о всех тех прекрасных, чистых мальчиках, которые еще верят в наше безнадежное дело, в будущее России и готовы пострадать за правду (ах, знаю, знаю, ничего нельзя изменить, но, может быть, правда важна сама по себе? Может быть, без нее мы бы просто одичали?..). Я думала об Альке и нашем сыне... Неужели и Сашку так же обкатает, обломает жизнь?.. Господи, не дай ему пропасть, он добрый, умный, ясный как солнышко, у него живая душа, надо ведь, чтобы хоть кто-то... Но разве вымолишь? Он здесь живет, и его ожидает то же, что и всех нас...

Глубокая ночь стояла над Москвой, город спал, и только кое-где слабо мерцали освещенные окна — одинокие огни, томившие душу каким-то неясным, призрачным обещанием.

(конец)

Анна Герц

РИМСКИЙ КАДР

Ты римский камень трогала губами,
Фасад был мягок, словно парафин,
И глянул исподлобья, улыбаясь,
Тобой очеловеченный дельфин.
И вместе с этой солнечной водой,
Которая блаженствует, картавя,
Какой-то голубятней молодой
В тебя врывались римские кварталы.
Корытный рёв трушобной детворы,
Гараж, смотрящий Ромулу в затылок,
Четвёртый век, затёртый во дворы,
Испуганный и бледный, как обмылок.
Живут себе кварталы, как хотят,
Нас не спросясь и даже в нас не веря,
А для тебя сквозит амфитеатр
Полуулыбкой римской акварели.

Олег Ильинский

НОС

Фантастическая быль

Потянув за рычажок проектора, я переключился на четвертую страницу и... вздрогнул! Бумага была старая, потрескалась, а кое-где разошлась, склеенная по швам прозрачной липучкой. Все это было видно в большие окуляры, направленные на проекцию микрофильма. Газета попалась давняя — С. Петербургские Ведомости — от волнения я тут же забыл, какого года — кажется 1843-го а, может, 1846-го.

Живописные заголовки, отпечатанные по старой орфографии, еще мельтешили передо мной, а я сидел, впившись глазами в небольшое объявление в правом углу, внизу. Оно гласило:

”Утерян нос. Внешность обыкновенная, как и рост. Особых примет нет, кроме как то, что мундир синий, ведомства неизвестно какого; и еще носит орденскую ленточку. За поимку или сообщение — двадцать пять рублей вознаграждения. Сведения доставить в газетную экспедицию для П. К.”

Я перечитал объявление еще дважды, прежде чем оторвался от окуляров. Что за ерунда!?! — рассуждал я, откидываясь на спинку стула. — Ведь ничего этого не было! И объявления не было, и нос нашелся, и вообще все это досужий вымысел и больше ничего!

Но успокоительные мысли не разрешили моих сомнений, и тогда я подумал, что у каждой истории должно быть продолжение. И вот я снова припал к проектору.

Сухо зашелкал рычажок; страница за страницей, номер за

номером, разворачивался многоверстный путь столичного издания. Охватить всего я не мог, и больше останавливался на заголовках официальных сообщений. В одном департамент полиции сообщал о поимке грабителя, проникшего в квартиру статского советника Пужова; в другом говорилось о ревизии отчетов попечителя богоугодных заведений. И еще запомнились сообщения о начале строительных работ возле какого-то собора, и о мастеровом, задавленном купеческой тройкой.

Все это было не то, и я продолжал перелистывать страницы.

Неожиданно внимание мое привлекло нечто любопытное: в донесении жандармского управления сообщалось, что стражники у северной заставы заметили в пронесшейся мимо карете подозрительного человека в голубом мундире, по своему облику весьма походившего на "атрибут личности" — как было деликатно, но явственно выражено в сообщении. И далее упоминалось, что стражники донесли о происшествии не сразу, а лишь на другой день, за что и понесли заслуженное наказание...

С минуту я пребывал в состоянии столбняка: открытие с трудом прокладывало дорогу в сознание.

Стражники?.. Вовремя не донесли? А почему, собственно, должны были донести? Значит... — Я встал и хотел пройти из угла в угол, но вспомнил, что я в библиотеке: неподвижные затылки склонялись над книгами, стояла тишина. Я опустил на стул и снова приткнулся к холодным глазницам. И опять запестрело: "Торжественный юбилей председателя коллегии", "Случай на Фонтанке", "Пожар в библиотеке"... и тому подобное, — все, не относящееся к делу. И объявления были неинтересные: "Сдается меблированная комната", "Улетел любимый попугай. Поймавшего просят вернуть..", "Утерян ридикюль с письмами семейного значения. Нашедшему — 100 рублей вознаграждения..." — О-го, сумма немалая, дороговато за письма! Хотел уж было перевернуть страницу, когда, взглянув на имя объявителя, обмер: там жирным шрифтом значилось: "Штаб-офицерша А. Подточина!"

Не помню, как я поднялся, как пересек зал и подошел к

кабинету директора славянского отдела. Сидевшая у дверей секретарша, недоуменно взглянув на меня, встала и загородила мне дорогу, но я прошел сквозь нее и без стука вошел в кабинет.

Его я узнал сразу: это был типичный славист, т. е. был он в очках, пузат, плешив, носил подтяжки и слегка шевелил ушами. Когда я вошел, он бегал по помещению с бумагой в руках и разговаривал сам с собой. Увидев меня, остановился.

— Чем могу быть вам полезен?

И тогда я, торжественно отчеканивая слова, сказал:

— Да, вы можете быть полезны; только не мне, а литературе!

Явно встревоженный, он подошел ближе:

— Вы с жалобой?..

Я горько усмехнулся.

— Жаловаться поздно! Нужно спасать положение!

— Да что вы!

— Да, — продолжал я, — спасать! Известно ли вам, милостивый государь, что во вверенном вам отделе выдаются книги, ложно информирующие читателя?

— Не может быть!.. — директор робко оглянулся по сторонам. — Но кто это?

Я наклонился к его уху и прошептал имя. Он побледнел.

— Но ведь это... классик!

— Это ничего, что классик — отвечал я. — Великие классики древности полагали, что земля плоская...

— Но что же там у... у него? Разъясните, ради Бога!

Через пять минут я разъяснил. Закончив, взглянул на директора: он сидел желтый как лимон; пунцовые кончики его ушей вздрагивали.

— Может быть... может быть, закрыть отдел... — на время?

— Ни в коем случае! — строго отвечал я, — следует избежать паники.

— Хотя бы на неделю? — жалобно простонал он.

— Ни на один день! Делайте вид, что ничего не произошло, а когда все выясним, примем меры. Мужайтесь, я вскоре вернусь, и тогда...

Нет, этот достойный человек не умел мужаться; он полулежал в кресле и, ероша редкую растительность на черепе, судорожно глотал воздух...

Выйдя из помещения, я коротко бросил секретарше:

— Принесите своему шефу воды... большой стакан!

Только на одиннадцатый день я напал на нужный след.

В архиве К-го университета я откопал целый короб частных писем — от 1830-тых до 1870-х годов. Ввиду их незначительности письма не были каталогизированы, и мне пришлось днями рыться в горах ветхой бумаги, исписанной разнообразнейшими почерками — от каллиграфических до самых что ни на есть "каракулевых". "Милостивый мой государь, Афанасий Павлович!"..., "Ваше превосходительство, многомилостивый благодетель и радетель мой, Иван Демидович!"..., "Почтеннейший друг мой, бесценный наставник и"... — дальше было неразборчиво... — ну, и так далее.

И заключительная часть писем не страдала однообразием: "Неизменный доброжелатель ваш...", "В душевном горе пребывающая...", "В молитвах о Вашем бесценном здравии...", а то и просто "Засим имею честь...".

Но вот мелькнуло знакомое:

"Милостивый государь мой,

Платон Кузьмич!...

От волнения у меня перехватило дыхание. Отложив письмо в сторону, я встал и прошелся между ящиками и коробками. Воздух в помещении был спертый и дыхания и выдыхания не помогли. Я растер виски, трижды присел и затем сильно потряс головой.

Только после этой операции пришел в себя и принялся читать.

Да, все было, как и там: и относительно Филиппа Ивановича Потанчикова, и по поводу сватовства, и вообще это было полностью то самое письмо, которое... Постойте, а это что? Постскриптум! Странно, ведь не было постскриптума, наверное

не было! Дрожащими руками я поднес поблекшие от времени строки к глазам, и прочел:

”P. S. И еще надеюсь, милостивый государь, что замечание ваше касательно носа никоим образом не связано с разговорами, кои Вы давеча вели с дочерью моею — по поводу странных амбиций ваших. Любое преступление законов государства нашего вызывает во мне недоумение и возмущение”.

В голове у меня всё смешалось. Откуда это?... Почему писатель умолчал о добавлении? О каких странных амбициях упоминается здесь? Вспомнились строки в повести, где говорилось, что ”Коллежский ассессор... был послан несколько раз на следствие еще в Кавказской области...”. За что бы его посылали? За крамольные стихи? Вздор! — Крамольные стихи писали коллежские регистраторы! Значит, тут что-то посерьезней. Станный холодок от каких-то наитий пронизывал меня. Я встал и направился к телефону...

В ожидании директора я нервно прохаживался по библиотеке. Остановился у полки, снял современный роман, перелистал страницы. Мне стало тоскливо. ”Зачем, подумал я, люди, лишенные воображения, пишут книги? Если бы я был писателем, то непременно писал бы о вещах удивительных, притом не в фантастическом жанре, а вот так — из жизни, потому что в этой самой жизни все еще остается много загадочного...”.

Я поставил книжку на место и прошел дальше. Вот — нынешние поэты, больше поэтессы; книжки потоньше, и этим одним хороши. Взял наугад одну, перевернул несколько страниц: стоны, жалобы... И как не поймут, что за пломбами следует обращаться не к музе, а к зубному врачу... А в общем — недурно! Взял другую: ну, эти — несколько слезливы, такие следовало бы печатать на промокательной бумаге. А впрочем тоже неплохо! И рифмы безглагольные...

Удовлетворенный состоянием дел нашей литературы, я уж хотел взяться за следующую, когда увидел в дверях моего директора...

И опять началось — день за днем, архив за архивом.

Еще недели через две мы — теперь мы уже действовали вдвоем в архиве штатного университета набрали на родословную Ковалева. И здесь мы узнали потрясающие вещи! Читал я вслух, а директор сидел напротив и слушал.

Оказывается, происходил Ковалев из захудалого дворянского рода, ведущего начало от Ковалей. В год 1774-й, во время осады Оренбургской крепости пугачевскими мятежниками, самозванец отдыхал в деревне Незвановке, что в сорока верстах от Оренбурга. Там он увлекся красивой солдаткой Любашей Коваль, и от этой связи родился сын, названный в честь деда Кузьмой. Дальше след терялся, и только в царствование Александра I упоминалось о даровании К. Г. Ковалю дворянства, с изменением фамилии на "Ковалев". Вскоре после этого у Кузьмы Григорьевича произошли неприятности: на дворянском собрании он, якобы в нетрезвом виде, похвалялся, что он де — сын законного государя. Хоть дело и замяли, Ковалеву пришлось убраться подальше, куда-то за Урал. Здесь он женился — и от этого брака родился герой наш Платон Кузьмич.

Биографические сведения о последнем оказались скудны: майором он, оказывается, не был, да и до чина коллежского асессора едва ли дослужился; был так себе человек — неудачливый и прожигатель жизни, хотя прожигать, собственно, было нечего, так как трудами покойного папаши имение давно уже состояло под опекой. Ни на каком Кавказе Платон Кузьмич не бывал, проживал, служил и просто околачивался в городке Угольске, недалеко от Оренбурга, где одно время питал надежду занять место исправника. Вместо этого едва не угодил под суд: следуя стезею родителя своего, где-то что-то брякнул относительно своего особого происхождения...

На этом месте я прервал чтение и встал, чтобы размяться. Компаньон мой сидел, раскрыв рот, и смотрел на меня телячьими глазами.

— И что же дальше? — только сейчас я расслышал у него балтийский акцент.

Я вспыхнул:

— Кто я вам — пророк? гадалка? Торопите ваших детей — чтоб росли поскорее, а меня не гоните!.. — но он не дал мне договорить.

— Послушайте, дорогой, — залепетал он, поймав меня за рукав. — Что если мы позабудем обо всем... Ну, будто ничего и не было, вы пойдете своей дорогой, а я к себе в библиотеку, а? Все останется на месте, и мой отдел и мое положение...

— Черт с ним, с вашим положением! Тут основы литературы сотрясаются, а он о положении. Хорош гусь!

Я тут же упрекнул себя за резкость. Гусь поник и осел; на лице его проступило выражение обреченности. Мне стало его жаль, и я добавил ласковой:

— История, почтеннейший, не различает между классиками и неклассиками. Истина — прежде всего! Гордитесь, что вам выпало на долю послужить ей. А теперь — вернемся к прерванным занятиям! — и я хладнокровно принялся за следующую бумагу.

Здесь нас ждал еще один сюрприз: оказалось, что на следствие Ковалева вызывали не одного, а вместе с неким Казимиром Владиславичем Носовским, с которым герой наш пребывал в тесной дружбе. Что касается Носовского, то числились за ним какие-то провинности, точно не указанные, но явно политического характера.

Тут и я не выдержал:

— Носовский! — слышите?

— Нос! — еле слышно откликнулся мой собеседник.

— Вот именно — Нос! Черт возьми, мы почти у цели! — С этими словами я быстро перевернул страницу. На следующей значилось: "В 1833-м г. П. К. Ковалев отбыл — неизвестно в каких целях — в С. Петербург. За ним, нарушив правила о прописке, последовал К. В. Носовский".

— Вот вам и разгадка! — слабо, но торжественно сказал я.

Но директор не слушал; он сидел, покачиваясь как пьяный, и бормотал:

Как мог он... Как мог?...

Кто — он? Носовский?

Нет, автор! Ведь литература должна правдиво освещать... — он уронил голову на руки и замолк.

Я понял, что на сегодня достаточно, и мягко тронул его за плечо.

Идемте!

В течение трех дней Вильгельм Карлович — так звали директора славянского отдела — не являлся на работу и не отзывался на звонки. На четвертое утро я отправился к нему домой.

В коридоре, перед его дверью, стоял сладкий чад от жарящихся гренков. Слышался стук сковородки, иногда заглушаемый оперными руладами хозяина помещения:

— Клянусь я первым днем творенья!.. — нехорошо завывал Вильгельм Карлович.

— Свинья! — пробормотал я и постучал. Наступила гробовая тишина. Постучал еще — с тем же результатом.

— Откройте! — крикнул я.— Я знаю, вы дома... Вы только что клялись Тамаре...

Он открыл. Он был в ночной рубаше и носках. В руке держал вилку, на вилке красовался румяный гренок. Увидев меня, он побледнел.

— Это вы?... — едва прошептал он и сделал странный жест вилкой в мою сторону. Возможно, что я неверно истолковал его жест; я снял гренок и тут же отхватил половину.

— Одевайтесь!... — сказал я... — Кстати... где у вас сметана?

Меньше чем через час мы были в архиве. Прозрачная как медуза девушка выдала нам пропуска.

Мы поднялись на третий этаж и вошли в знакомое помещение... Знакомое?! Выскочили и посмотрели на номер комнаты: номер был правильный — 31. Вошли опять. Повсюду

всипались узкие полки, уставленные голубыми папками. От коробок не осталось и следа.

— Что за черт? — пробормотал я. — Наверное перенесли куда-нибудь...

— Перенесли... — как эхо отозвался мой партнер.

Через минуту мы были внизу.

— Куда девался архив из 31-й комнаты?... — спросил я девушку в приемной.

— Архив? Его вчера увезли...

— Куда увезли?

— Не знаю. Можете справиться у директора; это на пятом этаже...

Даже не поблагодарив, мы выбежали в коридор, а еще через минуту ворвались, без стука, в большой кабинет.

— Архив! Где архив? — закричали мы в один голос, увидя за столом шупленького старичка с эйнштейновской шевелюрой. Он удивленно посмотрел на нас.

— Какой архив?

— Из 31-й комнаты.

— Ах, тот. Его вчера уничтожили.

— Что-о-о-о? — заревел я.

— Что-о-о-о? — проверещал сзади Вильгельм Карлович.

Старичок испуганно поднялся.

— Видите ли... — залепетал он, — места не хватало... а фонды, сами знаете... — он виновато развел руками и, на всякий случай, отступил назад.

Я не выдержал:

— Да вы с ума сошли! Вы понимаете, что вы наделали?!

Повидимому он не понимал; он сказал дрожащим голосом:

— Господа... успокойтесь... я не виноват... — и сделал несколько шагов по направлению к двери.

Но мы, раскусив маневр, бросились на него. Мы схватили его, что-то кричали, мы трясли его с ожесточением, пока не вытряхнули его из пиджака. И тогда то, что мы вытряхнули —

оно было больше похоже на душу, чем на тело — с непостижимым проворством кинулось к двери.

Мы бросились в погоню. Мы совсем было настигли беглеца — он судорожно метался между лифтом и запертой дверью на лестницу, — мы бы схватили его, но в последний момент он таки улизнул в подоспевший лифт. Уже в шелку я увидел его торжествующе-испуганное лицо. Дверь захлопнулась, и мы, поняв бессмысленность преследования, безмолвно стояли, подавленные происшедшим.

Вильгельм Карлович был мрачен как ночь.

— Значит, все пропало? — спросил он и взглянул на меня безумными глазами.

— Откуда мне знать! — отвечал я, с удивлением рассматривая его. — И чего вы кипятитесь? Вы же сами хотели, чтобы пропало!

Но он словно не расслышал.

— А-а-а! — застонал он. — А как же книги?

Мне стало скучно.

— А книги — того — изъять! Понимаете, изъять! — Я поднял руку и, смотря в его воспаленные глаза, трижды шелкнул пальцами перед его носом. Затем махнул рукой и пошел прочь. Он не последовал за мной.

Эта ночь превратилась в кошмар. Мне снилась невообразимая чертовщина. То вдруг я становился редактором и, припертый к стене толпой озверевших авторов, отбивался от них старинным пресс-папье. То неожиданно узнавал себя писателем; я панически улепетывал от наседавшей толпы моих читателей, недоумевая — откуда их столько взялось.

— Мистификатор! Бей мистификатора! — кричали мои преследователи, среди которых я узнал двух знакомых поэтов и прозаика...

Затем я очнулся на городской площади. Посредине пылал огромный костер. Дело было ночью. Странные процессии двигались со всех сторон, оглашая воздух жалобным пением.

”Истина прежде всего!” стонали шествующие и бросали в огонь свои произведения: счастливы — манускрипты, поэты вытряхивали свои тиражи из портфелей. Хуже приходилось прозаикам: они ташили возки нераспакованных книг.

Вот какой-то малодушный пустился наутек, прижимая к груди тощий тираж сборника, но его настигли, сборники отняли и бросили в огонь. Хотели и автора туда же, но тут появились добрые сермяжные мужички из ансамбля Большого Театра и, образовав вокруг несчастного хоровод наподобие того, что ходил вокруг помещицы Лариной, — стали выделывать незамысловатую, но бодрую пастораль.

Очередь дошла до моих книг. Я заметил — не без обиды — что за них принялись особенно рьяно. Обида, однако, вскоре сменилась страхом: книги не горели, только тлели, страшно чадя. Костер угасал. И тогда на площади воцарилось угрюмое молчание.

Волнуясь, я стал объяснять что-то относительно особенностей типографской краски, я старался добро улыбаться, что и наяву мне редко удается, но ничто не помогало.

— Друзья! — в отчаянии закричал я, — я больше никогда не буду писать!..

Костер вспыхнул ярко, так, что я, вскочив с кровати, даже закрыл глаза руками, а потом долго и прерывисто дышал, приходя в себя.

Пробуждение не выручило меня. Я почувствовал глухую тревогу и, восстановив картину событий вчерашнего дня, схватился за телефонную трубку. Вильгельм Карлович не отзывался.

Торопясь, я оделся и выскочил за дверь.

Предчувствие не обмануло меня! Нет, библиотека не горела, но что-то странное происходило вокруг. Полицейские и пожарные машины, автомобили скорой помощи расположились по обе стороны улицы. Какие-то люди вбежали в здание, другие выбегали. Когда я подошел ближе, двух раненых выносили на носилках.

Я сотрудник! — резко и неопровержимо бросил я полицейскому, загородившему мне дорогу, и взбежал на второй этаж. Прорвавшись сквозь смятенную толпу в читальню, я оцепенел от представившегося мне зрелища.

У стены, на большом столе, стоял Вильгельм Карлович. В одной руке он держал длиннющие ножницы, в другой — стул. Толпа форменного люда, вооруженного дубинками, окружала его.

На столах, в беспорядке, валялись раскрытые книги, а рядом и на полу пачки вырезанных страниц.

Я нагнулся к ближайшему тому и... все понял; заглянул в другой то же самое... А вот два библиографических справочника с вымазанными тушью параграфами...

Крики заставили меня прервать исследование. Я глянул на поле сражения. Полдюжины полицейских, прикрываясь стульями, шли на приступ; четверо пожарных тащили шланг.

Вильгельм Карлович стоял твердый и несокрушимый. Как он был прекрасен в эту минуту! Что-то от древнего тевтонского рыцаря светилось в его фигуре, в глазах, метавших молнии. Правда, подтяжки оборвались, брюки сползли и, открыв теплые подштаники, мешали движениям, но только безумец мог принять длинный меч за ножницы, а тяжелый щит — за стул. И уж совсем нужно было быть слепым, чтобы увидеть потную плешь там, где ослепительно сверкал шлем нибелунга. Из горла его несся орлиный клекот.

Вот он сделал молниеносный выпад и с криком "Истина прежде всего!" пронзил зарвавшегося врага.

Я не выдержал; я почувствовал, как невидимые крылья поднимают меня, схватил валявшиеся на столе ножницы и с боевым кличем бросился к товарищу на подмогу...

П. Муравьев

ВОЛЬНОДУМНЫЕ СТИХИ С ДВУЭПИГРАФАМИ

1. РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ (С древнегреческого)

— Да будет проклят правды свет...
— Нет, этого я не могу допустить, —
тихо промолвил Алеша.

(Пушкин — Достоевский)

Даже бежавшему, жутко рабу
Перешагнуть вековое табу,

Но не могу не поставить всерьез
Музу и душу гнетущий вопрос:

Если невольника правнук-рапсод
Первенца в рабство опять отдает,

Если народ забывает про это
Рабское (барское?) дело поэта

И упивается снова и снова
Самодовлеющей вольностью слова,

Клио, скажи мне, куда забредет
Спутавший слово и дело народ?

2. ПО-ЧИТАТЕЛИ И ПО-СЛЕДОВАТЕЛЬ

— Иль мало нас?
— Нас тьмы, и тьмы, и тьмы...

(Пушкин — Блок)

Есть рифмы, словно побрякушки —
Держи лишь ушки на макушке!
В иных же светится, двоясь,
Вполне осмысленная связь.

Народ орет. Он славит слепо
Жестокого поводыря,
Как будто знает: слепо — лепо,
А зря, так станет видно: зря.

Ведь если зрение добыто,
Оставит, отступая, тьма
След опыта у следопыта,
У тиходума — ход ума.

И он за маской демагога
Увидит Гога и Магога
(Как в деве — Еву, в Ниле — ил),
И как бы все ни распинались,
Одержит верх того анализ,
Кого последователь скрыл.

Николай Моршен

*

В этом есть и своя услада,
Если в жизни идешь одна, —
Мне спешить никуда не надо,
Никому всерьез ненужна.

И ничьей не связана властью,
Проживу, пожалуй, и так —
Улыбаясь чужому счастью
И глядя чужих собак.

Лидия Алексеева

МИНОМЕТЧИКИ

ОПЯТЬ ЗА ПРОВОЛОКУ

В мае 1945 года, дней через десять после капитуляции Германии, мы сидели со спутником, астраханским казаком, на скамейке у ворот крестьянского двора, где жили несколько дней, на окраине австрийского местечка Маттигхофен, в невысоких предгорьях Альп. В полсотне метров перед нами проходила большая дорога, пыльный проселок от нее вел к нам.

По этой дороге дня три шла в американский плен шестая особая эсэсовская армия, которую формировали перед капитуляцией на Дунае, в районе Пассау. Был в ней и русский батальон — и мы едва не угодили в него. Командир батальона, майор, бывший немецкий коммунист Карл Альбрехт, изловил нас в дороге и вцепился мертвой хваткой: в батальоне его людей недочет, а пополнять нечем. В Москве, в эмиграции, Альбрехт работал замнаркома лесной промышленности, потом НКВД отправил его в лагерь самого заготовлять лес, а во время дружбы с Гитлером он был выдан Сталиным нацистам, вместе с другими немецкими коммунистами; в Германии попал в армию. Мы не знали, как отбояриться, — выручил случай и мы сбежали от Альбрехта. И теперь, как тогда, тоже радовались, что ушли: иначе брели бы в плен со всеми, на этот раз к американцам.

Армия прошла, дорога опустела, изредка проскачет американский джип. Вот один круто свернул — к нам. Остановились у ворот. На первобытной смеси английского с немецким спрашивают, кто мы? Что тут делаем? Услышав, что русские, видимо старший стал вплетать в свою речь еще и

польские слова. Ничего не делаем, живем, ждем, когда успокоится. Нечего ждать, завтра же отправляйтесь в Браунау (местечко километрах в тридцати к северу, где, между прочим, родился Гитлер, чтоб ему ни дна, ни покрывки, этой взбесившейся собаке на сене). Там русский лагерь, вас примут, оттуда поедете домой, на родину. Завтра же утром идите, — категорически приказывает старший. — Я проверю. — На родину, домой? — бормочем мы. — Ишь ты, как хорошо. Обязательно пойдем, спасибо, что сказали.

Рано утром мы запрягли благоприобретенных своих, оставленных венграми, взятыми в плен, лошадей — и поехали на запад. За месяц с лишним проехали всю Германию, в деревню на Кильском канале, где у нас была обговорена, недели за две до капитуляции, встреча с нашим шефом. Нашли его, — но в те же дни англичане выдали его смершевцам. До осени жили у крестьянина, полунемца, полуполяка, осенью пошли регистрироваться в УНРА, которая ведала "перемещенными", содержала и кормила их. Записали, но сказали, чтобы шли жить в лагерь, иначе продукты не будут давать. Мы поблагодарили и вернулись в свою деревню. Я давно решил, что лагерей в моей жизни было достаточно и надо стараться больше в них не попадать.

Но все это было далеко впереди, в еще неизвестном и неразгаываемом будущем, куда нить моих дней могла не раз легко прерваться. Пока же шли многотысячной колонной от каменоломни, вроде бы на Керчь.

Колонну сотрясал кашель. Надрывный, выворачивающий наизнанку легкие, неостановимый и неприглушаемый. Мы никак не могли выкашлять дым из раздраженных и пересохших глоток, в которых много дней не было ни капли воды.

Двинулись сначала бодро, быстрым шагом, но скоро пристали, ноги словно налились тяжестью и волочились. Я подивился было, но чего же удивляться: без еды, без воды, откуда взяться силе? Вытащил записную книжку с календариком: сегодня 25 мая. Под землей пробыли десять суток. Нам, минометчикам, еще повезло: первые дни у нас была вода и хотя бы немного еды, — другие десять суток не ели и не пили ничего.

Прошли мимо складов, где получали оружие. Двери открыты, но постовых не видно. Наверно немцам в самом деле

наше оружие ни к чему. Немцев вообще нет: не видели еще ни одного, кроме принимавших нас и старших конвоя. А мы-то, под землей, думали, что их наверху кишмя кишит.

Миновали еще склады, может быть продуктовые, они где-то здесь. Вышли в степь. Справа недалеко — итезровский поселок, в котором мы искали дрова для костра, впереди уже видно дома Керчи. Голова колонны что-то замешкалась, остановилась, — причину задержки мы не видим. Но вскоре дошло по рядам: хлеб дают. Неожиданное известие всколыхнуло пленных, у некоторых появилось даже будто уважение к немцам: смотрите, какие сознательные, сочувствуют поди нам, что столько суток ничего не ели...

Ряды медленно подвигались, справа показался навес, около него, на земле, гора хлеба, — те же кирпичики, механической хлебозаводской выпечки. Каждой пятерке дали по два кирпичика, — щедро, щедрее, чем давали "свои".

Пришли на окраину Керчи. Большой каменный дом, может быть школа, в нем немцы, румыны в своих серо-синеватых мундирах и шинелях. И обширный двор, частью вытоптанный, дальше у высокого забора — густая трава, сорняки, низкий колючий кустарник. С улицы огорожено жердями, — ни на улице, ни в соседних дворах и домах никого не видно, нет и малейшего движения: все мертво.

Первым делом надо поделить хлеб: во дворе сбились опять по пятеркам. Большие ножи, у кого были, взяли при обыске, но некоторые сохранили, складные поменьше не отбирали. Не тут-то было: хлеб высох до того, что стал каменным и ни один нож его не брал. Надо бы топор или приклад винтовки, но где же взять. В углу двора нашли кучу булыжника, — кое-как камнями удалось кирпичики разбить. Они распались — и запорошили нас зеленой пудрой: хлеб внутри сгнил без остатка, превратился в зеленый порошок. Остались одни корки, такие твердые, что ими можно если не порезаться, то поцарапаться. Но — хлеб ведь. Разбили корки на куски, разложили на пять кучек, "раскричали": один отвернулся, другой показывал на кучки и спрашивал "кому"? Процедура соблюдения полной справедливости, возникшая после революции, при повальном обнищании, — до

революции такой процедуры не знали и в тюрьмах: тогда в тюрьмах не голодали.

Голод не родной брат: надо грызть хотя бы эти корки. Попробовали почистить, снять зелень с внутренней стороны корок, но зелень проела корки насквозь, они были горькими и остро воняли гнилью и плесенью.

— Издевательство! — возмущенно воскликнул кто-то в соседних пятерках. Копылов, сосредоточенно грызя корку, отозвался:

— А чье, спрашивается, издевательство? Немцам что, им свой хлебушко изводить на нас расчету нет. Да еще когда наши им столько хлеба оставили. Это ведь все наш, страны советов хлеб, на нас съэкономленный, — тот, что нам есть не давали, — теперь грызи, что оставили. Так и во всем у нас. В колхозе пока зелень какая, продукт не начнет пропадать — ни за что колхозникам не дадут. Сгноят, — ну, тогда можно дать, пусть люди съедят. Да и то, если скотине скормить нельзя: мы на последнем месте, после скота. А если недоволен, жаловаться хочешь, посылай заявление в Москву, в Кремль, там разберут...

— Скоро, наверно, в небесную канцелярию останется только обращаться, — заметил Анохин.

— Да, там всегда дежурство, — подтвердил Копылов. — Там отказу нам в приеме нет...

От колючих корок кажется еще больше жжет горло. Но слава Богу, румыны разрешили идти в соседний двор за водой, там колодец. Выстроилась длинная очередь, по всему двору, в несколько завитков. Встали и мы. Простояв с час, набрали три котелка, с наслаждением напились. Пили бы еще, выпитое — как капля на раскаленную плиту, но стоять еще час уже не было сил. Ломило ноги, почему-то и бока, ныли все кости. Подальше, у самого забора, очистили место от колючих веток, располагаясь на ночь.

— Спи братцы, отдыхай, сил набирайся, — говорил Копылов. — Завтра небось погонят куда, ноги пригодятся...

Ночь была тихая, теплая, спали крепко. А рано утром проснулись от каких-то диких криков и сразу не могли понять, что происходит? По двору прыгали какие-то здоровенные парни в форме, высокие, плечистые, у каждого в руках толстые

резиновые то ли палки, то ли жгуты, — размахивая ими, парни со всего плеча хлестали лежащих и вскакивающих со сна пленных, кто попадал под руки, и при том орала и ревела что-то нечленораздельное. Озверевшие, свихнувшиеся барбосы, сорвавшиеся с цепи?

До нас, у самого забора, беснующиеся не добрались. Приглядываясь, разобрал у них на петлицах особый значок, вроде двух стрел или молний: две стилизованные буквы "с", догадался — это же эсэсовцы. Верно, отборные жеребцы. Что это они решили свою лихость показать на нас, безоружных и голодных? На всякий случай, для острастки?

Разгадывать бессмысленно. Попросту, наверно, от избытка силы и сознания своей власти и безнаказанности. Вот оно, новое элитное воинство, рыцарство современности. У нас такое воспитывают в НКВД, там оно представляет коммунизм, тут — нацизм. Одно другого стоит.

Натешившись, или устав, эсэсовцы ушли на улицу. Было их 20-25 человек, наверно взвод. В самом деле, отборные убийцы. У меня рост 182 сантиметра, — эти выше, наверно к двум метрам.

Вспомнилось, что "длинные молодцы" Фридриха Великого, его гвардейцы, наводившие страх и удивление в Европе, были всего 170 сантиметров роста. В наше время люди рослее, выше, крепче. Но глядя на этих сбесившихся коблов не скажешь, что к лучшему.

МИЛОСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В соседнем дворе у колодца было еще пусто и мы, спросив разрешения у постового румына, поторопились набрать в котелки воды. В первый раз за неделю промыли хотя бы глаза и немного напились. Только управились — строиться, на улице. Опять окружил румынский конвой, двинулись по той же дороге, по которой пришли, до продуктовых складов. На этот раз каждому выдали по кирпичику хлеба, из чего заключили, что пойдем наверно далеко. Этот хлеб будто не такой каменный, однако ножи его тоже не брали, надо ждать случая, чтобы разбить.

Обошли каменоломню, из которой вылезли вчера, мимо

Джумушкая вышли в степь. Идем на Запад, в немецкий тыл. Вокруг румыны с винтовками, но есть и несколько немцев, верхом на лошадях, с автоматами. Далеко позади тащится военная бричка, наверно с солдатскими мешками и ранцами.

Мы выпались, отдохнули, шагаем пока бодро. И глотки будто бы успокоились. Но время от времени над колонной взлетает надрывный кашель, он словно заражает других — и ряд за рядом присоединяются, кашляет вся колонна и успокаивается, затихает только через несколько минут. Но потом снова люди гнутя, корчатся от сотрясающего их кашля.

У меня еще забота: солнце поднимается выше, уже печет, а голова не покрыта, — пилотка осталась в каменоломне. Что-то надо придумать, но что? Взять негде. Вытащил из рюкзака полотенце, "вафельное", обмотал голову, — получилось вроде тюрбана. Я ходил так несколько недель, вызывая удивление конвойных, на что, впрочем, было плевать.

Давно остались позади мазанки Джумушкая, вокруг бесконечная степь, желтая и пыльная, если не сожженная еще солнцем, то высушенная: дождей не было с самого нашего приезда. И тут, в степи, мы заметили, что конвоиры придвинулись ближе, почти вплотную и зачем-то пристально приглядываются к нам.

Я в своем ряду на левом фланге. Подошел один, поднял рукав шинели на левой руке у меня, увидел часы, показал: снимай, давай ему. Я даже не огорчился: часы все равно испортились, не идут, а теперь где поправишь, — отстегнул и протянул грабителю, требовавшему часы так, как будто он имел на них полное право. Другие отбирали часы у других пленных, но не только часы: внимание их привлекали еще хорошие кожаные пояса и хорошие сапоги, бывшие у некоторых пленных, может быть командиров, надевших красноармейские гимнастерки, чтобы сойти за рядовых. Вижу, впереди, за несколько рядов перед нами, румын вывел из строя пленного в хороших сапогах и показал: снимай. Тот заупрямился, — конвоир поднял винтовку, клацнул затвором. — Отдай, а то убьет, не дорого возьмет, — советовали из рядов. — А я в чем пойду, — возразил обладатель сапог. — Босиком далеко не уйдешь... — Как-нибудь обойдешься, зато жив останешься, — продолжали советовать из

строю. Пленный сел на землю, стянул сапоги, бросил их конвоиру и вернулся, подпрыгивая, в строй.

Мне сбоку видно, что делается впереди. То один конвойный, то другой выводят из строя пленных, отбирают у них вещи, — пленные бегут на свое место. Иногда далеко, не разглядишь, что отдает пленный, — кажется, снимают даже гимнастерки. На мне хорошая гимнастерка, командирская, — как бы, дьяволы, не отобрали, придется идти в нижней рубашке. Стараюсь побольше прикрыть гимнастерку шинелью, чтобы не увидели.

Какое-то движение позади. Обернулся — и там конвойный вытащил из ряда пленного, хочет взять его сапоги. Пленный не соглашается. Колонна идет, они стоят сбоку. Вслушиваемся, проходят медленные, тяжелые минуты. Позади негромкий хлопок, будто в другой комнате выскочила пробка из бутылки. — Убил, гадина! — прокатывается сзади по рядам. — Из-за сапог, падло, человека прикончил! — Сапоги стягивает, сволота румынская, — пленные волнуются, ворчат, — конвоиры смотрят угрожающе, взяли винтовки на изготовку, шелкают затворами. Волнение в колонне продолжается: не привыкли, еще надо привыкать, но озираются на конвоиров уже с опаской.

Идем часа три, устали. Нашей пятерке еще сносно: утром проглотили воды по несколько глотков, другие с вечера не пили. А солнце все выше и печет.

Румыны выглядят обшарпанно, как третьеразрядные. Рожи гладкие, сытые, но грубые, человеческого мало. Может быть такие же бедняки, как наши колхозники. Сколько уже веков просветители кричат, что стоит только освободить человека от религиозных и других буржуазных предрассудков, от любого отчуждения — и как он, свободный, расцветет! Он и цветет: из-за ношеного барахла при всех без зазрения убивает. Еще совсем недавно, в первую мировую войну, такого ни в одной армии не было. А теперь, вот так: без предрассудков...

Слава Богу, привал, отдых. С удовольствием ложимся на сухую траву, разуваемся, вытягиваем ноги. Вся степь зачернела от пленных. Сколько нас? Был слух, неизвестно откуда, что вчера вышло из-под земли тысяч шесть, если не семь. Судя по длине колонны, так оно и может быть.

Можно, наконец, приняться за хлеб, только как его

разломить? Некоторые подходят к конвойным, кладут на землю кирпичик хлеба и показывают руками: разбей прикладом. Одни отмахиваются, прогоняют, другие равнодушно бьют прикладом по кирпичикам, разбивают их.

В ряду перед нами запасливый солдатик прихватил с собой и нес всю дорогу два камня, ими мы и разбиваем хлеб. Он немного лучше, чем вчерашний: тоже порошит зеленая труха, но у корок не все сгнило. Горький, проеден плесенью, но есть надо. Хорошо бы еще воды, да негде взять.

Конвой тоже закусил, у них, во флягах, есть и вода. Потом конвойные поднялись и неторопливо ходили среди пленных, без винтовок. Пошли собирать дань? К нам подошли двое. Один взял мой рюкзак за нижние углы, поднял и вытряс содержимое на траву. Присел на корточки и принялся сосредоточенно перебирать вытряхнутое, будто делал важное дело. Пару белья, что мы взяли в складе под землей, в запас, зажал подмышкой. Были еще майка и трусы, взятые на всякий случай, новые — тоже забрал. Потом он старательно отстегнул ремешки карманчиков, вытащил все из них. Новую безопасную бритву, в приличном футляре, сунул себе в карман. Покончив с делом, поднялся. На меня даже ни разу не взглянул, будто я к проделываемому им не имел ни малейшего отношения. Я, верно, и не хотел иметь и старался тоже на него не смотреть. Было противно, гадко, как будто дотронулся до чего-то омерзительного.

Собрав дань, конвоиры вернулись к своей повозке, где оставалось несколько человек, разобрали винтовки и скомандовали строиться. Кряхтя поднялись, — отдых короткий, усталось еще не прошла, пошли дальше. Не прошло однако и полчаса, как впереди что-то застопорилось. Долго стояли, сидели, потом стали медленно подвигаться. Впереди поредело, увидели причину задержки: через широкое поле, километра в полтора, шли длинной цепочкой, — поле было заминировано и расчищена только узкая тропа, для одного. Дошла наша очередь, — тоже втянулись на тропу.

По сторонам, кое-где совсем рядом, почти под ногой, или в двух-трех шагах, из-под земли виднелись черные круги противотанковых и тарелки противопехотных мин, торчали металлические усики к взрывателям, — идти было неудобно. И тут же,

и дальше по всему полю, лежали будто съжившиеся, уменьшившиеся в размере, черные бугорки трупов, больше в телогрейках: наши солдаты, подорвавшиеся на минах. Лиц уже не разобрать, они тоже черные, как обуглившиеся, расплывшиеся, утерявшие черты. Значит, лежат они тут давно, с прошлой осени. Но в таком случае, они подорвались на своих же минах? У немцев осенью здесь оборонительных линий не было, немцы шли в Керчь без задержки, — очевидно поле минировали отступавшие, желая задержать врага. А потом погнали на него свои же части. Впрочем, тоже в порядке вещей: если без предрассудков, почему нельзя гнать на свои мины своих же солдат?..

Вскоре дошли до линии обороны, на которой стояли с января до наступления немцев. И не поверили своим глазам: неглубокие окопы, даже не в рост человека, ничем не укрепленные, уже обваливающиеся, осыпающиеся. Едва прикрытые сверху землянки, игравшие роль наверно командных пунктов, они разрушатся даже от взрыва ручной гранаты — и это называлось сильно укрепленными позициями? Дальше, правда, глубокий и широкий противотанковый ров, стенки у него во многих местах сползли вниз. Эти рвы отнюдь не неодолимое препятствие для танков, как почему-то решили в Кремле, заставляя их рыть от Финского залива до Черного моря: одна бомбежка, артиллерийский обстрел — края рва обрушиваются и вскоре танки без большого труда переползают на другую сторону.

Дальше на этом участке, у немцев, сплошной обороны тоже не было, но по полю в продуманном порядке разбросаны бункера, укрепленные пулеметные и минометные гнезда, — взять их было бы не легко, почему, может быть, советское командование о наступлении не помышляло.

К вечеру пришли к большому, широко раскинувшемуся селу, первому за весь день. Остановили на широком поле, вроде выгона, позади домов. Стащили с ног все еще не гнушиеся английские ботинки, легли. Мало у кого осталась корка-другая от полученного утром кирпичика: сгрызли за дорогу. Хуже, не было воды. Далеко направо виднелась колода, над ней высоко вытянулся "журавль", — у нас его называют еще и верблюдом, которым достают из колодца воду в ведре, — наверно, там

водопой для скота. При одном представлении о том, что там холодная, чистая, колодезная вода, шемит внутри и тянет туда, хотя и стоят перед нами румыны с винтовками. Как ни показывали им на воду и на котелки, они к воде не пускали. Впереди закричали: — Переводчика! Переводчика!

Через некоторое время пришел переводчик, в штатском, приземистый крепыш, не отличишь от конвоиров, если надеть на него форму. Пленные говорили: — Со вчерашнего вечера не видели ни глотка воды. Пусть конвой разрешит идти к колодцу... — Переводчик обещал сказать старшему конвоя и хотел идти, но кто-то, может быть из сердитых, громко добавил:

— Это безобразие, обращаться так с пленными.

Переводчик обернулся, недовольно глянул на говорившего:

— Вы же знаете, что Советский Союз не присоединился к Женевской конвенции о военнопленных. И Сталин отказался от вас, заявил, что пленных у него нет, есть только изменники и предатели, — явно не желая больше слушать, он пошел от толпы. Говорил с сильным акцентом, не поймешь, молдавским, галицийским?

Слушать то, что многие и без него знали, было неприятно. Но многие и не знали: народ больше простой, ему не к чему было интересоваться, подписали наши власти Женевскую конвенцию или нет. А об изменниках, — Копылов махнул рукой: — Так и этак мы все равно виноватые. Нас же оставили в Крыму, немцам как на блюде преподнесли — и мы же виноватые, почему в плену оказались. Мы всегда в убытке. Главное заметить: мы значит со всеми потрохами немцам да румынам выданы; на полную ихнюю милость.

Обращение к переводчику не помогло. Тогда пленные обратились к вечному средству: рылись в карманах, вещевых мешках, доставали, что еще осталось и шли с ним и с котелками к конвойным. Те видно этого и ждали, потому и к воде нас не пускали: брали вещи, шли к колодцу и приносили воду.

У нашей тройцы — у Анохина, Копылова и меня, — ничего не осталось, чтобы предложить румынам, все подходящее они забрали на привале. Подумав, я все же нашел предмет для обмена: самопишущую ручку, покрытую уральскими самоцветами или их имитацией. Вряд ли она теперь мне понадобится, да и

чернила где возьмешь. Копылов взял котелок, ручку и пошел выменивать на воду. Румын взял: кажется, они брали все, что предлагали. К нашему огорчению, он набрал целую кучу котелков, наверно с десятков, — как же он принесет их с водой?

Опасение оправдалось: румын принес даже меньше, чем полкотелка, остальное расплескал, как и у других. Досадно, но претензию не предъявишь. У Анохина эмалированная кружка, — поделили воду на троих, немного горло промочили.

И жажда не утолена, и голодно, а спать надо: завтра опять будет трудный день, надо выдерживать.

Утром подняли рано, едва солнце встало над горизонтом. Есть ничего не дали: вчерашний кирпичик дан был на всю дорогу, но нам об этом не сказали и мы съели его за день. Придется терпеть.

Пошли уже не так бодро, как вчера, но часа два еще подбадривали себя, заставляли идти. А к полудню совсем пристали: солнце пекло, мучила жажда, колонна растянулась, хотя и старались не отставать. Хорошо еще, что конвойные не подгоняли, тоже устали.

Но вот впереди что-то изменилось: на желтой, выцветшей степи что-то зазеленело, поднялось, — мы всматривались, стараясь понять, что это. Ближе, ближе — впереди люди бросились вдруг с криками, ломая строй, в эту зелень. Румыны переполошились, кричали по-немецки: хальт! хальт! но никто их не слушал, пленные продолжали бежать — к воде. Да, справа, всего в тридцати-сорока шагах от нас, в зарослях камыша, блестела голубая гладь неширокой, застывшей, неподвижной речки. Ничто не могло удержать пленных: люди бежали к низкому берегу, бросались на землю, головой к воде и пили безотрывно. Мы тоже побежали к воде, но быстро вернулись, зачерпнув полные котелки.

Раздалось несколько выстрелов, — румыны поначалу стреляли поверх толпы. Но потом стали прицеливаться, некоторые даже припали на одно колено, — неужели будут стрелять по пленным? Целились в лежащих у воды — и то один, то другой там вскидывались, пытались отползти, окрашивая воду в красный цвет, другие, напротив, погружались в воду. К одиночным выстрелам вдруг примешалась автоматная дробь —

стрелял и кто-то из немцев, у румын автоматов не было. Так продолжалось две, три минуты, пленные, матюгаясь и грозя кулаками, отхлынули от воды. Подскакал еще немец, что-то властно крикнул, — выстрелы прекратились, румыны опустили винтовки, не препятствуя больше пленным подходить к воде. Нашелся все же и немец "с предрассудками", — подумал я, прекратил убийства.

Пленные, напившись, мыли руки, ноги, превратив воду у берега в грязное месиво. Мы напилась и помылись из котелков, потом набрали их полными еще раз, на дороге, с бережка повыше, где вода оставалась чистой. Больше брать воду было не во что: стеклянные фляги, полученные месяц назад в Прохладном, давно разбились.

Минут через десять пленные стали возвращаться в строй, без команды прерывая неожиданный привал, завоеванный ценой десятка жизней тех, что остались лежать у воды. Один из конвоиров пальцем пересчитал их — на этом и кончилось. Никого не интересовало, кто именно убит, сообщат ли об этом их родным. Да и могло статься, что не у всех были какие-либо документы.

Позже мы узнали, что у немцев, как и у военнослужащих других армий, у всех были на груди, на шнурке, латунные или алюминиевые пластинки, с дважды выбитым личным номером. Если солдата убивали или он умирал в госпитале, половинку пластинки с номером отправляли с донесением начальству, а с другой половинкой его хоронили. У нас не было таких пластинок, — власти не интересовала наша судьба, как и чувства родственников. Во всех современных армиях солдат снабжен стальным шлемом, для защиты от осколков и мелкокалиберных пуль, которых теперь на фронте тучи, — нам шлемов не нашлось. С давних пор стало обязательным каждому выдавать индивидуальный медицинский герметически закрытый пакетик, в нем вата, бинт, пробирка с иодом, для первой перевязки раны, — нам пакетиков наверно не хватило. Тоже и с противогазами. Во всех армиях заботятся о тех, кого посылают под огонь врага, — только не в этой армии, в которой мы. В ней мы должны воевать — и не имеем права ничего требовать, даже и для того, чтобы воевать лучше.

В колонне оказались раненые. У некоторых из их соседей в строю, еще нашлось в котомках запасное белье, не отобранное румынами. Изорвали его на широкие ленты и кое-как завязали раны. Хорошо еще, что нет раненых в ноги, все могут идти сами. Румыны ждали, когда кончат перевязывать: теперь они стали считаться с нами.

На ночлег остановились опять у какого-то селения, на окраине. На этот раз колодец оказался близко и конвой не препятствовал брать воду. Ворот у колодца скрипел всю ночь, жажда однако уже была утолена. Мучил голод. А может быть еще больше — усталость и спали плохо, тревожно. Шли по 30-35 километров в день, — а полагается пехоте, здоровым и сытым солдатам, проходить по 30 километров в сутки. Ухитряемся даже "перевыполнять норму".

Утром, на третий день, многие с самого начала не шли, а ташились. Вчера, когда кто-нибудь подбодрял соседей, говоря: "Крепись, братцы, шагай, не отставай" — эти советы еще казались ненужными. А теперь и самого себя приходилось мысленно подстегивать: держись, не сдавай, надо выдерживать... И уже не удивлялся, когда то и дело слышалось, то впереди, то позади: "Шевелись, ребята, не вешай голову. Двигай ногами, пристанешь — беда будет. Нельзя отставать, тянись до последнего, выдюжим...".

Но были и стершие ноги в кровь, почти до кости, и заболевшие, и раненые, вконец ослабевшие, — и часто получалось, что стоит или сидит на земле солдат, а мы обходим его и он остается позади. И еще до полудня не дотянули, а издалека, сзади, время от времени доносились негромкие хлопки: это конвой пристреливал отставших, кто уже не мог подняться. Представлялось, что весь путь наш в этот день отмечен трупами и тянутся они к нам с самого горизонта. И еще круче поминали в строю тех, кто оставил нас в Крыму на никчемную бесплодную смерть. Казалось, что своими руками придавил бы и командовавших нами разопсевших "рабоче-крестьянских" генералов,

Я хорошо помню тот переход: акманайские позиции, привал, минное поле, ночь на окраине села, эпизод на берегу степной речки, но могу ошибиться в последовательности. Может быть так, что степная речка попалась нам в первый день, а привал, на котором нас обирали румыны, был во второй.

умевших хорошо лишь распластываться перед партийным начальством, и это начальство в Москве, умелое только в насилии над нами...

Перед вечером добрались-таки до конца нашего первого похода в немецком плену. Остановились перед широкими воротами в бесконечно уходившей в обе стороны ограде из колючей проволоки. Лагерь был сделан наверно недавно и на скорую руку: к новым столбам метра три высотой прибито несколько ниток проволоки, в один слой, нет даже вышек по углам. Впустили в ворота, на широкую площадку, — оттуда уводили дальше, в другие, поменьше, загородки-загоны, отсчитывая по сотням. В нашем загоне оказалось около тысячи человек. С одной стороны — степь, там, вдоль проволоки, ходит немец-постовой. С другой — проход между двумя проволоками, вроде коридора, по которому мы пришли. Справа тоже загон, в нем такая же масса пленных, больше, похоже, кавказцев, но есть среди них и русские.

Лагерь огромный, не охватишь взглядом, в нем десятки таких, как наш, загонов. В каждом, у наружной проволоки, подобие шалаша — уборная. Наши, из самых любопытных, прилипли к проволоке справа, разговаривают с соседями, которые здесь уже с неделю. И первое сообщение от них: лагерь неподалеку от узловой станции Владиславовка, на линии Джанкой-Севастополь. На юг от нее идет ветка на Феодосию, а на восток — в Керчь, откуда мы пришли. Поезда еще не ходят, но немцы говорят, что скоро из Крыма пленных отправят, на "большую землю".

Владиславовка — прикинул мысленно, вспоминая карту: очевидно, мы прошли, за неполных три дня, сто с небольшим километров. Совсем хорошо для голодных и измученных людей.

Расстелив шинель и положив под голову рюкзак я устроился на сон, хотя еще светло и ночи нет. Но усталость была такой, что казалось бессмысленным держаться на ногах. Да и не к чему. А Копылов и Анохин не могли оторваться от проволоки, увлеклись разговором.

Из таких разговоров к утру выяснилось: по немецким сведениям, под Керчью попало в плен нашего брата около 120 тысяч человек. Немного позже узналось, что в те же примерно

дни в другой не менее бездарной операции, под Харьковом, в плен отдали еще 180 тысяч. Итого, недели за две — 300 тысяч. В июле сдали Севастополь — еще около ста тысяч. Да на других фронтах, хотя бы по немногу — дойдет и до полмиллиона. Мы для правителей — вроде мелкой разменной монеты, они не задумываясь бросаются нами, сотнями тысяч, миллионами жизней, ради вздорных своих планов. В этих миллионах — и те, кто остался позавчера у воды степной речки, и те, что легли вчера в степи, отмечая наш путь — все бесчисленные, никому не приносящие пользу и ничего не искупающие смерти.

Утром принесли с десятков бачков и несколько носилок с дневными порциями хлеба. Всё перешли на одну сторону; в середине в линию поставили бачки, — каждый, проходя мимо на другую сторону, получал в котелок ковшичек какого-то питья (немцы по привычке называли его утренним кофе, но кофе в этой синеватой жидкости не было и помина. Получили и порцию хлеба. Жидкость, впрочем, была почти горячей и даже может быть чуть подслащенной: горечи, по крайней мере, в ней не чувствовалось. Хлеб уже немецкий, липкий и всего триста граммов, нам, голодным, как говорится, на один зуб).

Позавтракав, с непривычки к ничегонеделанию, озирались: за что бы взяться, чем занять себя? Но что же делать в плену! Однако, скоро вокруг было уже много занятых: кто пытался лечить стертые ноги, обматывая их тряпками, другой штопал портянки, третий чинил гимнастерку, пришивал пуговицы, что-то мастерил из откуда-то взятых или сохраненных в мешке обрывков — и все это большей частью старательно, с великим тщанием, как в других условиях наверно не делали. И глядя на сосредоточенно занятых людей, само собой приходило на ум: кто выдумал, что человеку нужна какая-то небывалая полная свобода, от его тяжких подчас обязанностей? Освободившись от них, он тотчас же непременно начнет искать себе другое занятие, которое увлекло бы его, заняло целиком, неотрывно, — которое может быть поработило бы его, отчуждая, по этой вере, его личность? Человеку нужна свобода от всяческого помыкания им, от издевательства плантаторов любого вида над ним, а вовсе не бегство от обязанностей, если он признает их необходимыми. Ему нужна свобода — чтобы самому, по своему выбору и

хотению, поработиться избранным занятием, потребным ему и другим, берущим его даже и целиком, но не бесплодно ни для него, ни для всех. А обещание сделать его полностью "свободным", освободить его от "отчуждения" — только ложь, потребная обещающим для того, чтобы обманом обратить людей в своих служающих. И кто же знает это больше нас, проживших столько лет в первом в мире будто бы самом свободном и справедливом государстве.

В середине образовался "базар": десятки пленных топтались там, заглядывая, кто что предлагает или предлагали свой "товар". У одних нет курева, а без него им хуже, чем без хлеба — и человек отрезал четверку или даже половину от полученной утром своей хлебной порции и теперь торгуется, кто за нее больше даст? Предлагают шепотку или две махорки на одну или две закрутки, но хлеб дорог, этого мало и продавец надеется выручить больше. Кто-то меняет на табак новую нательную рубаху, сохраненную от румын, предлагают и другие вещи. Кому что надо, — проявляются, сталкиваются десятки нравов, нужд, запросов. А кому и ничего не нужно, интересно только потолкаться в толпе, понаблюдать за всамделишным, хотя и жалким, кипением жизни.

Под базарное гудение я задремал, удивляясь: ночь спал крепко, а как будто опять спать хочу. Ничего, надо спать, пока спится, надо сохранять силы, они пригодятся.

Разбудил какой-то гул, крик, истошный шум. Базара не было: все прилипли к проволоке справа, что-то слушают. Поднялся: там, посреди толпы пленных, на каком-то возвышении стоял немец в форме и что-то кричал толпе по-русски. Толпа слушала и в то же время выла, редела от восторга. Подошел оттуда Копылов.

— Что-то совсем по-моему несуразное несет немчура, — сказал он. — Будто в Москве революция, Сталина арестовали, организуется другое правительство. Теперь завтра-послезавтра — конец войне. Конец и колхозам, коммунистам: пойдете по домам и будете жить, как хотите. Ялдаши слушают и с ума сходят от радости.

Да, откуда немец такое принес? И зачем болтает? Может, выбалтывает то, чего им самим очень хочется? Но хочется ли?

Трудно в это поверить. Если бы хотелось — дай винтовки вот этим орущим от восторга вчерашним красноармейцам и они и Сталина из Кремля выгонят, и колхозы заодно в дым разнесут. В этом лагере наверно тысяч сорок-пятьдесят, — сейчас, по горячему следу, когда люди озлоблены против предавшей их власти, объяви — чуть не все пойдут в армию, драться с этой властью. Силища невиданная получится. Да что-то не слышно, чтобы немцы звали. К колхозам они могут быть равнодушны, в колхозах не ими помыкают, — а разреши со Сталиным разделиться, тогда с чем сам останешься! Выйдет, что не немцы победили, — а это им ни к чему. Нет, что-то заливаает тот немец, тоже какой-нибудь пропагандист — и тоже вряд ли шибко мудрый.

Соседи продолжали шуметь, хотя немец уже ушел, — обсуждали наверно, когда отпустят домой. В проходе у проволоки остановился еще военный, оттуда тоже донеслась русская речь. Это что за явление? Форма немецкая, даже с нашивкой на рукаве, — унтер может быть? — а лицо такое русопятое, широкое, тарелкой, и с лихо вздернутым носом, что за немца никак не примешь. Вид не очень-то располагающий: высоко вскинутая голова, рост небольшой, а взгляд будто свысока, в голосе даже вроде надменность, да и говорит — сквозь зубы цедит. И фуражка вверх у него торчит, а ля черт меня подери, — знакомый посад, помню таких по Соловкам, были там белые офицеры и среди них офицерики, из мелких чином, но задиристые, знай наших, и фуражка хоть не форменная, а тоже торчком. Даже из капитанов могли такие попадаться, молодые петухи, но не выше. Полковник встретится, — у того, как бы не был оборван, измотан, основательность, твердость, солидность, петушкового гребешка не увидишь.

Но вид надменный у этого, перед проволокой, взгляд сверху вниз, могут быть и естественны: очень уж мы выглядим не по-человечески. Обтрепанные, грязные, рожи заросшие, тоже грязные, да и голодные. Воду для питья тут, слава Богу, дают, два-три раза в бачках приносят в день, — а для мытья и бритья негде взять. Позже, в берлинском журнале "Унтерменш", видели мы фотографии толп таких же наших пленных, — в самом деле унтерменши. Любому человеку, будь он английский лорд, не дай

несколько дней воды, держи его голодом, да гони сотню километров пешком — каждый будет похож на унтерменша.

А может быть этот "фендрик", — так успел назвать его Копылов, — из эмигрантов? — осенило меня. Молод очень, но из эмигрантских детей может быть. Надо бы узнать, кого подослала нам судьба — и я хотел пойти к проволоке, но "фендрик" повернулся и ушел к воротам. Пришел Анохин, спросили его, он был там.

— Чудной какой-то, — с недоумением отозвался тот. — Русский будто, чисто говорит, и без запинки, а вроде и не совсем по нашему, будто акцент у него какой. Спрашиваем, что это немец болтал, о революции в Москве, — крутит головой, говорит, не слышал, только что-то не похоже. И мы говорим, что не похоже, да наше мнение его видно не интересует. Все спрашивал, каждого, какой губернии, — некоторым и невдомек, какие это губернии, мы же по областям живем. Потом спросил: а в Бога мы верим, верующие мы? Ну, тут каждый наверно подумал: недотепа видать, нашел время и место о Боге спрашивать...

В обед опять пришла команда с бачками — и опять всех перегнали на одну сторону. Переходя на другую, мимо бачка, к которому встал в очередь, у раздатчика получал в котелок ковшик супа. Суп как суп, обычная баланда, не лучше, — и не хуже, — чем бывало в концлагере, но пожалуй немного лучше, чем получали мы в запасном полку в Прохладном и несравнимо лучше того, что всего один раз выдали нам у каменоломни в Джумушкае.

При раздаче обнаружилась большая беда. Наша группа, народ бывалый, хорошо помнили, что солдат, как и арестант, без ложки и котелка или миски — пропащий человек и уже давно, еще по дороге в Тамань, раздобыли себе приличные алюминиевые котелки. А тут оказалось, что у многих нет никакой посуды. У некоторых были хоть кружки, нередко из консервных банок, — в них однако умещалось не больше полпорции, а это ведь еда, вопрос жизни. У других не было и кружек. Подумав минуту, солдат, подходя к бачку, смахивал с головы пилотку и подставлял ее раздатчику. Другой складывал ковшиком полу шинели и получал суп в эту "посуду". Суп протекал и сквозь пилот-

ку, и сквозь шинель, — нужна была ловкость, чтобы как можно скорее его проглотить, не давая ему вытекать на землю.

Роптать не приходилось, жаловаться — и некому, и не на кого. Почему немцы должны кормить лучше, чем кормили нас "у себя"? Они могли бы и этого не давать: мы же не пленные, от нас отказались. Немцы вроде из милости нас кормят, — а могли бы не кормить. Ничего не поделаешь, теперь смотри, все силы клади, чтобы выжить.

От таких мыслей — тоска смертная. Что за дьявольская участь: дома, у себя — и в концлагере, и "на воле", тоже все силы надо было класть на то, чтобы выжить, каждодневно для этого ловчиться, как-то выкручиваться из постоянной откуда-то взявшейся беды, — почему, зачем? Мы же все — взрослые, здоровые, сильные люди и всегда сумели бы нормальной работой обеспечить себя, заработать себе на все необходимое, — почему же надо ловчиться? Что за порядок завели у нас непрошенные "освободители"? Кому, кроме их самих, нужен этот постоянно и во всем унижающий нас "порядок"? И теперь — тут тоже тянись, чтобы только выжить...

В лагере у Владиславошки пробыли всего три дня. Утром на четвертый вывели из загона в поле, добавили еще несколько сот человек и выдали продукты на дорогу, на три дня: хлеба по пятьсот граммов в день, по кусочку колбасы, может быть и из конины, не разберешь, по кусочку еще маргарина и даже — по пачечке "кунстхонига", искусственного меда. Мы были потрясены.

— Ты смотри, даже колбасу дали! — Подумаешь, дали, с гулькин нос, раз укусить. — А тебе в Красной армии хоть бы такой кусочек попадал когда? И еще мед! Из чего, интересно, они его делают? Из одной картошки не выйдут, еще что-то кладут. Конечно, порция как больному, но все ж таки.

И долго еще обсуждали невиданный немецкий паек.

Пошли на север. От Керчи шли больше напрямик по степи, без дороги, — тут грунтовая дорога, глаже и будто мягче идти. Переходы тоже большие, но у немцев все размерено, через определенные промежутки привалы, вечером, еще засветло — встаем на ночь, спать. И вода всегда есть. От румынского

ералаша и базара ничего не осталось. Но немцы и требовательные, только и слышно, как подгоняют: лос! лос! И прикладом замахнется. Опять и хлопки позади, с первого же дня: пристреливают отстающих, как и румыны.

На третий день пришли в Джанкой. Остановили в поле вблизи железной дороги, где стоял длинный состав из товарных вагонов. Немцы привезли на подводах продукты, опять выдали на три дня, началась посадка. В вагоны набили по 55 человек, тесно, не повернешься, но, бывало, в этапах по пересылкам и концлагерям, набивали и больше.

Окошечки наверху густо замотаны колючей проволокой, в вагоне полутемно. В начале пути нечего и гадать, куда везут: дорога одна, на север, на Мелитополь. Дальше — на Запорожье, оттуда повернули на запад и уже трудно было уследить: то на север едем, то на запад, сутки так кружили к югу от Киева, мимо разрушенных, сожженных станций, складов, построек. И удивительно, что немцы успели восстановить так много линий, по которым катают теперь нас.

К концу третьих суток эшелон наконец встал на долгое время. Кто-то заметил промелькнувшую в окошке закоптелую надпись: "Умань". Приехали в Умань, здесь большой лагерь. Это и о нем говорилось в заявлении-протесте Молотова, об уничтожении немцами наших военнопленных: здесь, помнится, в прошлую зиму погибло сто или даже больше тысяч пленных. Я читал этот протест в "Известиях", когда был, в начале года, в Средней Азии, в эвакуации (как давно это было! И как непредставимо далеко от этих мест!).

Умань. Дверь тяжело отодвинулась, началась выгрузка...

(Продолжение следует)

Г. Андреев

ПУШКИН

Отрывок поэмы

Я вижу тебя издалёка, —
Чубук запален горячо,
Подушки дивана глубоко,
Уютно примяло плечо.

Покоен, отменно удобен,
Поношенный твой архалук
И облик спокоен и ровен,
В движеньи закинутых рук.

Любимейшим ямбом, хореем,
Исписаны мелко листы,
Рассыпаны тут же, белеют
Другие чисты и пусты.

И словно мохнатая птица,
К окну припадает метель,
На темную землю ложится
Холодная эта постель.

Как вьюга к ночи разыгралась,
Снега все пути замели...
В гостиной огни зажигала,
Вздыхала твоя Натали.

И, бледная, мимо проходит,
С лицом неживым, восковым,
Причесана гладко, по моде,
И голосом странно чужим:
"Я еду на ужин, к родным..."

Ты думаешь, брови сдвигая,
Уже не спокоен и строг,
О том что она молодая
Безпечная, как мотылек...

Что в этом веселом круженьи
Дворцовых приемов, балов,
Что ей до твоих озарений,
Печальных и звучных стихов...

Михаил Волин

УРОК БАХТИНА

В 1974 году в издательстве "Наука" вышел "Контекст-1973", — "Второй выпуск периодического издания по проблемам литературной теории". Среди статей — статья М.М. Бахтина "К эстетике слова".

Сегодня всякая новая публикация работ Бахтина — событие. И не только литературное. Бахтин уже признан в международном масштабе крупным литературоведом. Но для советского интеллигента в его работах есть ещё "что-то", то самое "что-то", что придаёт выдающемуся человеку особый ореол и заставляет искать в его писаниях ответы не только на профессиональные вопросы "как делать литературу", "как делалась литература" и т.д. Судьба рукописей Бахтина (теперь, впрочем, *КНИГ*, но сколько лет понадобилось для этого?), и его личная судьба представляют собой некий жизненный опыт, сравнимый с опытом трагических судеб других выдающихся русских писателей — Мандельштама, Цветаевой, Ахматовой, Пастернака.

Статья Бахтина в "Контексте" начинается так: "В своё время был провозглашён классический лозунг: нет искусства, есть только отдельные искусства. Это положение фактически выдвигало *ПРИМАТ МАТЕРИАЛА* в художественном творчестве...". Читая эту статью мы видим, что она направлена против формального анализа искусства, то есть, практически — против структуралистов, поскольку структуралисты сегодня единственные представители формальной школы.

Но всё это не так просто. Политически — а как можно оторвать нашу жизнь от политики? — структурализм относится к тем явлениям советской литературной жизни, которые явно

вызывают симпатию у всякого неконформистски мыслящего человека в СССР. В течение долгих лет в СССР и кибернетика, и генетика, объявлялись вздорной выдумкой "реакционеров-империалистов". Учёные-структуралисты находятся в несомненном конфликте с правящим режимом уже по той простой причине, по которой всякое *ИСТИННО КУЛЬТУРНОЕ* явление становится автоматически врагом существующего положения вещей. (В отличие от псевдо-культурных форм, отживших, мумифицированных, но упорно выдаваемых за современные).

Лагерь, что сегодня наиболее активно ведёт борьбу против структуралистов, это лагерь так называемых "легальных славянофилов". Его возглавляют два человека: Вадим Кожинов и Пётр Палиевский. В сборнике "Контекст" мы найдём фамилию Палиевского в списке членов редколлегии рядом с небезызвестным стукачом Я. Эльсбергом, а фамилию Кожинова — в списке авторов. По сути дела сегодняшние "легальные славянофилы" — это своеобразно трансформировавшаяся линия РАППа. Я. Эльсберг — близкий друг Ермилова, Кожинов тоже близок к Ермилову. Эльсберг же был научным руководителем диссертаций Кожинова и Палиевского. Программа такова: Россия всегда была страной военной диктатуры, следовательно, ничего не изменилось. Не пресловутой западной демократией нужно восторгаться (ничего кроме отчуждения она принести России не смогла), а русской патриархальной душевностью (что конкретно означает — душевное единение партийного босса и русского интеллигента). Так толкуются "Дневник писателя" Достоевского, статьи Розанова и Леонтьева, писания старых славянофилов — Аксакова и Хомякова. "Алеко" из пушкинской речи Достоевского, это тот, кто протестует, "качает права", эмигрирует, а не "Алеко" нужно быть, но тем, кто "смирится" и "поработает на родной почве". Два года назад Кожинов организовал молодёжный диспут в Доме Литераторов под названием: "Свобода или Пушкин?", там провокационно ставилась дилемма перед молодёжью: чего вы хотите, — свободы? — тогда забудьте о Пушкине, потому что Пушкины рождаются у нас при несвободе. Это было, конечно, передёргивание, — куда как легко показать, что русская литература расцвела в 19 веке *ПОСЛЕ* введения большей свободы, чем в екатерининское и послеекате-

рининское время. И если Царскосельский лицей назвать институтом несвободы или сравнивать его с Высшей партийной школой, тогда что же?...

Иными словами, на типичного инакомыслящего, да и просто либерального интеллигента упомянутая статья Бахтина должна была производить хоть и чуть-чуть, но всё-таки обескураживающее впечатление. Особенно, если знать, что Кожинова с Бахтиным уже много лет связывают близкие отношения: Кожинов был тем человеком, который после многих лет бахтинской изоляции, пробил в печать второе издание "Поэтики Достоевского", то есть, по тем временам совершил почти невероятное, — а затем последовало международное признание, издание "Рабле", восхищение, поклонение...

Но всё-таки почему же именно против структуралистов посчитал нужным выступить Бахтин? Неужели так-таки его и не раздражает позиция противоположного лагеря и нечего ему сказать против их передёргиваний, упрощений и фальсификаций?

Всё дело, думаю, в том, что Бахтин в сегодняшнем советском литературоведении занимает особое место. Ему поклоняются все школы и направления, и каждая считает его своим учителем — в той или иной степени. Вот я открываю книгу "Проблемы поэтики и истории литературы", изданную в 1973 году в г. Саранске, где последние годы жил и работал М.М., и нахожу в оглавлении такой необычный состав авторов статей. Всё тот же Кожинов, структуралисты Ю. Лотман, Вяч. Иванов, В. Топоров, очень известный эссеист В. Турбин, почти исчезнувший последние годы со страниц печати философ-космолог Г. Гачев, С. Аверинцев, молодой профессор Московского университета, чьи лекции по древнегреческой и раннехристианской философии наделали столько шума, тонкий и глубокий исследователь пушкинского творчества С. Бочаров... Иногда враги, иногда равнодушные друг к другу (как по политическим, так и мировоззренческим настроениям), — что делают эти люди в сборнике? Отдают дань Бахтину, 75-летию которого посвящена книга. Некоторые делают это прямо, как Ю. Лотман и Вяч. Иванов, цитируя Бахтина, указывая, от каких его идей они отталкиваются, другие — косвенно, то есть, идя дальше путями Бахтина. Но во всём этом есть замечательный момент. Я думаю,

что не будет большой неожиданностью найти в борьбе формальных школ с теми школами, которые ставят во главу угла идейное содержание литературы, отголосок исконной борьбы западников и славянофилов. Нет, нет, не случайно Кожин и Палиевский вместе со структуралистами бранят "модернизм" (в модернистах у них ходят Джойс и Пруст) и декадентство (тут представитель — Кафка). Также неслучайно и ранний русский формализм в лице ОПОЯЗА демонстративно отказывался от принятия "идейного содержания" и переносил свои симпатии с русских писателей на французских стилистов.

Даже Достоевский не мог объединить эти два течения в любви к себе. Но Бахтин это сделал! Он соединил в себе оба эти начала, — символически, сказал бы я. Будучи по методу исследования интуитивным структуралистом (в те времена структурализм ещё не существовал), Бахтин одновременно никогда не упускал из виду содержание, духовную подоплёку искусства. И парил *НАД*, недостижимый...

В 1975 году — увы, посмертно — в издательстве "Художественная литература" вышла книга избранных трудов М.М. Начиналась она не статьёй, но большой, в несколько печатных листов, работой "К вопросам методологии эстетики словесного творчества". Работа эта была написана в 1924 году по заказу журнала М. Горького "Русский Современник" и осталась неопубликованной, так как журнал прекратил своё существование. Так вот, "К эстетике слова" оказалась лишь небольшой частью, взятой из этой работы, а вовсе не написанной в наше время! Иными словами, не сегодня начинал Бахтин борьбу с формальным методом исследования искусства, а в самом начале своего творческого пути, и не против структурализма была направлена его статья, а против теоретиков ЛЕФА и ОПОЯЗА!

Но если журнал "Русский Современник" прекратил своё существование, неужто не нашлось другого журнала для напечатания работы Бахтина? Какова же была обстановка в литературоведении той поры, если книга Бахтина "Проблемы творчества Достоевского", вышедшая в 1929 году, осталась незамеченной, а переизданная в 1963 году вдруг принесла автору всемирную известность? Почему Бахтин всё-таки выбирал своим главным врагом не вульгарный социологизм, который уже

одним своим *УРОВНЕМ* должен был вызывать его раздражение и неприязнь, но формализм, с которым у него было достаточно много общего? И, наконец, почему тот самый вульгарный социологизм, который через несколько лет пришёл к неограниченной власти, первым делом — и гораздо сильнее — ударил по Бахтину, чем по его оппонентам? Ведь в то время, как Эйхенбаум и Жирмунский благополучно закончили свою жизнь — один профессором, другой — членом-корреспондентом, Бахтин в 1930 году был сослан, а затем *ДО 1963 ГОДА* ничего не публиковал, работая много лет школьным учителем, потом завкафедрой общей литературы в Саранском (!) педагогическом институте в Мордовии? Ведь Бахтин, как и соцреализм, был за примат содержания в искусстве, не так ли? За что же соцреализму было бить своего, казалось бы, союзника?

По иронии судьбы предшественники тех людей, которые сегодня молятся на Бахтина, сорок лет тому назад относились к нему явно враждебно. И чтобы понять, почему сегодня Бахтина так почитают представители самых противоположных группировок, *НЕСМОТРЯ* на то, что он несёт в себе нечто неприемлемое и для врагов, и для "друзей" — мы должны вспомнить, что в двадцатые годы Бахтин был неприемлем ни для одной из крайних группировок. Почему? Да потому, что он нёс в себе ещё кое-что...

Бахтин нёс своё собственное содержание, свою собственную концепцию мира, иными словами, свою собственную идеологию. И это в годы расцвета *ВСЕОБЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ!* Какая несвоевременность!

Внимательно вчитываясь в бахтинское наследие, мы видим две идеи, что красной нитью проходят через всё его творчество: идею карнавала и идею диалога. Бахтин в своём необычайно остром эпическом ощущении карнавальности жизни, где Верх сменяет Низ, Жизнь — Смерть, и совершается вечно незавершённый цикл существования, был уже не учёным, а писателем и философом. С этим же соприкасается его формула "романности" и "языковых зон". Когда Бахтин в небольшой статье "Слово в романе" пишет, что "всякий роман в большей или меньшей мере есть диалогизированная система образов "языков", стилей, конкретных и неотделимых от языка соз-

ний”, он имеет в виду всё то же, что много лет назад высказал в книге о Достоевском. Диалог в ощущении Бахтина не только дуэт двух несливаемых голосов и даже не взаимообогащающая беседа с целью выяснения объективной истины, но сложное, как сознательное, так и бессознательное, взаимопроникновение, взаимоумирание друг в друге и возрождение в обновлённой форме. А это уже — философия, философское мироощущение, для которого структуральный анализ всё-таки всего лишь вспомогательное — хотя и нужное — оружие.

Я выскажу гипотезу, почему Бахтин никогда не отвечал вульгарному социологизму, но последовательно выступал против формализма. Формализм и вульгарный социологизм — два лица одной и той же ипостаси. Формализм отрывает форму от содержания и объявляет содержание чем-то несуществующим или в крайнем случае второстепенным. За ним приходит вульгарный социологизм и подтасовывает эти самые “второстепенные содержания” как краплёные карты. Таков эстетический опыт Эйзенштейна и позднего Маяковского. Распознавая, где следствие и где причина, Бахтин предпочитал, по-моему, воевать против причины, а не следствия, поскольку его точка зрения не оставляла никаких путей для компромисса. Как мог бы он расстаться со своим содержанием, подменив его набором ходячих лозунгов? Практика же социалистического реализма (не теория!) базировалась по сути дела на формализме. И хотя громогласно объявлялись “Великие Задачи”, безошибочно работал в мозгу каждого советского писателя механизм двоемыслия: на деле советские писатели учились технологическому мастерству и только ему. Ведь с самых первых дней советской власти была фальсифицирована всякая мысль, в том числе и марксистская, всякая идеология в недогматическом своём виде. То, что марксизм-ленинизм, утверждая свою власть, обнаруживал тенденцию к самосъедению — это другой разговор, но то, что марксизм-ленинизм по сути дела формализм в иной его ипостаси — показала вся история советского искусства и литературы. Многие представители формализма оказались восторженными поклонниками Октября. И недаром многие из сегодняшних западных структуралистов — коммунисты.

В искусстве марксизм-формализм в СССР противостоял культурному развитию, и если возникало и развивалось какое-нибудь культурное явление (не музейно-культурное, как классический балет, например), то не в согласии, а *ВОПРОКИ*, в борьбе. Бахтин же был культурным явлением в удивительно полном объёме, где новаторский метод постижения шёл рука об руку с новаторскими идеями, и он не мог не прийти в столкновение с формализмом, тоже явлением культурным, но однобоким, чреватым в самой своей сути гибелью культуры, лишением её духовности. Именно потому, что Бахтин был человеком *ТАКОГО* высокого уровня, он ни разу не опустился до полемики со следствием, которое само себя разоблачает своим уровнем. Он выступил против причины, и выступил пророчески.

А. Суконик

*

Ну что ж, покончено со смутою.
Моё прошедшее темно,
А всё же с каждой минутою
Всё слаше хлебное вино.

Стоит пора травоцветения.
В полях такая благодать,
Что впору, руки сжав в смятении,
Про всё забыть, или отдать.

О, это лето растревожено
Чистейшей памятью имён,
Чья жизнь прошла или отложена
До лучших, может быть, времён.

Лия Владимирова

*

Бешено о-земь
Бьются иссохшие листья.
Ступишь — на осень —
Скрежет зубов под ногой...

Сучья — обрубки —
Руки с отрубленной кистью ...
Сердцем бы хрупким
Боли не видеть такой.

Я сосчитала
Дни и минуты до встречи...
Сердце — шит алый
Чувство в груди бережет ...

— Всё что имею —
Больше дарить тебя нечем.
Или, не смею ...
Стылое, острое, жжет.

Ветер коснувшись
Горла ножом (это шутка!),
Сыплет мне в уши
Звон расколовшихся льдин.

Мыслям без места —
Жутью осеннею жутко
Как ты во мне стал —
Незаменимо один.

Людмила Остророг

ПРОГУЛКИ ХАМА С ПУШКИНЫМ

"И увидел Хам наготу отца своего, и вышел рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду и, положивши ее на плечи свои, пошли задом и прикрыли наготу отца своего; лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего".

("Бытие", гл. 9, ст. 22, 23.).

"Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости".

/Пушкин/

"'Всечеловечество' у Пушкина было эстетическим созерцанием".

/Д. Мережковский, "Грядущий хам"/.

Прежде всего я хочу успокоить хорошо воспитанных, чувствительных и нервных. Термин хам я не употребляю в ругательном смысле. Это было бы недостойно. Я употребляю его в библейском — как цинизм человека и надругательство над тем, что в человеческом обществе надругательству не подлежит, если общество не хочет превратиться в орангутангово стадо.

По-моему, в какой то глубине — в плане духовно-интеллектуального разрушительства — в потребности предать надругательству наши традиции и святыни, Абрам Терц — сохраняя все пропорции — несет в себе ту же заразу, что и Д.И. Писарев. Заразу духовно-интеллектуального Ивана Непомнящего, босяка, беспартошника, одним из отцов чего был у нас не совсем уравновешенный Д. И. Писарев.

Начиная разбор книги Терца, первую фразу я напишу в стиле Писарева. С позволения сказать, писатель Абрам Терц написал, с позволения сказать, книжку о Пушкине, озаглавив ее "Прогулки с Пушкиным". Установим прежде всего некий плагиат заглавия. Известно, что сто одиннадцать лет тому назад

(1865) Писарев опубликовал свою печально известную статью "Прогулка по садам российской словесности", сам сказав, что написал ее "в насмешливом и даже презрительном тоне".

Прогуливаясь по садам российской словесности Писарев говорит: "о Пушкине я буду писать только затем, чтобы образумить суеверных обожателей этого устарелого кумира... Идеи Базарова я считаю полезными — поэтому и говорю о них с уважением; идеи Пушкина я считаю бесполезными, — поэтому и говорю о них с пренебрежением". В своей, с позволения сказать, книге о Пушкине Абрам Терц пишет: — "да так ли уж велик ваш Пушкин (конечно, *наш*, а не ваш, Абрам Терц! Р. Г.) и чем в самом деле, он знаменит, за вычетом десятка-другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты?".

Разумеется, между Д. И. Писаревым и Абрамом Терцом — дистанция огромного размера. Писарев писатель образованный, куда более талантливый, и, главное, с испуганной верой в свои идеи, с нашей точки зрения духовно-вредные и, как показала история России, нанесшие сокрушительный удар русской культуре и русскому искусству. Искусству Писарев был совершенно чужероден, это была не сфера его жизни. Но, к сожалению, писал именно об искусстве. Что ж тут удивительного, если даже преподобный Ильич высказывался о литературе — архинепререкаемо!

В противоположность Писареву Абрам Терц сопричастен литературе. Он пишет о ней. Но тут мы должны коснуться тревожной советской темы. Тема это — о советском хамстве, о советском охамлении и оживотнении человека.

В начале нашего рокового века Д. С. Мережковский написал известную статью — "Грядущий хам". За это предчувствие на него тогда резко напали: неверие в народ, в демократию, в революцию. Но вот сейчас, видя так называемый Сов. Союз и его сателлиты, мы должны признать, что напророченный "грядущий хам" уже давно пришел, комфортабельно рассевшись в полумире. В дали истории Мережковский тогда разглядел то, чего другие не видели.

Правда, Мережковский (вслед за Герценом) связывал нашествие грядущего хама с выходом на мировую арену "запад-

ного мещанства". "Мещанство победит и должно победить, — с грустью писал социал-барин Герцен, — мещанство — окончательная форма западной цивилизации". Но если б это было так! При такой победе мир не стоял бы сейчас на краю пропасти. Увы, это была жестокая историческая аберрация Герцена. Грядущий хам нежданно-негаданно пришел с равнин, "не мещанской" в представлении Герцена, России. И если пришедший хам-большевик еще не захватил мир целиком, то только благодаря сопротивлению "западного мещанства". На нем, на "молчаливом большинстве" так называемых, "мещан" еще слабо держится свобода и будет держаться пока обольщенные интеллектуалы, типа Сартра и Рассела, не предадут мир хаму. Умно и правильно писал о мещанстве Петр Струве обращаясь к русским революционерам: "*учитесь* у мудрого мещанства Европы". Он был прав. Но "учения" не последовало.

"Одного бойтесь — рабства, — говорит Мережковский в статье "Грядущий хам", — а худшего из всех рабств — мещанства, и худшего из всех мещанств — хамства, ибо воцарившийся раб и есть хам, а воцарившийся хам и есть чёрт — уже не старый, фантастический, а новый, реальный черт, действительно страшный, страшнее чем его малюют — грядущий князь мира сего, грядущий хам".

И в 1917 году в облике хлынувшего на Россию большевизма Мережковский сразу же, безошибочно узнал своего старого знакомого, напророченного им, но уже не "грядущего", а восходящего хама. Бежав (от хама) на Запад Мережковский всю свою жизнь здесь отчаянно призывал к борьбе против охамления России, а с ней и всего мира. Но его никто на Западе не слушал. А он — полвека тому назад — говорил то же, о чем говорит сейчас Западу А. И. Солженицын, к которому хоть и прислушиваются, но очень нехотя и с усмешкой. За эту усмешку Запад может дорого заплатить. В 1920-х г.г. Мережковский писал: "Первое и последнее слово Европы о большевизме: — "невмешательство". Россия лежит, как тяжело больной, без сознания, без памяти; сама не может встать. А Европа говорит: "не тревожьте больного, не приводите в чувство, не подымайте, не вмешивайтесь в русские дела". Это одно из двух: или бездонное невежество, или бесстыдная ложь".

II

Но вернемся к "Прогулкам с Пушкиным". Хотя разговору о них я предварительно хотел бы предпослать некое "введение в тему".

Не так давно со мной разговаривал советский эмигрант, третьей эмиграции. Он говорил примерно так: — "Вот вы тут пишете о неприятии большевизма, о необходимости его свержения и т. д. И правильно пишете. Все это точно, все это нужно. Но вы не знаете, что проблема ведь не только в освобождении от большевиков, как власти. Есть и другая, плотно сросшаяся с ним, проблема чрезвычайной важности. Это проблема сплошного охамления всей страны, связанная к тому же, с диким, неописуемым всеобщим пьянством. Десятилетиями партийная шайка спаивает весь народ сверху — донизу. Этого хамства вы здесь не чувствуете и не знаете, что это за страшный социальный бич. Ведь чудовишное хамство в СССР проросло всю страну *насквозь*. И это может быть социальной и культурной гибелью на века, а может быть и навеки. Вот, скажите, например, могли ли, скажем, Анна Павлова, Петр Аркадьевич Столыпин или Павел Николаевич Милюков "крыть в быту матом"? Не могли? Нет? Я то же думаю. А у нас кроют все: и премьер-министр, и столп литературы Михаил Шолохов, и прима-балерина, и члены Союза Писателей, и академики, и московские шоферы, и блатные, и фабричные работницы, и домохозяйки. И этот мат вовсе не какая-нибудь "экзотика", это *язык советской жизни*, язык быта, говорящий о градусе всеобщего охамления. Но не страшно, если бы дело было только в языке. Но ведь в Сов. Союзе охамлены человеческие чувства и человеческие отношения. Хамство большевизма, как серная кислота, десятилетиями проедало чувства чести, жалости, бескорыстия, благородства, искренности, честности, жертвенности, подлинной дружбы, настоящей любви. Всё охамлено. Вы скажете: — ну, а Солженицын, Сахаров, Шафаревич, Амальрик, Орлов, Буковский, Марченко, отец Дмитрий Дудко и многие другие? Правильно. И в этом нет ничего удивительного. Но общей картины это никак не меняет. Если в Содоме и Гоморре нашлось несколько праведников, конечно, они есть и в России,

даже в большем количестве. Но это же единицы, десятки, сотни, ну, тысячи, ну, скажем десять тысяч, пусть будет двадцать тысяч, сто, если хотите. Я же говорю о массе, о миллионах людей, о всей стране. И вот тут всеобщее охамление — явление совершенно страшное: духовно, душевно, культурно, политически, социально, всячески”.

Советский эмигрант говорил мне это в Америке, но этим Америки мне не открыл. Он говорил о явлении известном. Не упомянул он только о том, что хамство соприродно рабству. Одно психологически питает другое. Не даром библейский Ной, прокляв потомство Хамово, сказал, что будет оно “рабом рабов”. И “Прогулки с Пушкиным” — тому иллюстрация.

Характерно, что своим псевдонимом Синявский взял имя одесского босняка Абрашки Терца. В “Новом Журнале” публикуется повесть о московских диссидентах. Она правдива. Автор ее — женщина живущая в СССР, говорят, хорошо знала Синявского. И в его честь взяла тоже звучный псевдоним — Анна Герц. В повести, говорят, она выводит Синявского в образе художника Полушкина а жену его Марью, как — Дарью, освободившую Полушкина из концлагеря. Синявского КГБ тоже освободил из лагеря и даже сделал его советским вольноотпущенником, с бессрочной подорожной выпустив за границу. “Прогулки с Пушкиным”, как это ни странно, написаны в концлагере. Авторская пометка указывает: Дубровлаг, 1966-1968. За годы своего пребывания в концлагере Синявский написал там еще две книги — “Голос из хора” и “В тени Гоголя”. “Прогулки” изобилуют многими цитатами и сносками на соответствующую литературу о Пушкине. Как и почему зеку Абраму Терцу удалось в концлагере всецело отдаваться литературному творчеству — мы не знаем. Но — факт, что удалось. Ни Солженицыну, ни Шаламову в концлагерях это не удавалось. Помилуйте, но то были страшные сталинские времена, а не милые брежневские, в которые некоторых неугодных писателей, как, например, поэта переводчика Петра Богатырева убили просто на улице — проломили череп и кончено. А талантливейшего Вл. Войновича пытались отравить в гостинице “Метрополь”.

Это, конечно, чудесно, что в брежневских лагерях вместо “вкальвания кубометров” лесоповала и всяческих “строек” зеки

пишут поэзию и прозу. Но жаль, что ни Владимир Буковский, ни Валентин Мороз, ни множество других зеков ничем нас до сих пор не обрадуют из сотворенного ими в тюрьмах и концлагерях.

“Прогулки с Пушкиным” представляются не столько законченной работой, сколько каким-то черновиком: и композиционно, и стилистически недоработанным, но в конце концов это и не суть важно. В этой, на мой взгляд, именно хамской (в библейском смысле, конечно!) книге примечательно не то *что* о Пушкине написал Абрам Терц, а *как* он пишет о Пушкине.

В смысле *что* Терц не сказал ровно ничего нового, или оригинального. О творчестве Пушкина существует грандиозная литература и в ней множество чудесных работ, ну, хотя бы “Поэтическое хозяйство Пушкина” Владислава Ходасевича. В своей книге Терц не отделяет личности от творчества Пушкина. Он пишет и о том, и о другом. Пиша о личности Пушкина, Терц, якобы, хочет освободить Пушкина от мифов. Но это без него давно — 73 года тому назад! — сделано и сделано прекрасно Валерием Брюсовым. В своей книге “Мой Пушкин” в первой же статье Брюсов пишет: “Нам трудно представить себе жизнь Пушкина, как человека, как знакомого, с которым встречаешься, здороваешься, разговариваешь. Его жизнь столько раз была предметом мертво-ученых изысканий, и мы так вчитались в эти изыскания, что для нас Пушкин — какое-то отвлеченное, нарицательное слово, имя, объединяющее разные прославленные произведения, а не живое лицо. Между Пушкиным и нами поставлено слишком много увеличительных стекол — так много, что через них почти ничего не видно. Но слава Пушкина и значение его, столь же как позднейших исследователей, ослепляли и его современников, сверстников, писавших свои воспоминания о нем. В большинстве этих воспоминаний Пушкин тоже неживой, тоже отвлеченный. Приходится чутьем, вдохновением выбирать из рассказов и показаний современников, что в них верно до глубины и что только внешне верно — *угадывать* Пушкина”.

И Брюсов прекрасно “угадывает” Пушкина, давая *живой* образ Пушкина и человека и поэта. Терц же вместо образа

Пушкина невольно подает читателю *свой собственный портрет* — Абрама Терца — а уж никак не Пушкина. И вот тут, в смысле как пишет о Пушкине Терц, я думаю, он единственный во всей пушкиниане.

”Искусство *свято*, — писала Марина Цветаева, — о святости искусства у атеиста речи быть не может, — он будет говорить либо о пользе искусства, либо о красоте искусства. Посему настаиваю, речь моя обращена исключительно к тем, для кого — Бог — грех — святость — есть”. Мы согласны с Цветаевой — подлинное искусство — *свято*”.

Я вас любил, любовь еще быть может

В душе моей угасла не совсем;

Но пусть она вас больше не тревожит,

Я не хочу печалить вас ничем.

Я вас любил безмолвно, безнадежно,

То робостью, то ревностью томим.

Я вас любил так искренне, так нежно,

Как дай вам Бог любимой быть другим.

Имя человека — то-есть Пушкина — написавшего это стихотворение (и много другого на той же недосягаемой лирической высоте) для меня — *свято*. Я согласен с тезисом Цветаевой. А вот что — как бы в ответ Цветаевой пишет Абрам Терц: — ”Помимо религиозных эмбций в чистом искусстве есть привкус распутства. Недружелюбная* формула, примененная невзначай** к Ахматовой: ”барынька, мечущаяся между будуаром и моленной” — правильно определяет природу поэзии, поэзии вообще, как таковой, передает зыбкую сущность искусства в целом. К числу этих барынек принадлежала и Муза Пушкина”.

Признаюсь, прочтя это, я внутренне не мог удержаться от очень крепкого словца на букву м.....! Но, конечно, в этой резкости я не прав. Я погорячился. Я беру это слово назад. Абрам Терц не м....., он всего навсего — советский хамо-ху-

* Обратите внимание, как это ”нежно” сказано! А почему? Р.Г.

** Почему ”невзначай”? Жданов прекрасно знал, что говорил, наверное даже показывал ”хозяину”, Сталину, ”брульон” своего погромного выступления против Ахматовой и Зошенко, против даже тени свободы в литературе. А ”профессор Сорбонны” Синявский это цитирует, с этим недвусмысленно соглашаясь! Р.Г.

лиган. И в этом он не виноват. У подавляющего большинства людей бытие определяет сознание. И только у очень редких — сознание освобождается от бытия. Синявский не из таких. Раб Дубровлага восхитился тонкостью понимания искусства товарищем Ждановым. Это диктуется бытием и вполне нормально. А чего вы хотите? Чтоб он не восхитился? Но это было бы аномально. Вполне нормально, например, что в КЛЭ в статье о Николае Гумилеве Синявский сообщил, что "мечта Гумилева о 'подвиге' и 'геройстве' носила *реакционный характер*".

Это, конечно, идет от того же самого корня, что и: —
 "Пушкин, Лермонтов, Некрасов
 Трубадуры чуждых классов!"

Природу поэзии (и искусства вообще) А. А. Ахматова понимала не так, как Жданов и Терц. В своем "Слове о Пушкине" она писала: "Его дом стал *святыней* для всей его родины и более полной, более лучезарной победы свет не видел... Он победил и время и пространство".

Но может быть Ахматова и Цветаева поэзию просто не понимали? Во всяком случае профессор Сорбонны Терц утверждает, что Пушкин был просто напросто... Хлестаков! Терц пишет (сначала цитируя слова Хлестакова): — "Я признаюсь сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стихишки выкинутся... У меня легкость необыкновенная в мыслях". Но шутки в сторону, — кончив цитату, говорит Терц, — налицо глубокое, далеко идущее сходство! Как это ни странно выглядит /!/, но если не ездить в Африку, не удаляться в историю, а искать прототип Пушкину поблизости, в современной ему среде, то лучшей кандидатурой окажется Хлестаков. Человеческое *alter ego* поэта".

После столь оригинального проникновения Абрама Терца в личность Пушкина, мы уже знаем, что — "И всюду страсти роковые/ И от судеб защиты нет!" или "И с отвращением читаю жизнь мою /Я трепещу и проклиная/ И горько жалуясь и горько слезы лью/ Но строк печальных не смываю/", и многое другое написал не Пушкин, а Иван Александрович Хлестаков. А вот бедный Александр Блок, пища свое знаменитое полу-

предсмертное стихотворение о Пушкине, не знал, что пишет о Хлестакове:

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.

Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда

Вот зачем в часы заката
Уходя в ночную тьму
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.

И Тютчев не знал, что он пишет о Хлестакове:

Тебя, как первую любовь,
России сердце не забудет.

Я думаю, на кафедре в Сорбонне сам Терц — что-то в роде Хлестакова! Но оставим Хлестакова в покое. У Терца есть еще более глубокие проникновения в личность и творчество Пушкина. Например, он сравнивает его... с собакой. Конечно, не с дворнягой, не с кабысдохом, нет... с болонкой. С отменной стилистической эlegantностью Терц пишет: — "Читая Пушкина, чувствуешь, что у него с женщинами союз, что он свой человек у женщин — притом в роли специалиста, вхожего в дом в любые часы, незаменимого, как портниха, парикмахер, массажистка (она же сводня, она же удачно гадает на картах), как модный доктор-невропатолог, ювелир или болонка (такая шустрая, в кудряшках)".

Читаешь это и думаешь: каким же надо быть охамленным пошляком, чтобы написать подобную развязно-разухабистую чепуху. И о ком? О Пушкине!

Писарев поносил Пушкина, но куда же ему до Абрама Терца. Писарев был человек общества, а не хулиган. Ну, что там Писарев писал? Ну, писал об Онегине (а на деле пускал стрелы в Пушкина): "Игру страстей он испытал настолько,

насколько эта игра входит в "науку страсти нежной". О существовании других более сильных страстей — страстей направленных к идее, он даже не имеет никакого понятия... Кто чувствует подобно Онегину, того, разумеется, тревожит призрак невозвратных дней, то-есть тех дней, когда случалось видеть вблизи ножки, ланиты, перси и разные другие подробности женского тела".

Тут присутствует резвость пера, но не хамство же! Терц на подобную тему пишет: "Ни у кого, вероятно, в формировании стиля, в закручивании стиха не выполнял такой работы, как у Пушкина, слабый пол. Посвященные прелестницам безделки находили в их слабости оправдание и поднимались в цене, наполнялись воздухом приятного и прибыльного циркулирования (что это такое? я не понимаю этого смердяковского стиля, Р.Г.). Молодой поэт в амплуа ловеласа становится профессионалом. При даме он вроде как бы при деле... Кто же соблюдает серьезность с барышнями, один звук которых (какой же это звук?! Р.Г.) тянет смеяться и вибрировать всеми членами (что за "вибрирование всеми членами"?). Сам объект воспевания располагал к легкомыслию и сообщал поэзии бездну движений ("бездна движений"?! пошадите, профессор Терц!)... На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох..."

Тут мы в праве упрекнуть профессора Терца не только уж в исключительной пошлости стиля, но и просто в безвкусовой графомании. Впрочем, чего же вы хотите? Соцзадача Терца стара-престара, ее еще в 20-х годах выбросил, как лозунг, основоположник советского литературного хамства — Вл. Маяковский*: "а почему не атакован Пушкин?". Вот полублатной профессор — Пушкина и "атакует на все сто"! — не стыдясь своего позора. Впрочем, на эдаком "геростратовом позоре" некоторые ведь и делают литературное имя.

Кто, например, помнит писателя Берви (Флеровского)? А ведь его оценка романа Л. Толстого "Война и мир" вошла в анналы русской истории литературы. О "Войне и мире" Берви

* О хамо-хулиганстве Маяковского см. "Воспоминания" И. Бунина и статьи Владислава Ходасевича.

(Флеровский) написал, что это не роман, а "рассказы пьяного унтера". И тем (держась за Толстого) Берви удержался хотя бы в памяти литературоведов. То же произошло с критиком Навалишиным. Его никто не помнит. Но Навалишин разнес в свое время "Анну Каренину", как никчемный "адюльтерный роман", и снисходительно добавил, что, слава Богу, у графа Толстого нет литературного таланта, а то бы "адюльтерный роман" мог быть и неприятнее. И этим Навалишин избежал забвения.

Кстати, в "Прогулках" "уничтожая Пушкина", Терц вслед за Берви и Навалишиным, — так, походя, пренебрежительно "заушил" и Льва Толстого. Охаивая *огулом* всю русскую литературу 19-века (чего с ней церемониться эдакому экстраваганту?), Терц презрительно перечисляет эти "протоколы с тусклыми заглавиями "Бедные люди", "Мертвые души", "Обыкновенная история", "Скучная история"... Один артист не постеснялся свой роман так и назвать "Жизнь". Другой написал "Война и мир" (сразу вся война и весь мир!)"

Остановимся на последней фразе. Она характеризует Терца. Да, конечно, Толстой писал и о "войне" и о "мире". Но что значит — "сразу вся война" и "сразу весь мир"? Никакой такой "всей войны" нет, никогда не было и быть не может. А какой может быть — "сразу весь мир"? Что это такое? И почему — "сразу"? Терц пишет нагло, без всякой ответственности перед читателем, "как шло так и ехало", пусть едят. Но "геростратов позор" и не требует большего. Слава Берви (Флеровского) и Навалишина не дает вероятно Синявскому спать. Держась за Пушкина и Терц хочет не оказаться забытым. Поможем ему. Отметим еще какие-нибудь "*нёрлы*" его мыслей и стиля.

У Марины Цветаевой в сборнике "Проза" есть дифирамбическая статья "Мой Пушкин". Статья, как всегда у Цветаевой, полна бескрайностей и безмерностей. Но — чудесная, как выкрик любви, как выкрик преклонения перед Пушкиным. Цветаева в ней пишет: "Пушкин был негр ... От памятника Пушкина у меня и моя безумная любовь к черным, пронесенная через всю жизнь... В каждом негре я люблю Пушкина...". Это, конечно, чрезмерновато, но хорошо по своей любви.

О Пушкине-негре пишет и Терц: "Негр — это хорошо... Это

уже абсолютно живой, мгновенно узнаваемый Пушкин... Безупречный пушкинский вкус избрал негра в соавторы, угадав, что черная *обезьянообразная харя* пойдет ему лучше ангельского личика Ленского... Но разве у Пушкина была "обезьянообразная харя"? Пушкин был некрасив, у него были и африканские черты. Но — "обезьянообразная харя"? Об этом мы впервые узнаем от Терца. И вообще "обезьянообразная харя" не похожа ли она на черносотенную "жидовскую морду"? Помоему, похожа. По сути своей это то же самое.

Вспоминаю интересное происшествие. Я работал редактором на радиостанции "Свобода" в Нью Йорке. И вот однажды заметил среди сотрудников какое-то оживление, переговоры, смех. Оказывается, кто-то в Объединенных Нациях записал на пленку частный разговор советского представителя Зорина. И в студии у нас эту пленку "проигрывали". Грубый хам, старый чекист, ставший "дипломатом" Зорин был тогда председателем какой-то комиссии и так как члены этой комиссии всё не собирались, Зорин нетерпеливо говорил: — "Ну, где же эти чернокожие, чорт возьми... Послушайте, приведите же хоть одного чернокожего". Слово "чернокожие" Зорин произносил с тем хамским оттенком пренебрежения, будто едва удерживаясь, чтоб не сказать похожее, но очень грубое (черно.....), как в Сов. Союзе эти господа называют "нацменов".

Неужели и у Терца "обезьянообразная харя" вырвалась из зоринских источников? Перед "харей" Терца Цветаева бы онемела. Но это — разность культур, разность России.

Пойдем дальше. Посмотрим, что пишет Терц о трагической смерти Пушкина? Тут, перед трупом поэта, Терц уж наверное снял шапку. Напрасное ожидание. Терц и тут хулиганствует и хамствует: — "Никто так глупо не швырялся жизнью, как Пушкин. Но кто еще эдаким дуриком входил в литературу? Он сам не заметил, как стал писателем, сосватанный дядюшкой под пьяную лавочку". Вот это стиль!! Прямеохонько — из блатного барака Дубровлага! И далее, в том же стиле: — "Пушкин умер в согласии с программой своей жизни и мог бы сказать: мы квиты... мальчишка и погиб по-мальчишески... колорит анекдота был выдержан до конца и ради пушского остроумия, что ли,

Пушкина угораздило попасть в пуговицу. У рока есть чувство юмора...”

Сомневаюсь, чтобы у рока было чувство юмора. Хотя в случае Терца у судьбы, пожалуй, чувство юмора было. Покорный раб Дубровлага, вольноотпущенник КГБ, прямиком прыгнул на кафедру Сорбонны... Но на Западе мы привыкли и не к такому юмору.

Смерть Пушкина, которого, по свидетельству современников, оплакивала вся Россия, Терц оригинально называет — “заключительный фортель”. И в этом “заключительном фортеле”, в семейной драме Пушкина, Терца, собственно интересует одно: — “ну, а все-таки, положила руку на сердце, дала или не дала?”. Конечно, Терц мог написать — “изменила иль не изменила?”. Но Терц умышленно берет хамское, проституточное слово. В советской литературе много примеров скотства. На этом примере Абрам Терц догоняет Демьяна Бедного.

Мне неприятно было писать об этой грязной, хулигано-хамской и, в сущности своей, ничтожной книжке. Общее впечатление от “Прогулок” точнее всего можно выразить словами самого же Терца. Правда, словами совершенно омерзительными. Но, да простит мне читатель, из песни слова не выкинешь. В своей повестушке “Любимов” он в стиле “ультра модерн” — пишет: “Пердит, интриган, в рот”. Именно этот смрад ощутит каждый читатель, если осилит “Прогулки” Абрама Терца.

Роман Гуль

ЭСТОНЕЦ И КАМЕНЬ

Сыпучий снег летел в нордосте
И каменел в тисках луны.
Ледник пахал поля до кости
И щедро сеял валуны.

Они твой лемех ждут со злостью,
Украдкой, точно колдуны.

Но вот столетья эст упрямый
Катал окатанный гранит,
И розовато-серой рамой
Теперь валун поля хранит.

И плуг идет легко и прямо:
Упрямый труд — ты сам гранит.

ТОТ, КТО ОСТАЛСЯ

Враг уже на эстонской земле —
Некуда отступать.
Слева сосед — на сосновом комле,
Справа — пустая гать.

Сзади стоит отцовский дом.
Он пока ещё цел.
Каждый куст здесь стрелку знаком.
В сердце — каждый прицел.

— Умирили викинги, стоя,
Неприменно с мечом в руке.
У него наследство простое:
Ледяная решимость в зрачке.

И всего дороже на свете
Ему вот эта земля,
И вот чахлые ёлки эти
И в камень свои поля.

И высокий удел немногих
Обозначен ему в облаках:
Умереть на своем пороге
С трёхлинейной винтовкой в руках.

Борис Нарциссов

НА БЕРЕГАХ СЕНЫ

О ШАРШУНЕ

То "воскресенье" на II бис Колонель Боннэ было, как ему и полагалось, многолюдно и многоречиво. Мережковский ожесточенно спорил с Адамовичем, Поплавским, Терапиано, вдохновенно, — с помощью россыпи цитат всевозможных древних авторов, — отстаивая свою точку зрения. Георгий Иванов, сидевший, как всегда, со стороны правого, менее глухого уха Зинаиды Николаевны, вел с ней разговор о стихах.

Звонок, и Злобин вводит в столовую нового гостя, шедшего за ним какой-то совсем особенной походкой. И весь он был какой-то совсем особенный, резко отличавшийся от других посетителей "воскресений". Особенными были и его манера наклонять голову и его узкие очки в металлической оправе, — в те дни большие очки в широкой роговой оправе уже входили в моду, — и его руки, с широко отставленными большими пальцами, которыми он странно жестикулировал.

Я сразу почувствовала, что он чужой, а не свой, не "составная часть высокого собрания", а иностранец, и это впечатление еще увеличилось, когда он замедленно, с перерывами и паузами произнес несколько слов, здороваясь с Зинаидой Николаевной и пожал ее руку, явно высоко поданную для верноподданнического поцелуя.

— А, Шаршун, как хорошо, что вы вспомнили наконец-то и нас, — любезно протянула она, приветствуя его.

Шаршун. Так вот кто он. О Шаршуне, авангардном художнике, поселившемся в Париже еще до войны 14 года, я уже

слыхала как о большом оригинале. И действительно, в оригинальности ему отказать было нельзя.

Злобин усадил его на свободное место у стола и принес ему чашку чая.

Спор продолжался. Никому и в голову не пришло объяснить новопришедшему, чем спор был вызван. Впрочем, обмен мнений — являлся необходимой, если не главной частью программы "воскресений". Спор как спорт, спор ради спора. Но исключительно на высокие темы. Никакой обывательщины Мережковский не переносил и не допускал.

Шаршун сидел, как все мы, за тем же столом, но мне казалось, что он своим присутствием нарушает магнетическую цепь, образованную присутствующими, что он не сливается гармонически с остальными, а сидит сам по себе, отделяясь от всех, как будто выше, в стороне от стола.

Это первое поразившее меня тогда смутное впечатление и потом не покидало меня. Мне всегда казалось, что Шаршун находится не на одном уровне с остальными, а немного выше их, или немного в стороне от них. Никогда не вместе с ними, а всегда сам по себе. Одиноко. Один. Всюду не свой, а чужой. Другого измерения или с другой планеты — чужой и непонятный.

И это не мешало нам всем, с Зинаидой Николаевной и Мережковским во главе, относиться к нему с большой симпатией и уважением. Пожалуй эта его отчужденность и особенность и вызвала уважение к нему. Был он к тому же добрый и отличный товарищ, готовый помочь нуждавшимся, хотя он сам тогда едва-едва мог сводить концы с концами, и жизнь его была очень нелегка. Но об этом я слышала от других, сам он никогда ни на что не жаловался.

Я знала, что он антропософ — в те дни об антропософии я почти ничего не слыхала и не интересовалась ею.

Знала я так же, что он не только художник, но и писатель. Адамович в одном из своих критических подвалов в "Последних Новостях" предсказал ему блестящее литературное будущее, через сто лет.

Но когда нашелся настоящий издатель, поверивший Адамовичу и пожелавший выпустить роман Шаршуна,

Адамович, смеясь, отсоветовал ему это: — “Что вы, что вы. Ни в коем случае. Верный провал”. И роман Шаршуна так и не вышел в свет, но отрывки его печатались в журнале “Числа”. Мне они нравились, но ни читатели, ни критики не обращали на них большого внимания. Шаршуна печатали скорее из-за личной симпатии к нему.

Все же “Числа” издали в 34 году на ротаторе в количестве 200 экземпляров его “Долголикова”, которого Шаршун назвал поэмой, посвятив ее Георгию Адамовичу. В 38 году там же и тем же способом, в том же количестве вышло его “Небо-колокол”, на этот раз посвященное “Поэту Георгию Иванову”. Впоследствии он сам издал сборник своих рассказов и ряд листовок “Клапан”, начав ими своего рода зарубежный самиздат.

Все это читалось довольно вяло и настоящего успеха — хотя тут было много интересного — не имело. Но сам Шаршун никогда и нисколько не сомневался в своей гениальности, как художника так и писателя, и спокойно, открыто и без ложной скромности заявлял об этом в разговорах.

Однажды явившись на очередное, очень бурное “воскресенье” он, еще не успев поздороваться ни с Зинаидой Николаевной и Мережковским, ни с посетителями, заявил не без некоторой торжественности:

— Господа, я всю ночь не спал и пришел к неожиданному выводу. Я не только гениальный художник и прозаик, я еще и гениальный поэт. Вы не можете с этим не согласиться. Вот послушайте. И он, сбиваясь и запинаясь, заикаясь от волнения, прочел сложное и длинное стихотворение.

На аудиторию ни его провозглашение себя гениальным поэтом, ни его стихотворение не произвели должного впечатления. Только одна Зинаида Николаевна капризно протянула:

— Поздравляю. Вот и у нас появился свой Элюар и русский сюрреалист или подреалист. А мы здесь очень страстно обсуждаем “Распад Атома” Георгия Иванова. Садитесь, Сергей Иванович, скорей и слушайте. Хотите моего кофе?

Кофе она пила одна из маленького кофейника. Остальным, в том числе и Мережковскому, полагался чай. Предложение выпить “ее” кофе воспринималось как проявление монаршей

милости. Шаршун от нее даже слегка обиженно отказался и сел насупившись. Дальнейших отзывов о его "гениальном" стихотворении не последовало, все были слишком увлечены разбором "Распада атома", названного Мережковским "изумительнейшей" книгой двадцатого века.

Стихотворения Шаршуна я не запомнила. На меня оно не произвело большого впечатления. Не могу ручаться, но мне кажется, что оно осталось его единственным поэтическим произведением того времени. Кажется, раньше он писал стихи.

В тот вечер мы, покинув Мережковских, собрались все в кафе, прозванном почему то Ла-ба, и тут, в отсутствие Шаршуна, долго смеялись над его выступлением. Что он действительно гениален в какой бы то ни было области никому из нас и в голову не могло тогда прийти. Его считали слегка тронувшимся милым чудачком.

С живописью его я почти не была знакома. Только однажды побывала у него в студии, и он в тот день подарил мне одну из своих картин. Она погибла во время бомбардировки моего дома в Биаррице, и я до сих пор жалею об этом.

Мы встречались с Шаршуном довольно часто на "Воскресеньях" и на Монпарнассе. Георгий Иванов — очень строгий к людям — высоко ценил его как писателя и человека. Но настоящей дружбы у него, как и у меня, с Шаршуном не получилось.

Время шло. Я почти потеряла его из вида в военные и послевоенные годы. И только когда я в 58 году переселилась в предместье Парижа, в Ганьи, я услышала, что Шаршун стал знаменитым художником, и это очень меня обрадовало.

Но моя встреча с ним произошла значительно позже — в 73 году, на одном из "Подмедонских вечеров" в квартире Ренэ Юлиановича Герра, нашего "русского француза" как я прозвала его.

Ренэ Герра чистокровный француз, хотя по чистоте речи и по своей бороде лопатой может легко сойти за стопроцентного русского. Его молодая жена, дочь русских эмигрантов, кажется гораздо меньше русской чем он.

Ренэ Герра литературовед, влюбленный — не нахожу более подходящего слова — в русскую зарубежную литературу и

живопись. Его квартира настоящий музей и хранилище тысяч книг, рукописей, писем, фотографий и документов, написанных в эмиграции.

Эти "Подмедонские вечера" по своему высокому культурно-художественному уровню могли бы даже конкурировать со знаменитыми "Воскресеньями" Мережковских. У них для будущего, к тому же, одно несомненное преимущество — все, что говорилось на них, записывалось Ренэ Герра на магнитофоне, тогда как, к сожалению, о том, что говорилось на "Воскресеньях", записано лишь в памяти немногих, еще оставшихся в живых, участников их.

Председателем "Подмедонских вечеров", устраивавшихся приблизительно раз в два месяца, был Юрий Терапиано, интересно, благодаря своему многолетнему довоенному опыту, ведший их и умевший создавать высокоинтеллектуальную атмосферу.

На этих собраниях из писателей и поэтов бывали Я.Н. Горбов, С.Р. Эрнст, В.С. Варшавский, А.Е. Величковский, И.П. Шувалов, Г.Е. Озерецковский, А.С. Шиманская. А.В. Ровская, Е.Ф. Рубисова и др. Из художников Ю.П. Анненков, Д.Д. Бушен, М.Ф. Андреевко, Н.И. Исаев и Сергей Иванович Шаршун.

Собрания эти делились на две части — первая посвящалась докладу или новому произведению какого-нибудь из посетителей, разбору его и обмену мнениями. Выступали и художники — Шаршун и Андреевко, Анненков, тоже читавшие свою прозу. Бывали так же вечера, посвященные поэзии. Помню один особенно удачный, на котором читали свои стихи Софья Прегель, А. Величковский, приехавшая с юга Е.Л. Таубер и др.

Вторая часть была посвящена ужину, протекавшему очень весело. Очаровательная молодая жена Ренэ Герра, успевшая уже стать известным врачом, была к тому же хлебосольной хозяйкой, обладающей большими кулинарными способностями. Эти ужины, вкусные, и очень веселые, немало способствовали успеху "Подмедонских вечеров".

Вот на этих ужинах я, сидя рядом с Шаршуном, и возобновила с ним прежние отношения и даже гораздо лучше чем прежде, узнала его.

Итак — Шаршун передо мной. Первое, ошеломляющее

впечатление — удивление, похожее на страх. Как же так? Значит, времени нет?

“И уводит легонький след —

Прямо в молодость, в.... нет, не в Летний Сад, а в довоенный Париж.

Да. Прежний Шаршун. Абсолютно такой, каким сохранила его моя память. Не постаревший, не облысевший, не растолстевший, не похудевший, не сгорбившийся. Совсем точь в точь такой же, как до войны. Мне даже кажется, что на нем все тот же самый потертый пиджак и старый, криво завязанный галстук. Я просто глазам своим не верю. Ведь за это время, те немногие, которые еще не умерли, так изменились, что и узнать нельзя.

А Шаршун совсем прежний. Только волосы седые. Но это почти незаметно — ведь и прежде они были неопределенного пегого цвета. А может быть он уже и тогда был седым?

Я смотрю на него и вдруг мысленно переношусь в “Воскресенья” на рю Колонель Боннэ и вижу Зинаиду Николаевну, как всегда набеленную и нарумяненную, рыжую, замысловато и старомодно причесанную, в зеленом платье с неизменным лорнетом в тонкой руке. Справа от нее Георгий Иванов, слева красивый, черноглазый, ставший под конец ее жизни ее лучшим молодым другом Виктор Мамченко, для которого она и “изменила” прежним молодым друзьям Адамовичу и Георгию Иванову. Дальше по кругу неистовый Бахтин, черноволосый, тонкий Терапиано, Фельзен, похожий на прибалтийского немца, Поплавский в черных очках и сам Мережковский, вдохновенно вешающий что-то об Атлантиде.

И все они умерли, умерли. Все, за исключением Шаршуна, Терапиано и меня. И Мамченко, продолжающего существовать не живым и не мертвым — парализованным и немым.

Мне становится страшно, я закрываю на мгновение глаза и снова открываю их, чтобы вернуться в сегодняшний день, чтобы почувствовать себя здесь и “сейчас”, а не там, в прошлом. Здесь, с Шаршуном, вынырнувшим прямо из прошлого.

Он, общепризнанный гениальный художник, которого Пикассо считает одним из лучших, здоровадается со мной так просто, будто мы виделись только вчера или неделю тому назад.

— Здравствуйте. Как поживаете? — без обычного, “как я рад, что наконец... Сколько зим...” и т.п.

Я, ответив, что поживаю, как всегда, очень хорошо, не высказываю ему своего изумления отсутствием перемен в его внешности. И про себя тут же думаю — у него все особенное. Обыкновенно люди меняются и очень сильно только внешне, а внутри остаются все теми же, застывают в своих чувствах, мыслях и взглядах, и в этом их трагедия. А он, наоборот, внешне все такой же, а внутри у него должно быть происходят революции и землетрясения, не оставляющие следов снаружи.

Мне хочется спросить его, так ли это, но я не решаюсь задать ему такой вопрос. А он говорит, что не пропускает ни одного “Подмедоннского вечера”, что он ведет затворническую, одинокую трудовую жизнь, и для него эти “вечера” настоящий праздник. Особенно оттого, что здесь говорят по-русски, ведь ему приходится встречаться только с французами.

В один из “Подмедонских вечеров” он, недавно вернувшись из поездки на остров Галапагос, делился с присутствующими своими впечатлениями, такими оригинальными, непохожими на привычные рассказы и описания путешествий, что я, слушая его, вся превратилась в слух.

Галапагос открыл ему, по его словам, не только новый мир красок и света, но и новый взгляд на живопись. В 87 лет! Это похоже на чудо. Он говорит об этом просто, увлекательно, искренне, без хвастовства и самолюбования, как о чем-то вполне естественном.

— Всё стало новым для меня. И я сам как будто стал новым.

В тот же вечер я, как и другие присутствовавшие, получила приглашение на верниссаж его выставки в галлерее Ля Сэн, и мы вчетвером, А. Шиманская, Ю. Терапиано, Я. Н. Горбов и я, отправились туда в назначенный день. Результат этого нашего посещения — моя статья в “Русской Мысли”.

Эта статья непонятно чем и почему, восхитила Шаршуна. Настолько восхитила, что он стал читать ее каждую ночь перед сном, что уже совершенно невероятно. Когда он рассказал мне об этом, то назвал даже точно число этих своих чтений. — Я читал вашу статью двадцать семь раз и еще буду читать! Спасибо!

С того дня, как я побывала на верниссаже "Белых Симфоний" Шаршуна и прочла монографию Герра о нем, я стала постоянно думать о нем и о его творчестве. Мне хотелось узнать того нового, прославившегося Шаршуна, увидеть его новые картины. И вот 17 июня — в незабываемый для меня день — Ренэ Герра повез меня и Я. Н. Горбова в Ванв, в мастерскую Шаршуна.

Мастерская его — маленький особнячок в саду. Перед ним две стройные, прямые березы. Почему-то во Франции березы кособоки, мучительно изогнувшиеся, а у этих чисто "русская стать". Шаршун, должно быть, очень любит их.

Большая студия с огромным окном. Ренэ Герра, сверкая белозубой улыбкой и окладистой черной бородой, ловко и хозяйственно расставляет полотна по мольбертам. И вот они перед нами.

Несколько совершенно темных полотен, с солнцем в правом верхнем углу, а в центре солнца маленький крест. "И вчерашнее солнце на черных носилках несут", — вспоминаю я. Остальные — ибисы, моржи, пингвины на фоне тропического пейзажа.

Неужели их написал Шаршун? Даже не верится, так они непохожи на все, что он делал до сих пор, так они, как будто, идут вразрез с его прежним творчеством.

Я вспоминаю, как при нашей встрече после долгой разлуки подумала: внешне он совсем такой же, но внутри в нем наверное происходят революции, катаклизмы и землетрясения.

И теперь я вижу, что была права — революции, землетрясения, не оставляющие камня на камне, ломающие, вычеркивающие все старое начисто во имя нового. У него редчайший дар не только возрождаться, не только магически преобразовать видимый мир, но как бы заново создавать его.

Эти фламинго, пингвины и моржи казалось бы — реализм. Но они так же далеки от реализма в его обыденном определении, как от абстрактности. Это магический реализм. Это новый Шаршун. Другого названия не нахожу.

Шаршун в 88 лет, увидев мир чистыми, невинными, младенческими глазами, с помощью всего своего, накопленного за столько лет мастерства сумел его изобразить и передать.

Так часто повторяемая художниками фраза: "важно не

только то, что на картине, а и то, что за ней”, всплывает в моей памяти.

Глядя на картины Шаршуна я мысленно добавляю — не только что “за” но и “вокруг” картины важно. Мне кажется, что я вижу вибрирующий вокруг них, похожий на сияние воздух. Нет, они не исчерпываются тем, что на них изображено. Здесь не только то, что изображено, здесь запечатлено еще и впечатление от изображенного, и это, может быть, важнее всего.

Мы расписываемся в толстом альбоме. Ренэ Герра снимает нас на фоне картин и рядом с ними.

И вот уже надо уходить. Шаршун провожает нас до автомобиля. Идет мелкий дождь, но Шаршун непременно хочет проводить нас.

Ренэ Герра снова нас снимает, — у него должно быть не меньше ста фотографий Шаршуна. Мы прощаемся — до осени. Мы осенью все снова встретимся. Непременно. — До свидания. До свидания.

Но встретиться с Шаршуном мне больше не пришлось. 17 июня 1974 года я видела его в последний раз.

Ирина Одоевцева

ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Мы печатаем письма Марины Цветаевой к художнице Л.Е. Чириковой, дочери известного писателя Евгения Николаевича Чирикова, с ее вступлением и кратким очерком о Марине Цветаевой ее сестры Валентины Евгеньевны, которая хорошо знала М.И. Цветаеву. За весь предоставленный нам материал мы приносим большую благодарность Л.Е. Чириковой. РЕД.

К ПИСЬМАМ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ.

Меня судьба столкнула с Мариной Цветаевой в 1922 году в Берлине. Я приехала туда из Египта, где провела два года в Каире после бегства из России. Мне посчастливилось тогда сотрудничать (в частности — заниматься графикой) с моим учителем, художником Билибиным. В Берлине в эти годы русская литературная жизнь была очень оживлена, было много русских издательств, выходили газеты, несколько журналов. Я сразу включилась в работу делать обложки и шрифты для издательств. В том числе я сделала цветную обложку и заставки для поэмы М. Цветаевой, "Царь Девица." Мне кажется, сблизило нас с Цветаевой одинаковое мироощущение, что кругом всё не так, как нужно, нереально, а значит, есть что-то другое, настоящее. Очень скоро М.И. со своей дочерью Алей уехала из Берлина в Чехию к мужу, Сергею Эфрону. Они поселились недалеко от Праги в посёлке, носящем ироническое название "Мокропсы." Поблизости во Виенорах тогда жила

наша семья, писателя Е.Н. Чирикова. Марина Ивановна часто с ним встречалась, читала свои стихи моему отцу и сестре. В Берлине мне пришлось тогда выполнять ряд поручений для М.И. с издательствами.

Одно из писем М.И. является ответом на "конспиративный заговор", как выволить книги и рукописи, которые одно издательство бесцеремонно не возвращало. Но вскоре я неожиданно покинула Берлин и уехала в Париж. Последующие письма М.И. уже направлялись в Париж. М.И. очень хотела меня познакомиться и сдружить с кн. С.М. Волконским, с этим действительно необыкновенно интересным человеком. Знакомство это состоялось, но дружба вышла мимолётной, т. к. я также быстро покинула Париж и уехала в Америку. Здесь жизнь закружила меня, и наша переписка оборвалась. Как грустно теперь перечитывать письма М.И. Уже тогда ей хотелось совсем уйти из жизни и, как горько подумать, что около нее никого не оказалось, чтобы удержать её в роковой момент, когда она наложила на себя руки!

Л.Е. Чирикова

P.S. Прилагаю воспоминания моей сестры Валентины Евгеньевны, относящиеся к тому же периоду. Л.Ч.

КОСТЕР МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Перечитав письма Цветаевой к сестре, мне захотелось их несколько дополнить — рассказать, какой я помню Марину Цветаеву и каким я вижу ее внутренний облик.

У нее было два взгляда и две улыбки. Один взгляд, как будто сверху — тогда она шутливо подсмеивалась. Другой взгляд — внутрь и в суть и — улыбка разгадки, улыбка мгновенно сотворенному образу.

У нее был собственный стиль одежды и прически — вне моды, вне времени: рубашка, перевязанная поясом простым узлом; волосы — стриженные — не украшение для лица, а как оконный пролет в мир; обувь — грубоватая, на низком каблуке: туфли-вездеходы. И все так: чтобы не мешало, не отвлекало.

Она любила ходить по горным тропинкам одна или вдвоем. Я разделяла ее любовь к этим "уводящим" тропинкам. Легкая фигура Марины Цветаевой, шагающей решительно и ритмично, словно с прицелом на большие расстояния, это — силуэт юноши-странника-послушника. Она и была послушником своего призвания:

"Быть мальчиком твоим светлоголовым
— О, через все века!
За пыльным пурпуром твоим брести в суровом
Плаще ученика"

.....
Улавливать сквозь всю людскую гуцу
Твой вздох животворящ"

(Стихотв. "Ученик" 1921 г.)

С какими бы людьми не встречалась Марина Цветаева, она искала в них "вдох животворящ" или сразу безнадежно относилась к "людской гуце". Перед ее взглядом человек представлял внутренне обнаженным: она мгновенно составляла как бы формулу его человеческой сути.

Цветаева мимоходом высказывала вслух свои мысли-формулы, как-будто стенографически записывая за жизнью: несколько отрывисто брошенных слов, но так много в себя вмещавших. При этом в голосе ее слышался умный смешок и как бы, удары молотка, мимоходом забивающего гвоздь там, где нужно. Стиль ее разговорной речи был тот же, что в ее творческой прозе.

Боль человеческую от неприятия жизненной правды (а в сущности — ее лжи) Марина Цветаева ощущала в других людях, как ей родственное. Когда я уезжала из Чехии, она подарила мне на вокзале свой сборник стихов "Ремесло" с такой надписью: — "Валентине Евгеньевне Чириковой — моей сестре в болевом, т.е. в единственно верном и вечном — эту, как говорят, радостную книгу, а по мне совсем не книгу!

От всего сердца Марина Цветаева"

Творцы со счастливой жизненной судьбой стоят ногами на земле, а головой уходят в небо. Но Марина Цветаева крепко стоять на земле не умела, что сама сознавала и чего не

хотела, ибо презирала все минутное и злободневное. В этом, мне думается, — исток трагизма ее жизненной судьбы. Не на месте она чувствовала себя везде, вообще — в жизни.

По своей одержимости творчеством, по неуклонной ему преданности, Цветаеву можно сравнить с Ван-Гогом. Ван-Гог жил на содержании младшего брата и был за это презираем обывателями как бездельник и запойный никчемный рисовальщик. Цветаева с ее образованием, блестящей памятью, прекрасным знанием французского и немецкого языков, могла бы где угодно создать отличную материальную базу для своей жизни. Но изменить своему призванию — изменить себе — она не могла. Цветаева терпела нужду, неустроенность, презрение добропорядочных хозяев, косившихся на ее неспособность быть, как все они: уметь чисто и быстро вымыть пол, старательно приготовить обед, не упустить заработать деньги. Они ополчились на нее за скверный уход за жилищем, из которого стали выселять ее судом. А в этом жилище главным персонажем был грубо сколоченный письменный стол.

Неустроенность жизни, тяжесть быта, невозможность писать по вдохновению — еще большие мучили Цветаеву во Франции, когда нужно было растить маленького сына и у мужа кончилась его чешская студенческая стипендия.

Вопль страдания слышится в ее письмах к моей сестре, в ее жажде возмездия, в ее вере в тот час, когда "будут судимы судьбы", презиравшие ее, в ее вере в день ее оправдания и ликования, вере в свое бессмертие.

Как-то по поводу самоубийства Цветаева при мне сказала так: "Одному человеку не хватает одной жизни, другому — ее слишком много!".

В Цветаевой слишком много было неприятя того, что существует на земле! Пророчески звучат конечные строки ее стиха:

"(О, этот стих не самовольно прерван! Нож черезчур остер!)

И — вдохновенно улыбнувшись — первым
Взойти на твой костер."

В. Чирикова

Мокрые Псы, 4-го нов. авг. 1922 г.

Дорогая Людмила Евгеньевна!

Пока — два слова. Еще не устроилась, живем в Мокрых Псах, в чужой комнате. Нынче переезжаем к леснику. Это очень высоко, совсем в горах, в солнечную погоду будет прекрасно.

Людей — никого.

Я всегда радуюсь новому, буду играть (сама с собой и сама для себя) — лесную сказку с людоедом, лесником и ручными ланями.

Ваших видела два раза, Вы не похожи ни на сестру, ни на брата, Вы старше (внутренне), более выявлены. Ходили с Вашим братом нынче к леснику (С.* боялся), а вчера вечером была у них в гостях и я съела все вишни из под наливки.

Эти деньги — мой немецкий остаток, постепенно перешлю Вам все, если можно — купите мне в Salamander Bergschuhe, 38 номер (желтые, грубоватые, довольно низкий каблук). Пусть они будут у Вас с Серезиными. И — покорнейшая просьба — обменяйте там же Серезины башмаки на 45 номер, в 46-м он утонет. Словом возьмите на номер меньше, той же формы. Простите за поручения, больше не буду утруждать. Целую нежно. Пишите на Серезу: Praha VIII, Libeň Swobodarna, Herrn Sergius Efron (для меня)

Долг (чешский) перешлю на днях.

МЦ

Если есть деньги, купите мне башмаки (Bergschuhe, с языками!) Сразу, сколько бы ни стоили. Деньги (герм.) перешлю в течение недели.

Мокропсы, 3-го нов. ноября, 1922 г.

Моя дорогая Людмила Евгеньевна,

бесконечно спасибо за все, — вчера прибыли первые геликоновы** грехи: книжка Ахматовой — и покаянное письмо.

* Муж М. Цветаевой — Сергей. РЕД.

** От изд-ва "Геликон" в Берлине. РЕД

Глубоко убеждена, что я в этом покаянии не при чем, — Вы были тем жезлом Аарона (?), благодаря коему эта сомнительная скала выпустила эту сомнительную слезу.

— В общем: крокодил, а впрочем — черт с ним!

Вы мне очень помогли, у меня теперь будут на руках мои прежние стихи, которые всем нравятся. С новыми (сивиллиными словами) я бы пропала: никому не нужны, ибо написаны с того берега: *с неба!*

Давайте говорить о Вас, Вы уезжаете. — Рукоплещу! — Но есть два отъезда: *от* — и: *к*. Предпочла бы первое. Это благородный жест: женщина, как я ее люблю. Не отъезд: отлет.

Если же *к* — или: *с* — что ж, и это надо, хотя бы для того, чтобы потом трижды отречься, отрясти прах.

Душа от всего растет, больше всего же — от потерь.

Вы — настоящий человек, к тому же — юный, я с первой встречи любовалась этим соединением, люди ошибаются, когда что-либо в человеке объясняют возрастом: человек рождается *ВЕСЬ!* Заметьте, до чего мы в самом раннем возрасте и — через года и года, одинаковы, любим все то же. Какая-то *непреходящая* невинность.

Но люди замутняют, любовь замутняет, в 20 лет думаешь: новая душа проснулась! — Нет, просто старая праматерина Евина плоть. А потом это проходит, и в 60 лет ты под небом всё тот же — всё та же — что в шесть лет (мне сейчас — 60!).

Так или иначе, от кого бы и к кому бы (от *чего бы* и к *чему бы*, п.ч. Ваша судьба в чувствах, а не в людях) — от чего бы и к чему бы Вам не плыть — Вы едете в свою же душу (*Ваши* события — все внутри), кроме того, вечный город, *так* много видевший и поглотивший, что поневоле все остроличное стихнет, преобразится.

У Вас будет Сэна, мосты над ней, туманы над ней, века над ней, Tombeau des Invalides, — Господи: Версаль в будни, когда никого нет, Версаль с аллеями, с прудами, с Людовиками!

Я жила в Париже, — давно, 16-ти лет, жила одна, сурово, — это был скорей сон о Париже, чем Париж. (Как вся моя жизнь — сон о жизни, а не жизнь!).

Пойдите в мою память на rue Bonaparte, я там жила: 59-bis. Жилище выбирала по названию улицы, ибо тогда (впрочем, это никогда не пройдет!) больше всех и всего любила Наполеона.

Rue Bonaparte — прелестная: католическая и монархическая (legitimiste!), — в каждом доме антикварная лавка.

Хорошо бы, если бы Вы там поселились: по плану — между площадями St. Germain des Pres et St. Germain d'Auxerrois, на самой Сэне, — Латинский квартал.

И, что особенно должно привлечь Вас — в каждом окошке по 110-летнему старику и 99-летней старушке.

Ваша М.Ц.

Мокропсы, 4-го нов. апреля 1923 г.

Моя дорогая Людмила Евгеньевна,

посылаю Вам 20 фр. с следующей мольбой: купите на них шоколаду и отнесите его сама, лично, пораньше утром, чтобы застать, по следующему адресу: Bd. des Invalides, 2, rue Duroc (chez Beaumont) — Сергею Михайловичу Волконскому. Это моя лучшая дружба за жизнь, умнейший, обаятельнейший, стариннейший, страннейший и — гениальнейший человек на свете. Ему 63 года, когда Вы выйдете от него, Вы забудете, сколько Вам. И город забудете, и век, и число.

Цветов *не* покупайте: он любит шоколад.

Вторая просьба: не могли ли бы Вы что-нибудь устроить ему со шведскими переводами? В его книге "Родина" (1860 — 1921) много для иностранцев любопытного. (Книга *восхитительна*, Ваш отец в восторге, все Ваши читают).

Моя дорогая умница, моя нежная умница, мне никогда не стыдно Вас просить, мне только жаль, что Вы никогда у меня ничего не просите.

—

Ваше очаровательное письмо получила. Я вас *очень* люблю, знайте это. Вы во всем настоящая, я всегда говорю Сереже — "Если бы Л.Е. здесь была, я была бы вдвое счастливее".

Мужская дружба с женщиной, — что лучше?!

Не писала потому, что *завалена* работой: переписываю огромную книгу прозы. Глаза болят. (Печатным шрифтом!) Было много разных корректур. В промежутках — стихи, которые *хотят* быть написанными! День летит — дни летят.

Подружитесь с Волконским! Он очень одинокий человек, я с ним умела, и Вы с ним сумеете. Это большая духовная ценность, у него мало друзей. Познакомилась я с ним в Москве в январе 1920 г. и люблю его, как в первый день.

Я знаю, что идти к чужому *трудно*, — но Вы же героиня! Вы же не ищите легкого! И, только переступив порог, — вы сразу поймете.

В следующий раз — больше о весне, о Вас, о себе, обо всем. — С вашими дружу, особенно с Е.Н. Пасху верно будем встречать вместе.

Целую нежно М.Ц.

P.S. Только не откладывайте! Шоколад долженствует изобразить пасхальное приветствие. Шоколад купите плитками, в коробках дорого.

Прага, 27-го нов. апреля, 1923 г.

Моя дорогая Людмила Евгеньевна,

Пишу Вам в Праге, по сему карандашом. (Без пристанища). Спасибо бесконечное за поход к Волконскому, когда не знаешь другого, он — отвлеченность, а ради отвлеченности лишний раз веками не взмахнешь. Вы поверили мне на слово, что В. есть. Спасибо.

Спасибо еще за то, что поняли, увидели, проникли (в сущность иногда трудней, чем в дом, — даже запертой). Он *очень* одинокий человек: уединенный дух и одинокая бродячая кость. Его не надо *жалеть*, но над ним надо задуматься. Я бы на Вашем месте дружила: заходила иногда, заводила — он любит мрачные углы и подозрительные закоулки — *tout comme Vous*.

Он отлично знает живопись, и как творческий дух — всегда

неожиданен. Его общепринятостями (даже самыми модными!) не собьешь.

И вообще это знакомство, которое стоит длить. Это последние отлетающие лебеди *того* мира! (Если С.М. лебедь, он — черный. Но он скорей старый орел).

А мы судимся. Да, дитя мое, самым мрачным образом. Хозяева подали жалобу, староста пришел и наорал (предлог: сырые стены и невымытый пол). И вот завтра в ближайшем городке — явка. Мы всю зиму прожили в этой гнилой дыре, где несмотря на ежедневную топку со стен потоки струились и по углам грибы росли, — и вот теперь, когда пришло лето, когда везде — рай, — "Испортили комнату, — убирайтесь на улицу". Сережа предстоящим судом изведён и издерган, я вообще устала от земной жизни. Руки опускаются, когда подумаешь, сколько еще предстоит вымытых и невымытых полов, вскипевшего и не-вскипевшего молока, хозяек, кастрюлек и пр.

Денег у меня никогда не будет, мне нужно мно-о-го: откупиться от всей людской низости, чтобы на меня не смел взглянуть прохожий, чтобы никогда, никогда не стоять в передней, никогда и т.д.

На это не заработаешь!

Ах, как мне было хорошо Берлине, как я там себя чувствовала человеком и как я здесь хуже последней собаки: у нее, *пока лает*, есть право на конуру и сознание конуры. У меня ничего нет, кроме ненависти всех хозяев жизни: за то, что я не как они. Но это шире крохотного вопроса комнаты, это пахнет жизнью и судьбой. Это нищий — пред имущими, нищий — перед неимущими (двойная ненависть) один перед всеми и один против всех. Это душа и *туши*, душа и *мещанство*. Это мировые силы столкнулись лишний раз!

Не умею жить на свете!

Вы верите в другой мир? Я — да. Но в грозное Возмездие! В

мир, где царствуют умыслы. В мир, где будут судимы судьи. Это будет день моего оправдания, нет мало: ликования! Я буду стоять и ликовать. Потому что там будут судить не по платью, которое у всех здесь лучше, чем у меня и за которое меня в жизни так ненавидели, а по сущности, которая здесь мне и мешала заняться платьем.

Но до этого дня — кто знает? — далеко, а перед глазами целая вереница людских и юридических судов, где я всегда буду *неправой*.

30-го нов. апреля, 1923 г.

Продолжаю письмо уже в Мокропсах (*еще* Мокропсах! toujours Мокропсах!). Знаете, чем кончился суд? Сережа поехал с другим студентом (переводчиком), хозяин (обвинитель) студента принял за адвоката, испугался и шепотом попросил судью — попросить "пана Сергия" почище мыть полы в комнате, ... "А то — блехи" (блохи)!!! Судья пожал плечами. "Адвокат", учтя положение, заявил, что полы чисты как снег. Судья махнул рукой. Этим и кончилось. Первым в (Мокропсы) вернулся хозяин: в трауре, в цилиндре, — вроде гробовщика. Мрачно и молча поплелся к себе, переделся и тут же огромной щеткой стал мыть одно учреждение (как раз под моим окном) — в сидении которого потом, неизвестно почему, вбил два кола. (м.б. он считает нас за упырей? Помните осиноый кол?). Этим и кончилось (цель обвинения была, ввиду сезона, выселить нас и взять, вместо 220 кр. — 350, а то и больше!).

Все ваши принимали самое горячее участие в нашем суде и судьбе: и советовали, и направляли, Е.Н. написал мне письмо к некому Чапеку (переводчику) — было очень трогательно.

Вся деревня на нашей стороне, а это больше чем Париж, когда живешь в деревне!

Получила нынче письмо от моего дорогого С.М. Пишет, что был у Вас, очень доволен посещением. Утешьте его *de vive voix* (Вы меня заражаете Францией!) в истории с Лукомским, — если знаете. Последний ведет себя как негодяй, прислал С.М. наглешее письмо с упреками в неблагодарности, с попреками гостеприимством и пр. прелестями. Заведите речь, просто как

художник, упомяните имя Лукомского, он Вам расскажет. (На меня не ссылайтесь!). Вам будет забавно послушать.

Лукомского я видела раз в Берлине: фамильярен, аферист и сплетник.

Нынче еду в Прагу на Штейнера. (Вы, конечно, о нем слышали: вождь всей антропософии, Ася Белого была его любимейшей ученицей.) Хочу если не услышать, то узреть. По более юным снимкам у него лицо Бодлэра, т.е. Дьявола.

У нас дожди, реки, потоки. Весна тянется третий месяц, нудная. Пишу и этим дышу. Но очень хочется вон, прочь, — только не знаю, из Мокропсов или с этого света?

Целую нежно. Пишите М.Ц.
Еще раз горячее спасибо за С.М.

Ноябрь. Париж 1926 г. (?)

Дорогая Людмила Евгеньевна! Спасибо за привет и память и за те давние дары. Мур до сих пор ходит (иносказательно) в Аленушкиной голубой рубашечке.

Париж мне пока не нравится, — вспоминаю свой первый приезд, — головокружительную *свободу* (16 лет — любовь к Бонапарту — много денег, мало автомобилей). Теперь денег нет, автомобили есть, — но есть литераторы. мерзейшая раса, — и есть богатые — м.б. еще более мерзейшая. У меня все растет ирония, и все холодеет сердце. Реально здесь — для устройства вечера стихов. К Рождеству ждем Сережу, м.б. удастся достать место, — иждивение его кончается.

Аля огромная, с двумя косами, веселая, очень гармоничная, — но в Сережу, не в меня. Мур чудный: 30 ф., с ярко голубыми глазами, длиннейшими ресницами, отсутствующими бровями и проблематическими волосами. Красивые руки — пальцы сходят на нет. Будет скрипачем.

А я? Жизнь все больше и больше (глубже и глубже) загоняет внутрь. Иногда мне кажется, что это не жизнь и не земля — а чьи-то рассказы о них. Слушаю, как о чужой стране, о чужом

путешествии в чужие страны. Мне жить *не* нравится, и по этому определенному отталкиванию заключаю, что есть в мире еще другое что-то. (Очевидно, бессмертие). Вот мистика. Трезво. Да! Жаль, что Вас нет. С Вами бы я охотно ходила — вечером, вдоль фонарей, этой уходящей и уводящей линией, которая тоже говорит о бессмертии.

М.Ц.

К БИОГРАФИИ АНДРЕЯ БЕЛОГО: ТРИ ДОКУМЕНТА

ПУБЛИКАЦИЯ Г. П. СТРУВЕ

Печатаемые ниже три интересных документа были получены мною уже довольно давно от одного моего доброго знакомого, который получил их из Москвы с предложением напечатать. Он не пожелал делать это сам и предоставил право печатания мне — то ли потому, что не был уверен в подлинности документов, то ли потому, что считал почтительный тон письма Белого к Сталину недостойным его и даже порочащим его память. Я этого подхода не разделял. Несмотря на возможное наличие ошибок в копиях документов, подлинность их — в сопоставлении со всем, что мы знаем — не вызвала у меня сомнений. А в письме Белого к Сталину — и в его содержании, и в его тоне — я видел лишь еще одну печальную иллюстрацию того, в каких условиях вынуждены были жить и работать в то время русские писатели, даже такого калибра как Белый.

Но так вышло, что я до сих пор не удосужился эти документы напечатать. Сейчас они напечатаны, но напечатаны только в английском переводе — в текущем номере журнала Russian Literature Triquarterly (№ 13, 1976, стр. 553-556). Публикация их принадлежит г-же Шарлотте Даглас. Документам предпослана небольшая вступительная статья, а вслед за ними напечатана статья Белого о себе как писателе, написанная в марте 1933 года и напечатанная позднее в том же году, по словам г-жи Даглас, в польском еженедельнике

Wiadomoscie Literackie и появившаяся по-русски только в 1972 г. в сборнике "День поэзии". В переводе документов и в комментарии к ним 2-жи Даглас есть некоторые неточности. И ей осталась, очевидно, неизвестна частичная, но весьма значительная публикация воспоминаний жены Белого, Клавдии Николаевны Васильевой-Бугаевой: три главы этих воспоминаний были напечатаны в "Новом Журнале" (кн. 102, 103 и 108), а одна (под названием "Контрапункт") в Cahiers du monde russe et sovietique (XV, № 1-2, 1974). Поэтому 2-жа Даглас говорит об этих воспоминаниях как о целиком неопубликованных.

Два из публикуемых нами документов имеют отношение к хлопотам Андрея Белого о его жене, которая вместе с несколькими другими антропософами находилась в 1931 году под следствием, причем ее временное освобождение из-под ареста было связано с подпиской о невыезде из Москвы.

Первый документ представляет собой довольно пространное заявление Белого, излагающее историю "дела" антропософов, по которому еще в 1929 г. был произведен ряд арестов и высылки (К. Н. Васильева сидела тогда на Лубянке). Это заявление датировано 1-го июля 1931 г., но, как сказано под ним в копии, которой мы располагаем и по которой печатаем его, оно было подано главному прокурору Рубену Катаняну 27-го августа того же года.

Второй документ — личное письмо Белого И. В. Сталину, написанное четырьмя днями позже. Под обоими документами Белый дает адрес московской квартиры бывшего мужа своей жены, д-ра П. Н. Васильева, на которой он и его жена тогда жили.

Хлопоты Белого, повидимому, увенчались успехом, но когда они переехали в Детское Село, где еще раньше, весной 1931 года, поселились у Р. В. Иванова-Разумника, остается не совсем ясным. В составленной Жоржем Нива (Nivat) краткой летописи жизни Белого (см. Cahiers du monde russe... т. XV, № 1-2, стр. 21) говорится, что лето 1931 года они провели в Коктебеле. Между тем, из печатаемых нами документов явствует, что во всяком случае часть июля и весь август Белый с женой провел в "шестинедельных хлопотах" о ее деле в Москве. В одном из отрывков из своих воспоминаний К. Н.

Бугаева писала, что зиму 1931 г. они жили в Детском Селе (см. "Белый в жизни", НЖ, кн. 108, 1972). Это подтверждается и письмами Белого к его другу А. С. Петровскому, тоже антропософу, находившемуся тогда в ссылке, напечатанными Роджером Кийзом в том же "Новом Журнале" (кн. 122, 1976). Из примечаний к этим письмам их публикатора, имевшего возможность ознакомиться с рядом документов, касающихся Белого и хранящихся в советских архивах, следует, что Белый и его жена покинули Детское Село и вернулись в Москву в самом конце 1931 г. Но в напечатанных пока письмах и комментариях к ним нет ни слова о хлопотах, которые летом 1931 г., как мы видим из печатаемых документов, поглощали все время и внимание Белого. Лето 1932 г. Бугаевы провели у сестры К. Н. Е. Н. Кезельман, в Лебедяни, где она жила в ссылке.

Последний из печатаемых нами документов относится к более позднему времени. Он датирован "20 апреля 1933 г." и представляет собой безличное письмо Белого, адресованное в Совет Народных Комиссаров с просьбой позаботиться после его смерти о его жене и ее родственниках. Летом того же года у Белого был первый инфаркт, после которого он, по видимому, по-настоящему уже не оправился, хотя и прожил, как известно, до января 1934 года.

Июнь 1976 г.

Г.С.

1. ЗАЯВЛЕНИЕ АНДРЕЯ БЕЛОГО СОВЕТСКОМУ ПРОКУРОРУ КАТАНЯНУ, ПОДАНО 27 АВГУСТА 1931 ГОДА

Считаю своим моральным долгом приобщить к следствию, ведущемуся о деле моих ближайших друзей, Клавдии Николаевны Васильевой, Петра Николаевича Васильева, Елены Николаевны Кезельман нижеследующее заявление, которое я мог бы подкрепить рядом фактов и цитат:

1) *Мое отношение к "Международному Антропософскому Обществу" есть отношение отрицательное: критика этого*

общества, начавшись во мне с 1915 года, в конце 1921 года приняла острый характер; и высказывалась ряду лиц в Берлине в 1922-1923 годах; с 1923 года в СССР я подчеркивал ряду бывших сочленов по *Русскому Антропософскому Обществу* свою точку зрения: критика шла не по линии политики (которой не было в западном обществе), а по линии рутины, бытовой косности и предрассудков сознания; доказательство этой критики — вторая часть рукописи моей "Почему я стал символистом", написанной в Кучине, весной 1928 года, при участии моего друга, Клавдии Николаевны Васильевой, проводившей со мной почти все время; точку зрения рукописи разделяли и бывшие мои сочлены по "Антропософскому Обществу" (устав которого был не утвержден в 1923 году), мои друзья: А. С. Петровский, Е. Н. Кезельман, П. Н. Васильев и те из ныне арестованных знакомых, с которыми встречался в те дни (в случайных наездах в Москву).

2) *Считая "Международное Антропософское Общество" (на Западе) оскорбляющим стиль моей духовной жизни и держась от него в стороне в 1922-1923 годах (в бытность в Берлине), — я с тем большим уважением относился к отдельным, высокоодаренным западным антропософам, державшимся вдали от жизни западного общества, как покойный Михаил Бауэр (+ 1929) или Маргарита Моргенштерн, жена знаменитого немецкого поэта, которым я жаловался на стиль западного общества и с которыми познакомился еще в 1912 году; тем не менее, отдавая в разные издательства свои книги, я отдал и в издательство "Der Kommende Tag" свою брошюру "Кризис мысли", напечатанную в СССР в 1920 году; немецкий перевод вышел в 1922 году. А в начале 1922 года послал в антропософский журнал "Die Drei" мою статью "Anthroposophie and Russland", в которой подчеркивал своеобразность развития русской антропософии, обусловленную революцией, останавливаясь на Блоке, Герцене и т.д. Поступал я в отношении к СССР лояльно, ибо "Русское Антропософское Общество" в ту пору легально существовало (лишь в 1923 году устав его не был утвержден).*

3) *Не собираясь защищать стиля быта "Международного Антропософского Общества", каким он мне стоял от 1915 до 1923 годов, — резко подчеркиваю: в эпоху мировой войны этот*

быт в Дорнахе, где я участвовал в постройке здания-театра, Гетеанума, был резко революционен по отношению к милитаристическим трафаретам Германии и Антанты в отрицании мировой бойни, что вызвало ряд неприятностей, подозрений по отношению к нам со стороны разведок Антанты, Германии и даже нейтральной Швейцарии; впечатления свои от этого периода жизни и от возвращения в Россию в 1916 году (через Францию и Англию) я закрепил в фантастическом шарже "Записки чудака", печатавшемся частями в 1919 и 1921 годах в журнале "Записки Мечтателей" в СССР и изданном в 1923 году в Берлине (изд-во "Геликон"); шарж построен на почве переживаний личных в качестве "пораженца", преследуемого разведками; и позднее ненависть к милитаризму и фашизму продиктовала мне 24-ую главу романа "Маски", рукопись которого находится в ГИХЛ'е, — романа, в сложении сюжета которого принимала участие мой близкий друг К. Н. Васильева; роман писался в Кучине в 1929 году (в присутствии К.Н.); в этой критике буржуазного строя я совпадал с Рудольфом Штейнером.

4) Этого последнего травил немецкие контр-революционеры и фашисты в период 1920-23 годов (я мог следить за ним издали в этот период); травила пресса, военные журналы; католики по почти установленным фактам сожгли "Гетеанум", в постройке которого принимал участие я в 1914-1916 годах; немцы за его поведение во время войны называли его предателем; швейцарцы — отказали в подданстве; и даже были покушения на его особу (в Мюнхене в 1922 году).

Все эти факты могут быть подтверждены.

5) И можно привести ряд примеров явно враждебного и подозрительного отношения к "Русскому Антропософскому Обществу", открытому в 1913 году; с 1914 до 1918 года общество едва терпело царское правительство и правительство Керенского.

6) Что отношение к Октябрьской революции у большинства русских антропософов на Западе и у нас было положительным, доказывает ряд примеров, из которых приведу лишь несколько: а) дорнахский антропософ, с которым вместе работал я по резной скульптуре в 1915-1916 годах, Константин Андреевич

Лигский с момента революции бросает работу, является в Россию, становится членом Коммунистической партии с 1918 года, ведет видную работу в Ленинградском Отделе Управления; и до смерти остается верным советским работником (консул в Варшаве, Токио, Афинах); б) художница Маргарита Васильевна Волошина-Сабашникова с начала революции бросает работу в Дорнахе и в plombированном вагоне (с эмигрантами) приезжает в Россию к ужасу ее "кадетских" знакомых; в) дорнахский антропософ Трифон Георгиевич Трапезников, едва вырвавшись из Англии, с июня 1917 года принимает большевицкий лозунг "Долой войну" и с начала 1918 года становится едва ли не главным организатором, вместе с Троцким, "Отдела Охраны Памятников", в котором работает до смертельной болезни в 1924 году; в 1924 году едет лечиться за границу и долго умирает у своего приятеля (с 1910 года) Бауэра (антропософа); вопрос о его перевозке в СССР к старухе-матери вместе с главным заданием (лечебного характера) и обуславливает вторичную поездку за границу моего лучшего друга, Кл. Ник. Васильевой (в 1926 году); г) меня с июля 1917 года считают едва ли не большевиком в кадетских кругах.

Считаю, что эти настроения бывших дорнахцев-антропософов (Лигского, Волошиной, Трапезникова) — выявление стиля отношения к "политике" войны русских антропософов, приехавших с запада в 1916-17 годах; но таково же было отношение к войне ряда тогдашних членов "Русского Антропософского Общества" (А. Н. Васильева, А. С. Петровского, Е. Н. Кезельман, К. Н. Васильевой и др.), что эти люди и доказали: А. С. Петровский — участием в реформе тогдашнего Румянцевского Музея, П.Н. Васильев своей службой в Красной Армии и т.д. И этот стиль отношения к действительности не менялся до момента прекращения деятельности "Русского Антропософского Общества" в 1923 году.

7) Считаю статьи, подобные напечатанной в Советской Энциклопедии и характеризующие атропософию как выявление германского милитаризма безграмотным набором слов и кроме того искажающим факты, могущие быть подтвержденными (травля Штейнера в милитаристических журналах, попытки фашистов нанести оскорбления действием,

пожар "Гетеанума" и т.д.); такие статьи создают легенды с неприятными последствиями для бывших членов "Русского Антропософского Общества", не причастных к политике; если бы в ныне мне неизвестном "Международном Антропософском Обществе", насчитывающем более 10.000 членов, и оказались личности темные, так это печальная участь всех обществ, не повинных в искажении их духа единицами; и тем паче: *ныне подследственные мои близкие друзья, не имеющие касания к конкретной жизни Западного Общества — не ответственны за образ мыслей им неизвестных западных антропософов.*

В заключение замечу: мне, давшему убийственную критику западного общества в рукописи "Почему я стал символистом", нет поводов это общество защищать; *но отвести клевету* от стилия деятельности Рудольфа Штейнера, с которым единственно когда-то считались я и мои друзья, Васильевы (муж и жена), Е.Н. Кезельман, Петровский, Л.В. Каликина и ряд ныне арестованных по мне неведомым причинам бывших членов "Русского Антропософского Общества" — *отвести эту клевету*, корень происхождения которой — незнание литературы, *считаю своей обязанностью; и считаю, что тридцатилетняя ничем незапятнанная литературная деятельность, не неизвестная в Европе, залог того, что это мое заявление будет и прочтено, и приобщено к делу об "антропософах", если таковое существует, ибо то, что я говорю — факты, проверяемые легко: и опросом свидетелей, и цитатами, и литературой самого покойного Рудольфа Штейнера.*

*Борис Николаевич Бугаев
(Андрей Белый)*

Москва 1-го июля 31 года.

Временный адрес: Москва. Плющиха, д. 53, кв. 1.

2. ПИСЬМО АНДРЕЯ БЕЛОГО И. В. СТАЛИНУ

Москва 31 августа 1931 года

Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович,

Заострение жизненных трудностей после ряда раздумий и бесплодных хлопот вызвало это мое письмо к Вам; если

ответственные дела не позволяют Вам уделить ему внимания, Вы его отложите, не читая.

То, что я переживаю, напоминает разгром; он обусловлен и трудностью моего положения в литературе, которой начало — статья Троцкого, искажающая до корня мой литературный облик и раздавившая меня как писателя в 1922 году; до нее — деятельность моя не вызывала сомнений, ибо все знали, что я сочувственно встретил Октябрьскую революцию и работал с Советской властью еще в период бойкота ее: и в Пролеткульте (иные из моих бывших учеников — ныне видные пролетарские писатели) и в ТЕО Наркомпроса, и в других советских учреждениях. Отрицая войну и разделяя многие лозунги "циммервальдистов", я и до Октябрьской революции имел ряд столкновений с тогдашними литературными группировками (Мережковским, Гиппиус, Бердяевым и др.) как слишком "левый" для них.

После статьи Троцкого я два года был, так сказать, за порогом литературы.

Книги мои приемлемы для цензуры и даже встречают одобрение; но отношение ко мне строится по статье Троцкого; отношение это и стало фоном, на котором углубляется в эти дни инцидент, ломающий здоровье, самую жизнь и просто лишаящий возможности работать дальше.

Моя нынешняя жена, Клавдия Николаевна Бугаева (до "загса" со мною — Васильева) с момента нашего с нею переселения в Детское Село и устройства жилища была арестована, как Васильева, в Детском 30-го мая 31-го года, а 3-го июля освобождена, и дело о ней прекращено; но с нее взяли подписку о невыезде из Москвы до окончания дела бывших членов "Русского Антропософского Общества"*², заметив, что временное прикрепление есть просто "*формальность*".

* Р. А. О. возникло в 1913 году, еле существовало при царском и временном правительствах, подозревавших Общество в пораженческих настроениях, и легально существовало пять лет при советском строе; в 1926 году оно было не утверждено, как *научное* [в английском переводе этого документа мы читаем здесь "*не-научное*" — возможно, что в нашей копии это ошибка переписчика — Г.С.], а не как *контрреволюционное* общество; иные из арестованных ныне членов за "деятельность" после закрытия Общества и знакомые друг с другом

Бросив срочную работу, комнату, найденную с невероятным усилием, с риском ее лишиться для себя и жены, я приехал в Москву, где два месяца живу без помещения, возможности работать, в бесполезных шестинедельных хлопотах — заменить жене временное прикрепление к Москве временным прикреплением к Детскому. Сейчас мы с женою живем в помещении ее бывшего мужа, доктора П. Н. Васильева, в обстановке для нас весьма трудной.

Статья Троцкого, поставившая меня в фальшивое положение, сказала и в том, что шестинедельные хлопоты о замене жене места временного прикрепления (Москвы на Детское), или эта "формальность", как ей сказали, — ничем не разрешились; а эта неразрешенность в силу стечения особенно неблагоприятных условий вынужденной жизни в Москве выбивает нас из всех норм жизни, грозит лишением крова и невозможностью мне работать в будущем; и особенно подчеркивает основной тяжелый вопрос о трудностях мне быть литератором.

Деятельность литератора становится мне подчас невозможной; и на склоне лет подымается вопрос об отыскании себе какой-нибудь иной деятельности, ибо каждая моя новая работа, даже признаваемая как нужная и интересная, вопреки спросу на мои книги, требует с моей стороны вот уже скоро десять лет постоянных оправданий и усилий ее провести; каждая моя книга проходит через ряд зацепок, обескураживающих тем более, что участие мне в журналах почти преграждено; на мою долю выпадает писание толстых книг (до 30 печатных листов), требующих огромных усилий; а они лежат чуть ли не до года до выхода в свет, что ставит в весьма трудное и моральное и материальное положение; написать толстый том, убить год на него, произвести большую нервную работу с мыслью, что она

еще до "членства" искренне не подозревали, что их открытые посещения друг друга и иногда разговоры об *антропософии* есть "деятельность", да еще "нелегальная" — тем более, что они с 1917 года до ареста работали с советской властью и зарекомендовали себя как хорошие работники на самых разнообразных поприщах (искусство, библиотечное дело, охрана памятников старины, Красная Армия и т.д.).

будет лежать года и что произведенная работа не вознаграждена, — в моем возрасте все тяжелее, ибо нервы истрепаны, здоровье расстроено, прежних физических сил уже нет и не может быть.

Возникает горестный вопрос: неужели таким должен быть итог тридцатилетней литературной деятельности?

Случай с женой заостряет мое положение уже просто в трагедию.

Может быть, жест этого моего письма к Вам — вскрик отчаяния и усталости и недомогания; так и отнеситесь к нему, но, если бы Вы мне смогли помочь в инциденте с женой, для меня эта помощь была бы стимулом к преодолению и других трудностей, которых не мало.

Еще раз простите меня за беспокойство. Остаюсь с глубоким уважением

Борис Бугаев (Андрей Белый)

P.S. В первых числах сентября, независимо от разрешения инцидента с женой, я должен ехать в Детское Село спасать свою комнату, бросив жену в условиях невозможных для жизни; до Детского — временный адрес мой: Москва, Плющиха, д. 53, кв. I (доктора П. Н. Васильева); телефона не имею.

Постоянный адрес (с первых чисел сентября): Детское Село (близ Ленинграда), Октябрьский бульвар, д. 32. Борису Николаевичу Бугаеву.

3. ПИСЬМО (ПРЕДСМЕРТНОЕ) В СОВНАРКОМ

Чувствуя себя слабее и предполагая, что мне недолго остается жить, я обращаюсь с посмертной (? — предсмертной)*, всемерной просьбой к Совету Народных Комиссаров, чтобы он обеспечил ту, кто в ряде лет являлся моим ближайшим другом, сотрудником, секретарем, — ту, которую я люблю всеми силами

* В копии, с которой печатается это письмо, оно названо *предсмертным*. Но здесь, в тексте, стоит слово "посмертной". Возможно также, что Белый назвал свою просьбу "посмертной", если передачу этого письма в Совнарком предполагалось сделать уже после его смерти.

своей души, — а именно: я прошу обеспечить жизнь и судьбу жены моей, Клавдии Николаевны Бугаевой (и ее ближайших родственников: матери, сестры, тетки).

Думаю, что 32 года литературной деятельности, расстроившей мое здоровье, — мотив достаточный, чтобы эта просьба моя была уважена Совнаркомом.

Особенно прошу, чтобы в случае смерти, моей жене дали б возможность жить в квартире, предоставленной мне писательским кооперативом.

Андрей Белый (Борис Бугаев)
Москва, 20 апреля 22 г.

ПИСЬМА А. БЕЛОГО К Е. Н. КЕЗЕЛЬМАН

ПУБЛИКАЦИЯ РОДЖЕРА КИЙЗА

[Октябрь 1931]³²

[Детское Село]

Милая, милая Елена Николаевна.

С трепетом все эти недели ловили след Вашего бытия в Москве по открыткам Анны Алексеевны³³, постоянно Вас чувствовали, и в Москве, и тем более в Детском; а в день Вашего отъезда в Лебедянь К.Н. определенно мне говорила, что Вы в дороге. Сейчас был Вс. Ник. и привез Ваши письма А.Н. из Лебедяни; и мы с напряженным вниманием старались понять конкретно Вашу жизнь там.

Милая, хорошая, добрая — не падайте духом, если будет Вам в житейской смене трудно (особенно первые месяцы); *ведь так положено*; и ведь 3 года, кажущиеся бесконечностью, не бесконечные; самые длинные сроки переживал я на станциях перед уходом туда³⁴; здесь 5 минут — 5 миллионов лет; месяцы летят быстрее дней, годы быстрее месяцев; три года — это — половина нашей с К.Н. Кучинской жизни, а сколько было и *до*, и уже *после*.

Что касается нас, то мы с К.Н. так хотели бы провести лето с Вами, тем более, что мы висим в воздухе: дом, в котором живем, продается, комната, в которой живем и которая предназначалась нам — лишь до 15 ноября; а далее будем тесниться в квартире Р.В.; а с 1 апреля — где?³⁵ И вот назревает

*См. кн. 122 "Н.Ж".

домысел: не переселиться ли в Лебедянь на эти годы, если будет помещение; К.Н. говорит, будто неудобно будет мне в отрыве от Издательств (придется часто ездить); но это — пустяки, если только можно будет устроиться там. А Вы за зиму посмотрите нам приют; вед. и то, мы поговариваем о Кашире (летом). Бог даст увидимся весной.³⁶ Мы все сейчас взвешены в новую жизнь; и все будущее в тумане.

Одно мне не в тумане, это то, что я теперь могу перед всем миром *вопить* о том, что значит мне К.Н., а не ходить со сдвоенным горлом, разыгрывая какое-то безразличие. Да, — в одном разрезе ничто не переменялось для нас; а в другом для меня все "громадно радостно" изменилось, ибо разве не мука была нам все это десятилетие быть даже при своих *не теми, не такими*, каких нас привыкли видеть там, где мы вдали от Москвы; и уже тот факт, что я могу при всех ее назвать Клодой, той, которая все-все-все для меня — громадная радость и поддержка. Так это и в неперемennom все изменилось...

Милая, милая, милая, обнимаю Вас. Господь да пошлет нам всем сил и бодрости найти силы жизни; и ...³⁷ уповаю, что мы все еще встретимся; и в радости.

Любящий Вас Б.Б.

М.А. сердечный привет.

[Первая половина 1933]³⁸

[Москва]

Дорогая, милая, —

Простите меня, что так долго не писал; я все время бросаюсь с одного фронта на другой; полтора месяца жил между гриппами³⁹ и выступлениями; 3 гриппа, и 5 выступлений (2 вечера публичных, 1 в "Гихле" и 2 в "Всероссдраме")⁴⁰; кроме того, заседания, всякие обязанности. Едва свалил с себя волну выступлений, едва отцарапался от Ленинграда, куда ташил устроитель моих вечеров, как новое: я так запустил свою книгу, что теперь к сдаче рукописи пеку, как блины, главки 1 части⁴¹; 1 апреля последний крайний срок (и то он — отсрочка); стало быть: опять переутомление от писаний.

Лето накладывает на письма тот налет усталости, который дает превратное впечатление о пишушем.

Нет уж — милая сестрица (Вас позволите Вы так назвать?) — до лета; мы очень рассчитываем с Клодей на Лебедянь, но — не раньше, не позднее и июля; и знаете: хотелось бы пожить *прочно*.

Сейчас просто в порядке перечисления тех немногих приятных впечатлений от редкого отдыха в Москве; просидел две ночи у Гронского с Куйбышевым, от которого осталось очень приятное впечатление⁴²; послал ему "Маски" по его просьбе; и потом: вчера был у нас Пастернак и оставил легкое, хорошее впечатление. Теперь беру в "Гихле" рабочий кружок из писателей-ударников (будет нечто вроде пролеткультика)⁴³. Да — еще: получил прямо великолепное письмо от колхозницы (из-под Ногинска) бывшей на моей лекции; она пишет: не думайте, что у Вас малый круг читателей; я, мои подруги и наши ребята читают Вас, когда им не хватает музыки⁴⁴. Так среди суеты — блестящие....⁴⁵, доставляющих радости.

Обнимаю Вас крепко; всегда с Вами: летом прочно проживем вместе.

Б. Бугаев.

Москва, 16 апреля 33 г.,

Милая, милая сестрица,

Позвольте уж так Вас называть. Все эти недели хотел Вам писать, если бы не техника ведения рукой по строке; как возьму перо в руки, так точно оно выпивает все мысли из головы; вместо того, что в Тебе происходит, видишь скачущий кончик пера. Вероятно это чувство усилия к написанию — следствие и нездоровья, и вообще отвращения к писательству. Я ведь сдал первую часть того тома, который начал в Лебедяни.⁴⁶ Она раздулась в том (506 ремингт [онных] страниц). Хотел было отпраздновать себе положенный трехнедельный отдых, а вместо того — болезнь за болезнью: разыгралась носоглотка; обнаружился запущенный сухой катар; доктор рекомендует море; едва несколько угомонилось горло, как разыгрался желудок, который иррационально перешел в бронхит. Так отдых я проболел.

Главное: внутреннее самочувствие было все это время неважное⁴⁷. Вот причина, почему я помалкивал, хотя все время, милая, милая Елена Николаевна, — Вы радовали меня. Среди немногих роздыхов, которыми дарят дни — появления Ваших пейзажиков⁴⁸; как-то захожу в комнату после "Гихла", и — пять Ваших картинок большого формата; ну — до чего чудесно! Как это Вы можете с такими простыми красками добиваться этих тончайших нюансов; ведь Ваши бумажные клочочки — настолько переносят в Лебедянь, что от них веет в буквальном смысле слова, как из открытого окна, — деревенскою ширью. У меня странное впечатление: будто мы в каком то отношении и не уезжали из Лебедяни, потому что у нас серия Ваших видиков, — с осени до весны; целый дневник закатов; и до чего важна эта серия. В Москве закатов не видишь; для меня с юности закат — лейт-мотив дня. Вы не можете себе представить, как много дает и познавательно серия Ваших картинок. Это — настой из звуков: нежных, тихих; таких звуков в Москве нет.

Чувствую до чего я нем: хочется сказать что-то большое, но легкое, а черные крюечки букв складываются в мизерную и тяжелозвучную пустоту. И опять видишь лишь пляшущий кончик пера (вероятно чувство пера — оттого, что вставил новое, а может быть и от бумаги: видите, какая она: точно гофрированная; такую дали в "Федерации").⁴⁹

Не знаю, как у Вас; а у нас последние дни — серые, хмурые, сырые, злые; вчера шел снег; в комнатах холодно (перестали топить, как нарочно перед снегом); и эта неприязненная погода, схватывается с недомоганием, точно атакует сознание; между замыслом и выполнением — точно протянута пелена; между переживанием без слов и выявлением его в слове — тоже. Переживаешь что-то тихое, легкое, серьезное, что хочется передать другому человеку. А посмотрите: пишу третью страницу Вам, а у меня впечатление, что слова мои столь бездарны, что они роют ров между мной и Вами.

Хорошая, милая, — мне даже "испужно" как-то, что читали и перечитываете "Маски"; и все же это радует. Значит, они доходят? Да? Я спрашиваю это потому, что для меня "Маски" — мертвы; читаю — ничего не вижу, не слышу, как слепой; между временем, когда они писались (зима 29 — 30 годов) и временем

выхода — 2 года мытарств с ними). Мне вместо образов "Масок" встает мука правки (и сколько раз — корректур); и главное: встают переживания, проносившиеся над душой во время этих отчаянных правок (неуютная жизнь в Детском, писание посланий в "Гихл" по поводу невозможности держать корректуры, думы о заболевшей Анне Алексеевне [,] о Вас и т.д.) — вот что поднимается мне со страниц "Масок"; и — тушит образы их; или же: откроешь книгу — белый лист: на нем ничего нет. И с досадой откидываешь книгу. Но если Вам говорят "Маски", — то я радуюсь; может Вам и видней; мне то они — поднимают лишь в прошлом терз за терзом (и один из терзов — трудность для нас с Клодей жить так [,] как жили мы во время написания).

Так — неужели они говорят?

Милая, добрая, — каждый день поминаю Вас, и даже сейчас непроизвольно схватился за голову — чтобы убедиться, в Вашем ли я колпачке. Ношу его с любовью, горжусь им; еще раз спасибо: он — теплый, удобный, пестренький, что значит — нарядный. А ухо мое уже тревожно и радостно поднято, как у пса на стойке; и это весть о колпачке.⁵⁰

Нет уж милая сестрица: коли решили порадовать меня вторым колпачком, то приии-шлии-тее, при-и-и-шли-и-и-те его; долго ждать. А любопытство разыгрывается.⁵¹ Видите, — ухо поднято.

Но, всего Вам тихого. И еще раз не взыщите на пустоту письма. Обнимаю Вас, желаю Вам здоровья, бодрости; тихих, серьезных звуков.

Б.Б.

[7/VI 33 г.]⁵²

Коктебель

Родные, близкие — целый день с Клодей думаем о Вас и сопереживаем Вашу встречу. Милая сестрица, Люся, и милая, милая Анна Алексеевна, — нет до чего Вы обе мне близки сегодня; и сквозь все расстояния, сквозь все трудности жизни, которых еще не мало впереди, хочется сказать: будет хорошо; и будем мы вместе! Сегодняшний день как-то радостно и твердо мне прозвучал. Я редко пишу радостно и бодро; мне скорей

свойственно брюзжать; но виною тому — не то, что лежит внутри "Я", а и болезнь, и трудные обстания. Но бывают минуты, когда все внешнее, как туман, рассеивается; и видишь ясно *главное*; и вот сейчас вижу это *главное*; и переживаю его; главное — *любовь*: и любовь соединяет нас; люблю Клодю, люблю Вас, Анна Алексеевна, горячо, горячо благодарю Вас за ласку; и нежно люблю посланную мне Судьбой сестрицу. И как хорошо, что это так. Вот все, что могу сказать: будем тверды, любить друг друга; и все будет хорошо. Очень чувствую и ... Алешу. Обнимаю крепко Вас, мои родные и близкие. Простите глупые слова; они — от сердца.

Б.⁵³Москва 15 августа 33 г.⁵⁴

Милая, милая, дорогая, родная сестрица!

Спасибо Вам за такое письмо; от него повеяло тишиною, медовым запахом поля, рожаю выше роста человеческого, — всем тем, чем продышала мне Лебедянь; и нашими тихими посидами у окошка.

Да, Елена Николаевна, через 10 месяцев мы предпримем все усилия к тому, чтоб быть Вам с нами в Москве, где Вы действительно нам так будете нужны. Недолго нам жить раздельно.⁵⁵

Мне сейчас очень хорошо и тихо; прислушиваюсь к себе: и слышу, точно голоса, гласящего о выздоровлении и самопознании; вероятно нечто подобное испытывал Лев Толстой в эпоху своего кризиса: хочется быть лучше, облагоденниться; и голос тишины и безмолвия, точно приподымаясь откуда то, сулит помощь. Но — страшная грусть: не то раскаяние в том, что так беспроко прожиты годы, не то решение — по новому построить остаток жизни.

И — доверие к силам жизни, все еще бьющим в тебе; и радость, что Клодя пока стоит рядом; и — дарует силы к жизни.

Странные дни, странные часы; странные мысли, чувства и волевые импульсы.

Да, кризис сознания!⁵⁶

Вот чем я переполнен, взволнован в эти дни; и вспоминаются слова Дельвига:

Когда душа просилась ты
Погибнуть, иль любить ...⁵⁷

Ну конечно — "любить", а не погибнуть.

Верю в силу любви.

Дорогая сестрица, откликаюсь на Ваше письмо именно этою силой.

И простите, что письмо мое такое корявое, несуразное: из волнения, которым охвачен. Слышу ветер из будущего, — молодой, сильный, бодрящий; и слышу как бы голос:

Не верь мгновенному: люби и не забудь!

Так, поразмыслил над своим заболеванием в Крыму, начинаю понимать, что оно — "ко благу".⁵⁸

Это — линька, после которой заново отрастают крылья, чувствую их биение.

Остаюсь сердечно любящий; и спасибо Вам, милая сестрица, за письмо, которое прозвучало подбодром.

Б.Б.

P.S. Если пришлете еще видик с золотой рошею, то порадуете.

ПРИМЕЧАНИЯ

32. Датируется на основании пометы карандашом, сделанной неизвестной рукой. В это время Бугаевы жили в Детском Селе.

33. А.А. Алексеева, мать Елены и Клавдии Николаевны.

34. Хотя Белый считал, "что я из всех 'без вины виноватых' наиболее 'виноватый'" (см. письмо к П.Н. Зайцеву, упомянутое в прим. 25), насколько нам известно, он сам никогда не был ни сослан, ни арестован.

35. См. прим. 8.

36. На самом деле, Белый с Клавдией Николаевной не переселились ни в Лебедянь, ни в Каширу. С 8-го августа по 29-ое сентября 1931 г. они жили у Елены Николаевны, но больше туда не вернулись.

37. Неразборчивое слово.

38. Датируется по содержанию и на основании карандашной пометы неизвестной рукой. В это время Бугаевы жили в Москве.

39. По свидетельству своей жены, Белый хворал всю первую половину 1933 года. "Постоянное недомогание, переходящее часто в грипп или бронхит, с

небольшим, но упорным повышением температуры, повторяющиеся головные боли с острыми приступами мигрени после каждого выступления, общая слабость, бессонница" (К.Н. Бугаева, "Летопись жизни и творчества").

40. Ср. данные, приведенные К.Н. Бугаевой в той же "Летописи". 10-го января 1933 г. Белый читал доклад в издательстве ГИХЛ под заглавием: "Основные особенности творчества Гоголя". Пять дней спустя он выступил с другим докладом, "Гоголь и 'Мертвые души' в постановке Художественного театра" в помещении Всероскомдрамы. Из-за его болезни, прения по этому докладу были отложены до 26 января, после чего он снова заболел. 11 февраля состоялся "Вечер Андрея Белого" в политехническом музее, когда писатель читал отрывки из *Масок* и отвечал на записки слушателей. Этот "Вечер" имел успех и был повторен 27 февраля. Повидимому, эти публичные вечера состоялись, как прямой результат выступления Белого в конце ноября предыдущего года на пленуме Оргкомитета Союза Советских Писателей, в котором он выразил свое сочувствие новой политике партии в литературе и искусстве и согласился "провести сквозь детали работы идеологию, на которую указывают вожди". (См. "Красная новь", 1932, № 12, стр. 155-6).

41. Имеется в виду книга *Между двух революций*, начатая в Лебедяни в сентябре 1932 г. и оконченная 23 марта в Москве. Книга была издана посмертно в 1935 г.

42. Иван Михайлович Гронский (род. 1894), ответственный редактор газеты "Известия ВЦИК" 1928-34 гг., председатель Оргкомитета ССП, один из организаторов Первого всесоюзного съезда советских писателей в 1934 г. Валериан Владимирович Куйбышев (1888-1935), партийный и государственный деятель. Белый познакомился с обоими 10 февраля 1933 г. (К.Н. Бугаева, "Летопись").

43. За два с половиной года до этого, РАПП опубликовал "Призыв ударников" (см. "На литературном посту", № 18, сентябрь 1930, стр. 112), долженствующий привлечь кадры писателей-рабочих в пролетарское литературное движение. Решили организовать ряд кружков, в которых известные писатели должны были учить литературному ремеслу начинающих писателей-ударников. Белый сравнивает эти кружки с литературными студиями, организованными Пролеткультом в 1917-20 гг. для новых писателей-пролетариев, и в которых он сам участвовал с сентября 1918 г. до августа 1919 г.

44. Как видно из следующего письма к свояченице, Белый очень волновался по вопросу о читаемости своих произведений и доступности их для более широкой публики. Речь идет здесь о письме, написанном 16 февраля 1933 г. Екатериной Касимовой, колхозницей, и пересланном Белому редакцией "Литературной газеты" (ГПБ, ф. 60, ед. хр. 61). Отрывки из этого письма цитируются Белым в его статье "О себе как писателе", написанной в марте 1933 г. для польской газеты "Wiadomosci literackie": "У Вас, Борис Николаевич ... вовсе не 'узкий круг читателей'. И круг этот становится шире и шире ... Ваши книги читают товарищи мои — это ребята с производства, рабочие, колхозники и бойцы Красной Армии ..." (цит. по русской версии, опубл. в кн. *День поэзии*, Л., 1972, стр. 270).

45. Неразборчивое слово.

46. См. прим. 41.

47. Предчувствуя свою смерть, Белый особенно волновался о будущем своей жены и близких родных. Мысль о их незащищенности перед растущими репрессиями его страшила. О своей встрече с Белым в Коктебеле летом 1933 г., Надежда Мандельштам пишет следующее: "Когда уводили его жену (...), он бился и кричал от бешенства. Почему берут ее, а не меня — жаловался он нам в это лето (...). Эта мысль приводила его в неистовство и сильно укоротила его жизнь" (*Воспоминания*, стр. 163).

48. Ср. вступление и прим. 15 к вступлению. В своих воспоминаниях Е.Н. Кезельман описывает свои первые опыты в жанре пейзажа, начатые после возвращения Белого и сестры в Москву осенью 1932 г.: "Тоска 'разорвалась', 'перегорела' и дала искру для творчества, независимо от внешней обстановки. (...) Желание неожиданное рисовать было так настойчиво, что я схватила маленький клочочек бумаги, цветные карандаши и быстро, быстро набросала на нем и брызги, и стрелы, и волны заката. Раньше я не рисовала с натуры и рисунок мой был более чем примитивен. Но — он не был единственен; в течение года я рисовала закаты и почти в каждом письме посылала их в Москву."

Белый сам начал рисовать во время своего путешествия по Кавказу в 1929 г. Ср. его письмо к Иванову-Разумнику от 30 августа того же года: "И это вовсе не важно, что получилась: всякая юмористика (вместо рисунков); важно то, что осознавалось в процессе мазанья и ошупывания красок; ведь и допотопные рисунки на кости начинались с подобного нечто; верьте, — тут не искусство, а — познание".

49. Московское издательство.

50. Здесь вставлена стрелка, указывающая на маленькую (3,8 × 3,8 см.) карикатуру, сделанную чернилами в конце письма и изображающую Белого, работающего за письменным столом с поднятым ухом. Слова под рисунком: "Это — я болен".

51. Здесь вставлена вторая стрелка, указывающая на ту же карикатуру.

52. Открытка датируется на основании карандашной пометы, сделанной неизвестной рукой, и почтового штемпеля (8.6.33). Бугаевы выехали из Москвы в крымский курорт Коктебель 17 мая, и остались там в доме творчества (бывшем доме поэта М.А. Волошина) до 20 июля (К.Н. Бугаева, "Летопись").

53. Здесь вставлена приписка К.Н. Бугаевой: "Я загорела, и главное обветрилось лицо, горит, как на ...* Весь день сегодня с Вами. Так и стоите обе Вы передо мной. К. Родные мои! Целую Вас крепко и горячо. Хоть бы немного наладилось в Лебедяни: молоко, творог и прочее".

54. Отрывок из этого письма цитируется К.Н. Бугаевой в воспоминаниях (см. "Le 'Contrepoint' dans l'oeuvre de Belyj", стр. 146). Она дальше пишет, что "это письмо, в сущности, было последним. После него были открытки или короткие приписки в моих письмах. Силы Б.Н. быстро падали" (там же).

55. Очевидно, Белый предвидел конец ее трехлетней ссылки. На самом деле,

**Неразборчивое слово.*

не суждено им было больше встретиться; писатель скончался 8 января 1934 г. от паралича дыхательных путей. Десять дней спустя Елена Николаевна присутствовала на захоронении урны на новом кладбище Новодевичьего монастыря.

56. Вечная тема Андрея Белого — прозаика и мыслителя. В 1920 г. он написал неопубликованную книгу под этим заглавием.

57. Начальные строки стихотворения "Элегия", написанного в 1821 или 1822 г.

58. Ср. слова К.Н. Бугаевой в "Летописи": "Все последние дни находился в состоянии крайней возбудимости и нервного напряжения. Очень много говорил, двигался. 15-го (июля) в 6 часов вечера — внезапное ощущение жара в затылке, обморок, сильнейшая головная боль. (...) Консилиум трех врачей: солнечное перегревание, сильный склероз". Через две недели Белый с женой вернулись в Москву.

Колерэн

Роджер Кийз

ПИСЬМА РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Из публикаций Лундского университета

Работая в одной из парижских библиотек, я случайно набрел на ротаторный журнал Славянского института Лундского университета в Швеции Årsbok 1965/1966 с шестью письмами И. А. Бунина профессору Сигурду Агреллу и со вступительными замечаниями сотрудника института д-ра Карлиса Дравиньша. В последовавшей за этим переписке с директором института Любомиром Дуровичем я получил от него два ротаторных университетских журнала Slavia Lundensia (Lund 1973, 1974), посвященных корреспонденции русских писателей с лундскими славистами. В номере 1973 года помещено 20 писем И. А. Бунина, а в номере 1974 года 47 писем восьми русских писателей. Почти все имена немалые, веские: — Алданов Марк Александрович, Дроздов Александр Михайлович, Иванов Всеволод Вячеславович, Мережковский Дмитрий Сергеевич, Ремизов Алексей Михайлович, Толстой Алексей Николаевич, Сологуб Федор Кузьмич, Шмелев Иван Сергеевич. В обоих номерах "Вступительное слово" — дельное, академически точное — написал сотрудник Института Георг Яугелис. Как видно из перечня, не все писатели эмигранты.

Откуда и почему письма этих писателей очутились в Лундском университете? По инициативе замечательного русского человека, преподавателя русского языка, Михаила Фридоновича Хандамирова (1883-1960) — человека одаренного, высокообразованного и идейного — при университете был создан кружок славистов, поставивший своей задачей издавать на шведском языке произведения многих, тогда еще живших,

русских писателей. В связи с этим у М. Хандамирова завязалась обширная деловая переписка, переходившая иногда в личную, дружескую. Часть его архива хранится теперь в Лундском университете.

Несомненно, все письма представляют собой большой интерес для специалистов литературоведов. Некоторые из писем, кроме деловых, издательских вопросов, отражают и общее настроение русских писателей за рубежом, их отношение к 1917 году, России, западному миру. В своем выборе выдержек из писем я руководился именно соображениями общего характера. Выдержки из писем печатаются здесь по современному правописанию, с исправлением опечаток и сокращений без особых оговорок, а места подчеркнутые корреспондентами — *курсивом*.

Любомир Дурович любезно предоставил мне разрешение использовать материалы сборника, за что я приношу ему глубокую благодарность.

*

Русская эмиграция на Западе стала явлением постоянным. Редеющие ряды первой, "белой" эмиграции пополнились мощным потоком второй, а стареющие ряды второй пополняются новыми эмигрантами и невозвращенцами из Советской России. Каждый из этих потоков имел свои специфические проблемы, но нередко проблемы эти были и продолжают быть общи всей эмигрантской реке. Участь каждого, лишившегося родины, трагична и сводится к пушкинской цитате из Данте: "Горек чужой хлеб, и тяжелы ступени чужого крыльца" («Пиковая дама»). А для русского писателя горечь эта неизмерима. Как же стучались они, эти русские писатели, в двери издателей на чужом крыльце? Как боролись за хлеб насущный, за право печататься? Что думали о России? Что делали для нее? Предоставим слово самим писателям.

*1. Из писем И. Бунина М. Хандамирову и С. Агреллу.
От 7 декабря 1922 года:*

«...» Чрезвычайно благодарю Вас и прошу передать мою

благодарность тем, от лица которых Вы написали мне Ваше доброе и лестное письмо. Очень счастлив Вашим вниманием к русской литературе и рад представить Вам мои писания для перевода. «...» Что до условий, то я готов принять то, что Вы можете предложить. «...» Прибавлю только то, что самое важное для нас, беженцев, постоянно необеспеченных, это плата причитающейся (процентной) суммы вперед. «...»

P.S. Недавно вырвался из России и скоро будет в Париже замечательный писатель, о котором Вы, м.б., еще не имеете достаточного представления. — И.С. Шмелев. Не возьмете ли Вы у него что-нибудь? «...»

От 15 января 1923 года:

«...» Сердечно благодарю Вас за Ваше доброе и заботливое письмо от 11-го января. Очень рад, что Шведская Академия вспомнила литературу, столь славную, нашей ныне трижды несчастной родины, всем культурным миром забытой. Прошу Вас передать Сигурду Васильевичу Агреллу мой привет и благодарность обратить на нас свое внимание и заняться нами. Я только крайне удивлен наличием в качестве претендента на премию Алексея Толстого — *это какое-то недоразумение*. он очень боек, талантлив, но для всякого русского интеллигента просто смешон в качестве такого претендента — он почти фельетонист. «...»

«...» *Известно ли г. Агреллу, что в декабре прошлого, т.е. 1922 г., Ромэн Роллан (известный романист, уже лауреат Шведской Академии по Нобелевской премии) обратился в Шведскую Академию, выставив меня кандидатом на эту премию?* «...»

От 27 февраля 1923 года:

«...» Конечно, очень обидно, получил я когда-то в России по 1000 и даже по 2000 золотых рублей за печатный лист... Но, повторяю, что же делать? Все родные — и мои и Муромцевы — я женат на племяннице С.А. Муромцева — все разорены дотла и в большой нужде. Некоторые из наших родных только и живы нашими посылками. Один мой брат умер (в Москве) от лишений и горя. Другой, в уездном городе Тульской губернии, совершенно ограбленный, живет с маленькими детьми в лютой нищете, едва питаюсь только тем, что пишет портреты своего уездного

начальства. Сестра почему-то попала в Ростов-на-Дону, потеряв юношу сына — пропал без вести. Другой с ней и работает черную работу, почти раздетый и разутый, — пишет, что связывает сапоги веревочкой, так как отвалились подметки, — и это в грязь, в снег; а сама сестра стоит днями на толкучке, продает подсолнухи. Подумайте, после этого, смею ли я мечтать о поездке в Швецию! Русских издательств во Франции нет ("Русская Земля" давно погибла). А с Берлином нельзя делать дел из-за марки. Мало дают и переводы. Книга моя, изданная по-немецки Фишером, имела огромный успех — вся разошлась *в три недели!* — но можете себе представить, что выходит из моего гонорара, если счесть на франки! В Японии переводят бесплатно и переводчик пишет точно в насмешку: "*Многоуважающий* Бунин, японская публика стала любить Вас почти *лихорадочно*, я поздравляю Вас, жалея, что издатель не хочет послать Вам *никакой* гонорар". В Англии издали книгу без спросу и после того как издателя пристыдил один из редакторов «Таймса», этот издатель прислал мне *5 фунтов!* А недавно эта же книга — и опять таки без моего ведома — появилась в Америке в издании какого-то Thomas'a Seltzer'a: я узнал об этом случайно, только из журнала «The New York Times Book Review». Там пишут, что моя книга "is one of the most satisfying that has appeared this season". но из этого не следует, что я получу за нее хоть копейку. «...»

От 20 марта 1923 года:

«...» Брандесу я недавно послал свою книгу по-немецки и получил от него очень лестное письмо, копию которого посылаю Агреллу. Томас Манн тоже очень добр ко мне, я вновь получил доказательство его *чрезвычайного* расположения. Летом в Мюнхене выйдет, вероятно, еще том моих рассказов и «Деревня» по-немецки. Т. Манн обещает, как пишет мне Элиазберг, дать предисловие, которое пойдет сперва как статья в журнале. *По моему было бы очень хорошо, если бы эта статья, это предисловие было бы приложено и к моей первой шведской книге.* «...» Как обстоит дело с романом Марка Александровича Ландау-Алданова («9 термидора»), о котором я Вам писал? Берет ли его «Svenska Andelsforb»? Я еще раз *очень* рекомендую. «...»

P.S. Знаете ли Вы писателя Зайцева (Борис Константинович)? Ему очень хотелось бы издать хоть книгу в «Svenska Andels» Я посоветовал ему обратиться туда. Не будете ли добры порекомендовать?»

От 12 марта 1933 года:

«...» P.S. Отчего не напишете, как Вам теперь живется? Боюсь, что плохо, — как всем нам. Я теперь живу особенно бедно, так бедно, что очень трудно работать».

А в ноябре этого же года Бунину была присуждена Нобелевская премия и 20-го ноября он пишет профессору Агреллу, на этот раз уже на бумаге с гербом дорогой парижской гостиницы «Majestic»:

Дорогой и уважаемый Сигурд Васильевич,
очень прошу Вас простить, что только теперь пишу Вам — события сбили меня с ног и понесли, точно человека, внезапно упавшего в водопад Иматру! От всей души, горячо благодарю Вас за все, что Вы для меня сделали за последние годы. Числа 5-го (декабря) выезжаю в Швецию и буду истинно счастлив встретить Вас — или в Стокгольме или в Лунде.

Преданный Вам
Ив. Бунин».

II. Из писем И.С. Шмелева М. Хандамирову и жене его, Надежде Сергеевне

От 22 февраля 1924 года:

«...» Предлагаемые (предполагаемые) Вами условия я, конечно, принимаю. Все вырешить с договором, прошу Вас, как Вы находите удобным. И еще раз приветствую прекрасное начало — сближать людей, знакомить с русской литературой, с человеческой душой. Пусть Россию узнают *всю*. «...».

От 20 апреля 1924 года:

... *Успех!* Отзывы отмечают и лиризм и кошмар, и

1. Речь идет о выходе книги по-английски "Это было".

трагедию, и черт их знает!! "Сумасшедший" роман — статья "Glasgow Herald"! «Manchester Guardian» — (у меня есть только спешный отрывок из письма переводчика, позднее получу много других отзывов) отмечает сильно трагический тон, ставит меня рядом с Буниным (?) — и Куприным — но для меня это значения не имеет, так как я *сам по себе*. Получил я от Rudyard'a Kipling'a письмо, как и переводчик. Очень хвалебное. Вот что, между прочим, пишет Киплинг (пишет он на письме "private") и я сообщаю Вам доверительно. Это не может служить для издателя рекламой, но прочесть Вы, если найдете нужным, думаю, издателю можете. Из письма Р. Киплинга (в переводе): "Я нашел это произведение очень интересным и вместе с тем жутким и правдивым. Благодаря нему начинаешь понимать в некоей мере те глубины [страданий], через которые проходит ваша страна. С западной точки зрения, этот рассказ, как говорит Эдгар По, "вне времени и пространства", но в нем чувствуется вероятность того, что, в каком-то будущем, может стать страшной действительностью в других странах..."

От 1 августа 1925 года:

«...» Благодарю за лестную оценку «Чужой Крови». У меня все *написанное* как-то отпадает от сердца. Может быть Вы и правы. Знаю, что этот рассказ очень хвалили. А я... — может быть эта работа связалась с проклятым временем (писал ее весной 1917 года) и потому — тяжело вспоминать. «...»

«...» *Никого* не могу указать в Москве для выставки русского быта: все рассыпались, а меня боятся там как чумы. Там все на подозрении! Швед вдруг к русскому интеллигенту завернул! Поверьте, что так. «...»

От 29 августа 1925 года — письмо Н.С. Хандамировой. Шмелев жил тогда в Ландах и увлекался огородничеством: — «...» А вообще у меня подсолнухи — слоны. Есть Куприн, Бунин, и даже... Андрей Белый — самый кривой и вихлястый. «...»

Дыни какие! А огурцы были (и еще будут, уже завязываются, вторые) — Россия, вязниковские! Арбузы. Завел парничок, и выхаживаю цветы — глоксинии. Вся эта опека берет

время — 50 ведер воды каждый вечер! 30 подсолнухов! Все горит, и французы называют меня — *maitre de potager!* «...»

Михаилу Фридоновичу скажите, что лишил он меня большого удовольствия поездить с ним по лесам и поговорить душевно! Чувствую я его редкостную для нашего времени закваску лучшей нашей интеллигенции. Скоро это будет — беловороньем в нашей жизни. Отупение, ожесточенность, навсенаплевательство, — духовная усталь, что ли. О России и не говорю. Хотя... в эмигрантской молодежи *есть* тяга духовности. Но — в Европе — голость и сухота. Так бы мне хотелось "взять" современного европейца — дать его. Он будет дан в ... «Спасе Черном». Но будет ли «Спас Черный» — вопрос. «...» С Европой — нехорошо. Она — болеет и ... стареет. Или скверно молодеет. «...»

От 8 сентября 1925 года:

«...» А быть хоть месяц вне города — это же очищение духа, это необходимо, как баня. Человечество-то потому и гибнет (а оно гибнет!), что забыло про "дезинфекцию" (всяческую). Камень городов изолировал *человека* от мягкой и *живой* земли. Камень убьет человека. Сколько сил *было* потрачено, чтобы из камня создалась *почва*?! Теперь все черствеет, каменеет, хладеет. Уходит живое начало из человечества. Капитал пропал, живут на уцелевшие проценты — мораль осталась! И какая — верткая, какая худосочная мораль! *Скука* одолевает человечество. И вот — от скуки-то — большевизм! И вышел он всецело из позитивизма самого крайнего. Раз в человеке нет и тени божества — что он? Чем он важнее *мухи*? И если он для моих целей плох — надо его уничтожить! И — уничтожают. Последовательно. Пришли "садовники" и ... полют. И содрогания не чувствуют.

Два пути всего есть: к Богу и Дьяволу. Третьего нет, но передовое человечество давно идет якобы по третьему: так называемому рационалистически-позитивно-демократическому. Но солнца-то нет на нем — а лишь мертвенный отсвет былых чувствований света, лишь проценты с капитала божеского. Они изживаются. Черпать силы не из чего. Как я могу культивировать божеское в личности, если вообще *Божеского* не знаю? Я

легко сорвусь, и слова "божеское и личность" — медь звенящая, давно зеленая. На наших глазах происходит кризис — отбор. Рационализм в дрожании: туда или сюда. Даже в лютеранской церкви наблюдается искание пути и — скука. Тогда — прямая дорога — к черту. Но если еще верующий [верующий?, С.К.] слаб, может ходить на костылях рационализма и позитивизма, культивировать уважение к божеству личности отдельной и не посягать на нее, руководясь какими-то императивами высшего порядка (отсветы былой религиозности, зафиксированные чувствительной клеткой нервных центров), то — *массы*, у которых Бога взяли (или которым Бога не дали), пойдут стремительно за чертом. Ибо — смаку много. И дерзания всякие позволены. Кары, законы? Да они же на наших глазах стоят кверху ногами и попираются. Пример? Отношение Европы к большевизму. Короли жмут руки убийцам и ворам. Хорош пример для масс? Цинизм! Вы согласны обедать с ... убийцей-насильником, только что истребившим Ваших ближних в подвале! снявшим с них сапоги и в оных шеголяющем! А вот Европа — согласна. И даже Английский Король ел за одним столом с такими. Вот — пример. Но... Вы, конечно, все это знаете и читаете историю «Падения Европы» — каждый день падает, блудница, и — улыбается и бахвалится. А ведь придет время: придется быть может России спасти Европу! От монголов укрыла, перетерпела... Теперь — последний акт трагедии (ибо история кончается) — Спасение Европы (мира), 1000 лет царства земного и — последний суд. Зверь давно вышел и — рыскает.

От 27 ноября 1929 года:

«...» Моя мечта — увидеть «Солнце Мертвых» на шведском языке. Не могла ли бы подействовать этому Сельма Лагерлёф, читавшая книгу в немецком переводе, приславшая мне прочувствованное письмо? Как Вы скажете? А я бы написал ей с легким сердцем и просил бы ее подействовать, в интересах *человечности*.

Вот в чем моя доука. Я знаю, как Вы заняты, дорогой Михаил Фридонович, и решаю отвлечь Вас от дела, оправдывая себя соображением, что мои интересы личные и

русские. Меньше всего думаю я о — выгоде, о собственных успехах. Мои успехи, — моих книг — важны мне постольку, поскольку полезны они тому делу, которому стараюсь содействовать *здесь* по силе и возможности. «...»

Открытие 1930 года:

«...» Вот уж никак не ждал от С. Лагерлёф такого "оборота". Пошли же ей, Господи, достаточно времени! Стильно *такой* писательнице так относиться к творчеству автора европейского и — даже больше известного! Тем более, что она так мило мне писала. Но ... время сегодняшнее — без стыда! Она же *должна* знать «Чашу». Я имел неосторожность послать ей немецкое издание. Но — Бог поможет побороть силы враждебные. Только вот чем они кончат, эти силы? «...»

*

Что можно сказать о письмах других писателей? Прежде всего они живо отражают характер писавших, дополняют их биографии, подтверждают лишний раз то, что писалось и говорилось о них. Черным по белому сквозит пресловутая беспринципность А. Н. Толстого, который не просит, а требует гонорара, ставит издателю свои условия, пользуется деловым коммерческим языком. Вот как он пишет М. Хандамирову 11 января 1923 года из Берлина:

«...» прошу прислать мне проект договора от издателя, введя в него пункт об уплате мне, при представлении мною книг «Хромой Барин» — роман и «Наваждение» — повести о 1917, 1918 и 1919 годах, аванса в 500 шведских крон. Остальная уплата всей причитающейся суммы, — в день выхода книги (или книг) на шведском языке. Выход книги (или книг) должны последовать не позднее 1-го января 1924 года.

С глубоким уважением граф А. Толстой.

Требуемых денег граф так и не получил. Весной 1923 года он уехал в Советскую Россию, где стал "советским графом" и

через несколько лет ... "миллионером". И каким контрастом звучит письмо А. Ремизова от 8 мая 1926 года, написанное вязью, с вычурными выкрутасами, со сложнейшей и презабавнейшей подписью (в журнале помещено факсимиле) и открытка от 1 января 1927 года, в которой читаем:

«...» Не из-за гонорара пишу, я знаю, что иностранцы за переводы платят так мало, что и переводчику-то за его труд перепласт грош. Мне важно иметь книгу или номер газеты *для библиографии* (у некоторых итальянских издателей есть даже в контракте пункт, где говорится, что автор отказывается от гонорара. В таком случае я прошу несколько экземпляров книги (10-20, и больше ничего). «...»

Письма Д. Мережковского сухи, как суховат был и их автор. В письме от 1 июня 1923 года он просит прислать "хотя бы в виде исключения, аванс за первое издание", так как:

«...» все мы, русские писатели, находимся здесь в чрезвычайном тяжелом материальном положении и не можем ждать, когда издание будет распродано. Я думаю, что европейское общество даже представить себе не может, в каком мы находимся катастрофическом состоянии, иначе оно не могло бы пройти равнодушно мимо этого ужасного факта. «...»

Три письма А. М. Дроздова (1895-1963), уехавшего из Берлина в Советскую Россию в начале июня 1923 года, и несколько писем М. Алданова не представляют собой ничего особенного интересного, а вот на четырех письмах Всеволода Вячеславовича Иванова (1895-1963), из России никогда не эмигрировавшего, следует остановиться. Его письма непосредственны, подкупающе-искренни, мило безалаберны. В первых двух от 1924 года он обращается к М. Хандамирову по имени и отчеству и подписывается полными именем и фамилией. В третьем, 1926 года, он уже забыл отчество, а четвертое письмо от 28 августа 1926 года уже начинается обращением "Уважаемый товарищ Хандамиров" и кончается словами:

«...» Не сетуйте на меня, что я обманываю с присылкою книг — хозяйство мое ни черта не стоит и всюду у меня беспорядок.

Привет Вам Всеволод

В то время как соотечественники В.В. Иванова за рубежом бьются как рыба об лед в надежде получить хоть какие-нибудь деньги в долларах, кронах, марках, фунтах или франках, мечты подсоветского писателя куда проще. Вот, что он писал 50 лет тому назад, на девятом году советской власти (10 апреля 1926 года):

«...» Теперь следующее: гонорар за перевод, если вышлете мне такой валютой: мне очень надо две трубки, хорошего трубочного табаку и три пары или две спортивных чулок. Если Вы мне устроите такую посылку, я буду очень благодарен, ибо ничего этого в России нет, особенно плох табак, так что я уже подумываю курить бросить. «...»

Вероятно М. Хандамиров писал В.В. Иванову что-нибудь о путешествии в Западную Европу. Это видно из письма Иванова от 28 августа 1926 года:

«...» За границу? Я хотел бы попасть в Париж, но не знаю, добуду ли визу и кроме того мне месяца три-четыре надо поработать, пишу роман. «...»

За границу одаренный писатель В.В. Иванов выехал однажды в Берлин; дома вынужден был растратить свой талант на писание в требуемом советском духе. "Такие-то дела" — пишет в концовке одного из писем В.В. Иванов. "Дела" — нерадостные. Пути русских писателей за границей были тернистыми. А на родине? Для одних молчание, для других почет и дачи, для третьих "две пары спортивных чулок".

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

ХОЛОДНАЯ ЗИМА

НА ЛУБЯНКЕ, В «НАЦИОНАЛЕ», У Е. П. ПЕШКОВОЙ

Вскоре случилось неизбежное: у нас появились вши. В Москве их называли "семашками", по имени комиссара здравоохранения Н.А. Семашко. Кто-то из нас захватил их в тесноте толкучки или в очереди и занес домой. Вши были бедствием того времени: они не только вызывали отвращение, но служили носителями сыпного тифа. Эта болезнь по счастью миновала нас.

Что было делать без горячей воды, без мыла, без возможности всем сразу сменить белье? Оставалось одно: каждый вечер перед сном и по утрам просматривать все носильные вещи, особенно около ворота и проймы рукавов — и давить их. Когда удавалось нагреть утюг на печке, мы гладили им вывернутые наизнанку платья. Тело горело как в жару, и я содрогалась от брезгливости.

Мы впали в отчаянье. Лечь в чистую постель в свежем белье без обязательного "просмотра" казалось несбыточной мечтой.

Вскоре после Рождества в середине ночи пришли с обыском. В тот вечер Виктя долго писал и оставил рукопись на столе; обыкновенно мы прятали ее на ночь под доской письменного стола. Проснулись от шума голосов в передней за нашей дверью. Чекисты постучали со стороны Сеницыных, которые и впустили их в дом.

Мы вскочили с постелей, не зажигая света. Первой мыслью

Помешаем третий — и последний — отрывок из воспоминаний О.В. Черновой, падчерицы В.М. Чернова, лидера партии эсэров, быв. председателя Учредительного Собрания. Публикуется с сокращениями. Первые открывки см. кн. 121 и 122 "Н.Ж". Ред.

было помочь скрыться Викте. К счастью наше окно, проложенное резиновой прослойкой, могло свободно открываться: "на всякий случай" мы не заклеили его на зиму. Виктя поспешно оделся и выскочил из окна (с улицы это был второй этаж). Но как мы ни шарили в темноте, нам не удалось найти его шапку. Виктя стоял перед окном и просил нас бросить ему рукопись. Мы не соглашались — как было ему идти с таким "грузом" по ночной Москве? Нас беспокоила шапка — стояли морозы и, не говоря о холоде, человек без шапки мог привлечь к себе внимание милиции. Все наши женские шапки были ему малы.

Мама выскользнула за дверь, будто спросонья, и крепко заперла ее за собой: дети спят, зачем же их будить заранее?

В передней была бестолочь: трех чекистов, явившихся для обыска, сопровождали три красноармейца; на шум голосов вышли соседи — Чернов и Дудолодова. По правилам, приступить к обыску можно было только в присутствии понятых; кто-то бросился их разыскивать. Остальные ждали. Пользуясь сутолкой мама шопотом и знаками объяснила Дудолодовой, что ей нужна шапка. Та сразу сообразила в чем дело и, удалившись на мгновение в свою комнату, сунула маме свою оленевую шапочку с длинными завязывающимися ушами. Незаметно приоткрыв дверь мама передала ее мне. В открытое окно я бросила шапку Викте и он с силой натянул её на свою могучую голову — мне послышалось, как она затрещала по швам. Но Виктя всё стоял и смотрел на нас умоляющими глазами в ожидании рукописи. Его темная фигура ясно вырисовывалась на снежном фоне.

— Уходи скорее, сейчас начнут обыск, — крикнули мы и решительно захлопнули окно. Сквозь стекла было видно, как Виктя пожал плечами и медленно зашагал, исчезая в темноте.

Мы с Наташей засунули исписанные Виктей листы в обычную пряталку и быстро легли, как будто только что проснулись — в ту ночь я спала на полу. Адя притворилась спящей. Первым вошел рослый и еще молодой следователь Кожевников в длинном пальто и кепке — он тогда только что начал специализироваться по делам эзэров. Грузно усевшись на стуле, он ждал товарищей и понятого.

Я встала и, надев на себя верхнюю одежду, забегала по

комнате, убирая то там, то здесь предметы, выдающие присутствие мужчины.

Мама вернулась в комнату, Кожевников обратился к ней:

— Где Чернов? Вы его жена?

— Чернов с женой живет в комнате на другой половине дома, — спокойно ответила мама. — А я — Ольга Елисеевна Колбасина, живу здесь с дочерьми. Вы ошиблись дверью.

При проверке оказалось, что Чернов действительно живет рядом. Этот Чернов, еще молодой человек, совсем не был похож на председателя Учредительного Собрания, лидера партии эсэров. Произошло замешательство. В комнату вошли два чекиста в кожаных куртках с понятой, которую наконец разыскали — пожилую дворничиху, закутанную до глаз серым вязаным платком.

Кожевников задавал вопросы и спорил с Наташей, а его два сотрудника перебирали книги и бумаги, рылись в чемоданах и просмотрели шкаф, в котором лежали и висели кое-какие мужские вещи. В те годы люди одевались во что придется, и всякая одежда казалась нормальной. Бритвенные принадлежности мне удалось рассовать в разные места. Чекисты заглянули в печурку, рылись в ящике стола, но по счастью не попробовали поднять доску.

На виду лежал большой кожаный портфель с мамиными конспектами — она читала популярные лекции по истории и литературе в Народном Доме имени Желябова около Таганки.

— Ну, портфель ваш, товарищ Колбасина, мы всё-таки заберем с собой, — сказал Кожевников. — Не беспокойтесь, мы его возвратим вам в целости.

После его ухода мама вспомнила, что накануне положила в портфель свое обручальное кольцо, спадавшее у нее с пальца. Для мамы, никогда не бывшей суеверной, этот эпизод с кольцом показался тяжелым предзнаменованием. Портфель, разумеется никогда не был возвращен.

Чекисты еще долго искали, но не нашли ничего подозрительного. И с фамилией Чернова произошло недоразумение. Не ошибка ли? Во всяком случае ожидания Кожевникова не сбылись.

Брезжило утро, серое, бессонное и освещало серые лица,

раскрытые и измятые постели и беспорядок в комнате. Кожевников пошептался со "своими ребятами". Они решили уйти, но оставить в квартире "засаду", назначив на дежурство — стеречь нас — двух красноармейцев из сопровождавшего их конвоя. Солдатам было поручено задерживать всех, кто бы ни пришел к нам на квартиру.

Эта засада продолжалась 15 дней. Солдаты, по два, сменялись каждые двое суток. Они должны были сидеть за дверью нашей комнаты в широкой передней, ведущей к выходу через двор. Синицыных всё это не касалось и у них не было никаких неприятностей. Офицер охраны Чека каждый раз сопровождал новых конвойных и уводил прежних.

Наконец, после двух недель засаду сняли. Виктя долго скитался, ночуя на разных квартирах. На время его приютили братья Рабиновичи. Когда он счел возможным вернуться домой, он продолжал соблюдать большую осторожность, всегда оглядываясь и наблюдая улицу, прежде чем выйти или войти в дом...

В конце января В. М. заговорил о возможности переехать нам всем в Башкирию. Нескольким членам партии с.р. удалось там устроиться на работу в хозяйственных и культурных организациях. Председателем Башкирской республики был Валидов, общественный деятель, человек энергичный и предприимчивый. Под его руководством туда съехались кооператоры, близкие к эсэрам, и они звали новых людей на работу, чтобы расширить свою деятельность.

Остаться дольше в нашей квартире было опасно: ВЧК проложила туда дорогу, и снова могла нагрянуть к нам. В нашей жизни была полная безвыходность. Виктя и мама решили воспользоваться этой возможностью и переехать в Башкирию. Мы с Наташей тоже сможем там поступить на службу, работать или преподавать. Валидова ждали в Москве, и я помню, что меня несколько раз посылали в какие то многоэтажные учреждения спросить, не приехал ли Валидов.

Наконец Валидов появился — небольшого роста человек слегка монгольского типа, в защитной полувоенной шинели и белой бараньей шапке. Виктя обо всем переговорил с ним. Виктя

поедет под чужой фамилией, начнет работу и никто не будет знать, кто он. Я не помню, в какой город Башкирской республики нас пригласили, но надо было ехать через Уфу. Вскоре должна была приехать в Москву по делам знакомая Валидова, жена крупного кооператора, работавшего с ним. Познакомившись с нами она займется оформлением наших документов и командировок.

И мы стали ее ждать. Всякая перемена в нашей жизни мне казалась счастливым выходом; а всякая живая работа или преподавание — радостной мечтой. Я помню, что меня пугал только холод — говорили, что в Башкирии нередко бывает 50 гр. мороза, но при безветрии его можно переносить. Вскоре действительно приехала Вера Ивановна (фамилии ее не помню), небольшая гладко причесанная женщина, очень энергичная и уверенная в себе. Она была беременна, и это уже было очень заметно.

Уложить вещи было не трудно — наши фибровые чемоданы, купленные за границей, были еще крепкими. (Один из них с темно-красными сургучными печатями ВЧК сохранился у меня до сих пор).

Накануне отъезда (в середине января 1920 г.) мы сговорились, чтобы встретиться с Виктей у братьев Рабиновичей (Евгений и Александр Исааковичи) в их квартире на Никитском бульваре: это будет наш прощальный вечер.

Виктя, всегда ласковый с нами, нежно простился с каждой из нас. Мы расставались всего на несколько дней.

На другой день после раннего обеда за нами зашла Даша проводить на вокзал. Утром мы попрощались с Синецкой и сказали ей, что оставляем комнату за собой — в ней лежали наши вещи и самовар, принадлежащий друзьям — всё это заберет Даша после нашего отъезда.

Погрузили вещи на салазки и отправились на Казанский вокзал. Было холодно, замерзали лица, но мы шли быстро. Мы тащили салазки вдвоем по очереди, и засветло добрались до вокзала. При помощи носильщика нам удалось найти вагон, отходящий в Уфу, и купе, где уже устроилась Вера Ивановна. Никого кроме нее и нашей семьи в нем не было. Поезд отходил ночью.

Вера Ивановна была рада, что мы пришли заранее, в назначенное время — она как будто чего-то опасалась и нервничала. Мы начали устраиваться, поставили три чемодана на верхнюю полку, но еще не успели развернуть скрученные одеяла, как железнодорожный служащий обошел вагон и предупредил, что поезд задерживается из-за снежных заносов и не пойдет раньше суток. Он попросил всех покинуть купе, потому что должен запереть двери. Наши вещи будут в сохранности.

Вера Ивановна сказала, что пойдет ночевать к друзьям. Мама решила, что Наташе и мне с Дашей лучше всего вернуться в нашу комнату. А она с Адей пойдет на квартиру Василия Викторовича Леоновича, бывшего эсэра, которого мы хорошо знали еще по Парижу. Он жил со своей новой женой около Арбата в помещении профессиональной организации швей — жена Леоновича заведовала там одной из артелей. Мама надеялась у них встретить Виктю. Часам к 12 мы все сойдемся в поезде.

Я очень устала от сборов и холода, и ужасно ныло плечо под тяжелой одеждой. И вот, снова надо было куда-то тащиться по морозу. Даша старалась развеселить нас по дороге к Яузским воротам: теперь уже зима идет к концу, а весной она непременно навестит нас в Башкирии. Мы добрались до нашего дома и постучали в дверь со стороны Сеницына. Даша хотела войти в нашу комнату, но дверь с силой распахнулась, и на пороге появился Сеницын. Он был в состоянии крайнего возбуждения, увидев нас, закричал:

— Опять вы? Довольно! Я больше не впускаю вас в этот дом!

Пораженная Даша попыталась ему объяснить, что поезд задержался из-за снежных заносов и мы вернулись переночевать в нашу комнату.

— Она больше не ваша. Довольно! Вы мне всю зиму отравили, и я вас не пушу на порог. Убирайтесь поскорее по добру по здорову.

Даша строго возразила, что он не имеет никакого права гнать нас из комнаты, которая еще числится за нами...

— Мне плевать на ваше право! А если вы не уберетесь, я

немедленно пойду в домовый комитет и скажу там, что вы за птицы.

Тут — и это воспоминанье до сих пор мучительно для меня — я заплакала и не в силах была остановиться, хотя и чувствовала жгучее унижение от этих слез. Даша обняла меня за плечи, взяла Наташу под руку и мы вышли на двор и на улицу.

Мороз был сильный, слезы застыли у меня на ресницах. Даша решила, что поведет нас ночевать к своим друзьям Буткевичам, которые жили около Таганки.

В назначенный час, около 12-ти, мы вошли в наше купе. Мама и Адя уже сидели на скамейке укрыв колени огромной енотовой шубой, вроде дохи, которую Виктя дал нам на дорогу. Вера Ивановна устроилась напротив у окна. На ее месте было постлано одеяло и лежала большая подушка в чистой белой наволочке. Она была в мягких домашних туфлях и уютно куталась в темный плед.

Поезд чуточку подтопили, и после резкого уличного холода в вагоне казалось почти тепло. Поезд отходил только к ночи. Даша села в уголок и, пригревшись, задремала. Мы с Наташей достали из чемодана книги и начали читать при дневном, быстро угасающим свете. По вагону, как и накануне, прошел проводник и громко объявил, что поезд не пойдет в ближайшие сутки: пути еще не очищены от снега. Впрочем, сегодня все могут остаться в купе. Час отъезда еще не назначен.

Вера Ивановна, слышавшая наш рассказ о том, как себя показал Синицын прошлой ночью, сурово сказала:

— Ну и сидите тихо и никуда не ходите, а то и до беды недолго допрыгаться!

Однако мама не могла спокойно оставаться в поезде — она решила еще раз пойти к Леоновичам: она условилась с Виктей накануне, что в случае задержки поезда снова встретится с ним у них на квартире. Мама была озабочена — вероятно она жалела, что дала себя уговорить поехать с нами, оставив Виктю. Я стала просить маму не уходить. После вчерашней ночи я чувствовала страх: казалось, что-то грозное нависло над обледеневшей Москвой.

— Не уходи, останься с нами. Ведь поезд может отойти неожиданно, что тогда делать?

Вера Ивановна была очень недовольна маминым решением. Она сказала об этом без обиняков и замолчала, делая вид, что читает книгу.

— Ну что вы все в такой панике? — сказала мама, — вы мои храбрые, мужественные девочки!

Мама ушла. Я продолжала читать. Вера Ивановна начала устраиваться на ночь и потушила свет.

Закрытая дверь купе внезапно отодвинулась и на фоне освещенного прямоугольника ясно вырисовалась фигура высокого красноармейца в перетянутой поясом шинели и большой белой папахе. Мы вскочили и зажгли свет.

— Кто из вас Колбасины? Меня к вам послал товарищ Леонович. Ваша мать была задержана на его квартире в здании профсоюза.

— А вы кто? — спросили мы.

Я из охраны, но я личный знакомый товарища Леоновича. Ваша мать просит вас, чтобы вы сейчас же сообщили отцу, что там засада, и он не должен больше туда ходить. Предупредите его.

Мои мысли завертелись: мама попала в ловушку, Виктя не арестован. Это провокация.

— Он провокатор, — шепнула Наташа.

Лицо Веры Ивановны покрылось красными пятнами. Она встала и, недружелюбно взглянув в нашу сторону, взяла руку солдата и крепко, с чувством её пожала.

— Спасибо, товарищ! Спасибо вам!

Он вышел.

— Что вы, Вера Ивановна! Это несомненно провокация, — закричали мы в один голос.

— Тут что-то нечисто, — сказала Даша. — Красноармеец из охраны, и вдруг оказался приятелем Василия Викторовича. Это слишком странное совпадение.

— И вы тоже, Юлия Михайловна! — уже не сдерживая себя закричала Вера Ивановна. — Вы все неосторожны, не можете сидеть на месте, делаете глупости, и вам повсюду мерещится провокация. Зачем ушла Ольга Елисеевна? Вот она и села в

засаду. Теперь, девочки, слушайте. Командую я, и без меня не смейте ступить на шаг! Я отведу вас в безопасное место, где вы не сможете повредить ни себе, ни мне. И там вы подождете, пока всё разрешится. Может быть, вашу маму сразу отпустят. Адичку мы оставим на попечение Юлии Михайловны. Ее не тронут. А вы, Наташа и Оля, одевайтесь и идите за мной. Довольно мне неприятностей.

Вера Ивановна была в истерическом состоянии: из-за ареста мамы могла задержаться ее поездка к мужу. Она потеряла голову. У меня и Наташи было острое чувство вины перед ней, даже не за себя, а за маму, что было еще сильнее — и это сознание ставило нас в зависимость от Веры Ивановны.

А у нее была одна мысль — бежать из поезда и увести нас. Боялась ли она наших неосторожных слов в случае ареста, или была просто в беспамятстве? Обращаясь к Даше она сказала, что оставляет пока вещи и надеется вернуться завтра утром. Она взяла нас, как маленьких, за руку и буквально потащила к вокзальному выходу.

Странное дело, хотя прошло по крайней мере полчаса, пока мы разговаривали и собирались, при выходе с вокзала мы столкнулись с нашим красноармейцем в белой папахе. Он сказал с улыбкой, что вот — запутался и ищет, как ему удобнее выйти в город. Я взяла В.И. под локоть и прошептала:

— Он ждал нас, он следит куда мы пойдем.

Но В.И., пожав плечами, как на зло громко спросила красноармейца, как выйти на Садовое кольцо, и назвала нужный ей бульвар. Отойдя немного мы с Наташей попытались ее убедить, что солдат сейчас пойдет за нами, и лучше всего вернуться в вагон. Нас может быть и арестуют, но ее не тронут и она сможет уехать в Уфу. Или пусть она оставит нас и скроется одна. А так, убегая с нами, она только себя скомпрометирует, поддавшись на провокацию.

Но Вера Ивановна быстро шла по незнакомым улицам. Было уже поздно и дома стояли темными; нигде ни души. Внезапно, проходя мимо большого дома, я узнала ту же знакомую фигуру в высокой бараньей шапке; она четко вырисовывалась на оранжевом фоне открытой двери в освещенную лампой дворничью. Я сделала знак Вере Ивановне. Увидев

красноармейца она, я думаю, в первый раз усомнилась. Но вместо того, чтобы повернуть назад или остановиться, она сильнее сжала наши руки и еще ускорила шаг.

Мы свернули и шли дальше по глухим переулкам с двумя рядами высоких сугробов.

— Вера Ивановна! Куда же вы нас ведете?

— Не спрашивайте. Молчите. Я веду вас в надежное место, и там вы переждёте.

— Но ведь за нами слежка — вы же видите? Мы приведем с собой чекистов.

Если бы не всё пережитое накануне, крики Синицына, голод, усталость и мороз, который сжимал голову и леденил лицо, превращая реальность этой второй ночи в какой-то бредовый сон, вероятно у меня и у Наташи хватило бы воли не спорить с обезумевшей Верой Ивановной. Мы бы просто сели на тротуар, прямо в снег, и отказались бы идти. Но странное оцепенение сковывало меня.

Наконец, завернув на небольшую улицу, В.И. шепнула нам, что мы пришли, и мы проскользнули в неосвещенную подворотню. Во дворе Вера Ивановна нашла нужный вход и мы поднялись по лестнице. Только тут она сказала нам, что привела к старому другу Ховрину, бывшему ээру, который давно отошел от партийной работы; он знал ее ребёнком.

Еще раз мы с Наташей попытались ее отговорить, но было уже поздно. В.И. постучала, сначала тихонько, потом громче. Мы подождали несколько минут на площадке, наконец на голос Веры Ивановны, дверь открылась. Ховрин (я не помню, да кажется никогда и не знала его имени-отчества), поспешно застегиваясь впустил нас в кухню. Это был пожилой человек, худощавый, с короткими седыми волосами.

Отойдя в сторону в передней, В.И. полушепотом объяснила Ховрину причину нашего вторжения. Я не могу сказать, чтобы он выразил восторг, выслушав ее, но он ни тоном голоса, ни малейшим жестом не выдал своего недовольства или страха. Он отнесся стоически к нашему приходу.

Ночь уже кончалась, но еще не светало. Ховрин усадил нас в кухне, разжег самовар и поставил его на узкий непокрытый стол. Он заварил в чайнике сухую морковь и налил нам по чашке

горячей жидкости. На короткое время мне показалось, что я вырвалась из душившего меня кошмара.

Было нетоплено, но тихо и тепло после целой ночи на морозе. Медный самовар, пар, поднимавшийся над чашками, спокойный, слегка приглушенный голос Ховрина — всё принадлежало к реальному миру, и я очнулась.

Но не прошло и часа, как раздался стук в дверь — сильный и непререкаемый. Ховрин вышел в переднюю и после недолгих переговоров впустил 3-х чекистов. Первым из них вошел уже знакомый нам Кожевников, в том же сером пальто, в котором он был у нас при обыске. Он уселся на табуретку и начал обычный опрос. Его спутники в черных кожаных куртках остались в передней.

Кожевников, по-видимому, был опять разочарован: худая фигура Ховрина и его точные ответы ясно доказывали, что он не Виктор Чернов. Вера Ивановна дала сведения о себе. Он обратился ко мне:

— Ваши имя, отчество, фамилия?

— Ольга Ивановна Колбасина.

— Где ваш отец?

— Наша мать давно разошлась с ним и потеряла его из виду. Его, может быть, нет в живых.

Я говорила уверенно и без запинки. Наташа повторила то же, и может быть Кожевников подумал, что он ошибся.

— Почему вы ушли из поезда?? — обратился он к В.И.

— Было холодно. Разве я не имела права пойти к знакомому и взять с собой девочек?

К концу допроса совсем рассвело и наступило серое угрюмое утро. Кожевников сложил протоколы, встал и объявил, что мы арестованы. Вероятно в эту минуту Вера Ивановна поняла безумие своего поступка. Я чувствовала себя ужасно, думая о том, что эта малознакомая беременная женщина арестована из-за нас и вдобавок совершенно зря захвачен пожилой, больной сердцем Ховрин.

Это чувство вины с тех пор не оставляет меня. Мне совершенно неизвестна судьба бедной Веры Ивановны. Екатерина Павловна Пешкова не раз говорила нам о Ховрине,

когда мы встречали ее в 1922 г. в Херингсдорфе в Германии и в Париже в 1928 и 1936 годах. Екатерина Павловна рассказывала нам, что после того, как он отсидел одновременно с нами месяц в тюрьме, его выпустили. Но при каждой новой волне арестов, которые периодически повторялись при всех начальниках Ч.К., будь то Дзержинский, Менжинский, Уншлихт, Ягода или Ежов, на протяжении многих лет — Ховрина хватали, как и всех, кто был арестован прежде, и снова сажали в тюрьму на несколько недель или месяцев, И он прозвал нас в шутку "мои крестные мамы".

Когда в 1957 году после тридцатипятилетней жизни за границей я посетила Екатерину Павловну на ее квартире в Машковом переулке, она сказала мне, что все эсэры погибли. Все. Может быть уцелело где-нибудь два или три человека, которым удалось спрятаться. Утешая себя, я надеюсь, что Ховрин с больным сердцем умер тихо у себя на квартире, а не в тюремных стенах.

Нас всех заставили спуститься и сесть в большой грузовик, охраняемый красноармейцами с винтовками. Привезли в приемную Всероссийской Чрезвычайной Комиссии на Лубянке. Кожевников и его спутники сдали нас дежурному коменданту и удалились. Нас посадили подальше друг от друга, на длинную деревянную скамью вдоль стены узкой комнаты, приемной бывшего страхового общества "Россия". После заполнения бланков: имя, отчество, фамилия, год рождения, социальное происхождение и род занятий, нас с Наташей разделили. Конвойный передал меня надзирательнице — латышке огромного роста, которая долго вела коридорами и лестницами. На одном из поворотов я увидела маму, бледную, соснувшимися лицом; она хотела броситься ко мне, но великанша латышка ее отстранила и, взяв меня за руку привела в большую темноватую комнату. На широких нарах сидели женщины; каждая из них была окружена странным одиночеством: сразу бросалась в глаза, что они не доверяют и боятся друг друга.

Я не помню, дали ли мне есть в этот день. Когда надзирательница вызвала меня, было уже темно — часов у меня не было и я потеряла чувство времени. Мы снова шли по бесконечным коридорам и, подойдя к деревянной некрашеной

двери, надзирательница отперла ее большим ключом и, подтолкнув меня, впустила в крохотную темную каморку (теперь их называют "боксами"). Я ничего не видела, свет просачивался только сквозь узкие щели между досками. В темноте я нащупала привинченную к стене жесткую скамейку. Когда я села, я почувствовала, что кто-то сидит рядом со мной. Я услышала сначала неровное дыхание моей соседки, затем узнала знакомый мне с детства очень характерный голос Ии Денисевич.

Ия была младшей дочерью члена партии социалистов-революционеров Анны Яковлевны Денисевич. Мама хорошо знала их семью, и дружила со средней дочерью Викторией, своей ровесницей, женой эсэра А. Фельдмана. Старшая сестра, Анна Ильинична вторым браком вышла замуж за Леонида Андреева и была мачехой моего мужа. Ия всегда оставалась в среде эсэров, жила с матерью за границей. Незадолго до нашего ареста Даша узнала, что она вышла замуж за следователя ВЧК Бердичевского. Мы с ней не встречались несколько лет.

— Это Оля или Наташа? — спросила Ия своим неприятным скрипучим голосом. — Я ведь всегда вас плохо различала. Ты тоже ждешь допроса?

— Ия, вы служите в Чека?

— Нет, что ты! Я поступила регистраторшей в МЧК нарочно, чтобы спасти товарищей. Вот и попалась; это пустяковое дело и меня скоро выпустят. Сейчас будет последний допрос — пустая формальность, и меня освободят. Скажи, маму тоже арестовали? Как ужасно! Но я постараюсь ей помочь, у меня есть связи. Они ищут Виктора Михайловича. Я сразу пойду его предупредить, как только буду свободна. Мама давала мне ваш адрес; я недавно встретила ее на Кузнецком... Но я забыла номер... Напомни мне.

— Ия, вы служите в Ч.К.! — Я замолчала и больше не отвечала на ее уверения в дружбе к маме и желаньи предупредить Виктю. Я отвернулась, но наш tete a tete кончился: дверь открылась и надзирательница вызвала её и увела, будто бы на допрос.

Меня оставили одну. Глаза постепенно привыкли к темноте, я слушала звук шагов в коридоре и напряженно думала. Ия — провокаторша; ее посадили ко мне и от неё я узнала, что Виктю

не нашли. Внезапно ключ загремел в замке и вошла другая надзирательница. Она взяла меня за руку и вывела из каморки. Спустившись по лестнице мы пошли по коридору, устланному ковровой дорожкой: мы проникли в сферу следовательских кабинетов.

Надзирательница остановилась перед белой двойной дверью, охраняемой часовым; он открыл ее перед нами. Моя спутница исчезла, а я очутилась на пороге огромной, роскошно обставленной комнаты и зажмурилась от нестерпимо яркого света.

Вероятно это был кабинет одного из бывших директоров Страхового общества. С потолка свешивалась хрустальная люстра, сверкавшая всеми подвесками. Пол был устлан узорным ковром, на котором лежали белые медвежьи шкуры; по стенам стояли мягкие кресла. Три письменных стола были поставлены на некотором расстоянии один от другого, и за ними сидели следователи их лица были скрыты в тени абажуров настольных ламп, а свет направлялся в середину комнаты. На белых стенах, украшенных позолотой, висели зеркала. За небольшим столом с пишущей машинкой расположился наготове секретарь. Меня вежливо попросили сесть на табуретку в середине комнаты. Когда мои глаза немного привыкли к свету, я различила за столом направо от меня Кожевникова. В ходе допроса по обращению следователей друг к другу я поняла, что прямо передо мной сидит знаменитый Лацис, а слева — Романовский.

Среди них, по-видимому, Кожевников играл меньшую, исполнительскую роль, он и по внешности казался простоватым и неотесанным..

О следователе Романовском знали, что он садист и наркоман. На вид ему было лет сорок. Он был в штатском костюме с галстуком. Его огромный лоб переходил в лысину, окруженную пепельно серыми пушистыми волосами. Мертвенно бледное лицо, тоже пепельносерое, казалось неподвижным, а бесцветные глаза, окруженные синеватой тенью, смотрели пристально.

Самой красочной фигурой среди них был Лацис, его внешность отличалась яркостью: рыжеватые волосы и борода,

тщательно расчесанная, очень белая кожа и розоватый румянец. Плотный и тяжелый, он придавал себе барственный вид, откинувшись на спинку кресла и поглаживая бороду холеной рукой, украшенной перстнями и золотым браслетом-цепочкой. Движенья его были нарочито медлительны, слова наигранно добродушны, но выражение его светло-зеленых глаз оставалось холодным и острым. На нем был щеголеватый френч защитного цвета, из-под которого виднелась белоснежная рубашка и галстук.

Я сознавала, что у меня был довольно жалкий вид. Меня знобило. На ногах мамыны серые ботики, слишком большие для меня, надетые на старые Виктины носки. Лицо обветрилось и горело после двух ночей странствования по морозу, а глаза слезились от бессонницы и слишком яркого света. Это сознание угнетало и унижало меня.

Допрос вел Лацис. Кожевников задал мне ритуальные вопросы, и я ответила то же, что утром.

— Ваш отец дворянин? — спросил Лацис.

— Я не знаю. А разве сословия не отменены революцией?

— А ваша мать ведь была дворянкой при царском режиме?

— Да.

— Так, так. — Лацис провел рукой по усам и бороде. — Ну, расскажите, были ли вы при прощаньи вашей мамы с Виктором Михайловичем? Где, на вашей квартире? — Лацис снова провел рукой по бороде и усам (видно было что это его любимый жест) и пристально посмотрел мне в глаза.

— Я не знаю, о чем вы говорите.

Напрасно, напрасно. Товарищ Денисевич дала нам сведения о вашей семье.

— Ну, так и спрашивайте у товарища Денисевич.

Лацис весело расхохотался. Он встал из-за стола и сел в кресло ближе ко мне, развалиясь и заложив ногу на ногу.

— Вот видите, какая разница: ваша сестрѐнка, дочь Виктора Михайловича, совсем не такая как вы. Он ведь не дворянин, он человек из народа — стержень покрепче. А вы говорите — званья отменены. Да, ваша сестричка — такая говорунья, такая стрекотунья! Она нам всё рассказала про своего папочку.

Лацис смеялся, за ним Кожевников, и даже на испитом лице

Романовского скользнула улыбка. Их что-то забавляло и веселило во время моего допроса. Или они все трое просто отдыхали от более серьезных, быть может кровавых дел.

— Поймите хорошенько, — неторопливо продолжал Лацис, — Виктор Михайлович наш враг, но он одновременно и наш друг. Он наш друго-враг и пожалуй нам достаточно поговорить с ним, потолковать часок, чтобы понять друг друга. Ведь только небольшая разница в методах разделяет нас. Он — социалист и мы во многом согласны с ним. И если он в свою очередь сделает шаг для сближения с нами, мы вместе разрешим все недоразумения. Мы хотим с ним встретиться, понимаете? Так и передайте от нас Виктору Михайловичу.

— Ваша сестричка, — снова начал Лацис, — сказала нам, что её папочка дал мамочке свою шубу в дорогу...

— Вы лжете! — перебила я.

Лацис залился громким смехом.

Вы, воспитанная девушка, дворянка и вдруг так выражаетесь! Значит вы с ним попрощались в поезде, — прибавил он как бы невзначай.

Я ни с кем не прощалась.

— Куда вы ехали? — спросил Романовский.

— В деревню, в провинцию, — куда-нибудь.

— Товарищ Денисевич, — перебил Лацис, сказала нам, что с вами всегда жила ваша нянюшка. Где она? Вы ехали к ней?

— Я не знаю, где она.

— Ай, ай, ай, — смеялся Лацис, — как нехорошо забывать свою старую нянюшку. Очень не хорошо...

— А товарищ Зубелевич (Даша) — тоже ехала с вами? — спросил Романовский, перелистывая какие-то бумаги. Она здесь у нас. Мы с ней тоже побеседуем.

Было еще много вопросов. Лацис в игривом тоне снова возвращался к выдуманной им сцене прощания Викти с нами в поезде. И еще настаивал на необходимости встретиться с ним для выяснения принципиальных вопросов. О Вере Ивановне и Ховрине, как ни странно, меня не спросили.

Наконец допрос кончился. Секретарь всё еще стучал на машинке. Как только он кончил, мне протянули протокол для подписи. Я заупрямилась, говоря, что хочу сначала прочесть его,

но буквы прыгали и сливались в моих глазах. Я подумала, что всё это чепуха и инсценировка, а основное они узнали от Ии Денисевич. Я подписала, и меня отпустили и сдали надзирательнице.

Ночь кончилась, вторая ночь без сна. Волнение и возбуждение от допроса прошли, я почувствовала страшную усталость и упадок духа. Меня особенно мучила мысль, что я не смогла внимательно прочесть протокол — ведь они могли внести чьи-либо имена, мной не произнесенные — а я подписала.

Я шла за надзирательницей по длинным коридорам как во сне. Она открыла дверь в какую-то камеру с зажженной под потолком темноватой лампой. На нарах спали женщины, и я приткнулась к стене, поджав ноги. Утром в камеру вошла другая тюремщица, тоже латышка, курносая, объяснявшаяся больше жестами, чем словами, и повела меня в нижний этаж. В конце небольшого коридора была дверь, охраняемая часовым. Она открылась и я увидела маму, Наташу и Адю, сидящих на широких нарах. Я бросилась к ним. Надзирательница ушла, нас заперли на ключ, и мы остались одни — все вместе, без посторонних. Начали рассказывать о том, что произошло после того, как нас разлучили. Дверь снова открылась и часовой принес нам три жестяных кружки с черноватой жидкостью (чай) и на обитой эмалированной тарелочке три тщательно отвешенных осьмушки черного сырого хлеба, с приколотыми к ним деревянной палочкой довесками, величиной в косточку домино. Красноармеец пересчитал нас, тыкая пальцем:

— Одна, две, три, — и прибавил, указывая на Адю, — ребенок не считается.

Так, в течение всего нашего заключения ребенок продолжал "не считаться", и на четырех нам выдавали три порции питания. Я не думаю, чтобы это было мерой притеснения или желания тюремных властей сделать режим построже, попросту это было применением тюремных правил: ребёнка не имели права арестовывать, следовательно он как бы и не существовал.

Мы узнали от мамы, как она попала в засаду, устроенную в квартире Леоновичей. Кто был осведомлен об условленном с Виктей свидании, кто выследил? Кто донес? Вероятно, это

навсегда останется для нас тайной. Когда ее заперли в темную каморку, вероятно в ту самую, где сидела я, и посадили Ию Денисевич, она успокоилась: Ия предложила ей, как и мне, сразу после своего освобождения пойти предупредить Виктю, и настойчиво спрашивала его адрес, и мама поняла, что его не арестовали. Вопросы следователей на допросе это подтвердили.

Впоследствии Виктя рассказал нам, что он отправился на свидание и, повидимому, пришел раньше чем мама. Перед тем как войти, он осмотрелся и увидел на снегу очень свежие отпечатки автомобильных шин и следы сапог, ведущие к дому. Недолго раздумывая, он свернул в первую поперечную улицу и быстро скрылся.

Адю арестовали в поезде: за ней явилась целая группа чекистов. Дашу тоже задержали, но их сразу разлучили. Адю отвезли в легковой машине на Лубянку и посадили в Комендатуре, в углу. И она просидела там неподвижно несколько часов. Наконец она возмутилась, и встав со скамейки громко сказала:

— Что это? Я арестована, почему же мне не дают есть?

Ее заявление показалось очень забавным дежурившим в комендатуре и они все засмеялись. Начальник велел накормить Адю, и ей принесли тарелку чечевицы. Адю допрашивал Лацис, задавал ей все тот же вопрос:

— Милая деточка, видела ли ты, как папочка передавал мамочке свою енотовую шубу? В поезде или на квартире?

Адя смело ответила, что никакого папочки у нее нет и не сдвинулась с этого утверждения, несмотря на все уловки Лациса.

После обеда, состоявшего из серого капустного супа, сваренного на селедочных головках, и жидкой пшенной каши с зеленоватой каплей коноплянного масла, конвойный принес охапку дров и постарался разжечь печку, но сырые дрова горели плохо и не давали тепла. А на дворе стоял мороз.

На ужин нам принесли тот же, но еще более разжиженный суп. Мы легли спать на голые нары; ничем не покрытые, теснее прижались друг к другу, стараясь согреться.

Утро началось счастливо: нам неожиданно принесли три чемодана, которые были с нами в поезде. На каждом из них

была наложена крупная темно-красная сургучная печать с буквами В.Ч.К.

Какая радость — можно будет наконец сменить белье, достать теплые вещи, а главное — книги! Одежда и подушки остались в поезде. А енотовую шубу, вероятно, Лацис взял себе на память о Викторе Чернове и его смелой дочке. Во всяком случае шубу, как и мамин "портфель", забранный Кожевниковым, мы никогда больше не видели.

Мы начали устраивать свой быт. Всю теплую одежду, вынутую из чемоданов, постилали ночью на нарах, а днем, скатав эти подстилки, сидели на них по восточному сложив ноги и опирались спиной о чемоданы. Книги мы положили на нарах, даже их вид радовал нас.

Мы могли по-своему располагать бесконечным временем, отдыхать, читать про себя или рассказывать. Никто не стеснял нас и не вмешивался в наши разговоры. Отношение к нам конвойных было вполне человеческим, как и во время засады у нас на квартире. Хуже и грубее солдат были надзирательницы-латышки, но они очень редко показывались.

Еда оставалась такой же почти несъедобной. Иногда, несмотря на голод, есть было невозможно; помню, один раз нам дали щи с кониной: в миске плавали куски челюсти с длинными лошадиными зубами.

Печь по-прежнему плохо топилась. Однажды, когда холод проник острее чем обычно, мама пожаловалась конвойному, и он вызвал дежурного коменданта. В камеру вошел высокий офицер в сапогах и папахе. Он поздоровался, и, встав на одно колено около печки, очень элегантно перерубил толстые осиновые поленья на тонкие щепки. Когда он ушел мы разожгли огонь и поддерживали его, подкладывая к дровам эти мелкие куски дерева.

Мы собрали оставшиеся у нас деньги — их было немного, и просили сменявшихся конвойных купить нам чего-нибудь съедобного. Но что? Хлеба достать нельзя было без карточек, картошка не спеклась бы в скудных угольках, нагоравших в печке. Мы вспомнили про морковь, которую ели полусырой в нашей комнате у Яузских ворот. И наши сторожа время от

времени покупали нам "моркву" и приносили её завернутую в обрывок газеты. Никто из них не обманул нас.

По вечерам мы большей частью читали вслух; это оживляло нас, вызывая беседы и обсуждения.

Мама очень мучалась, глядя на нас, и хотела писать следователю, грозя начать голодовку. Но мы убедили ее не делать этого. Достаточно было вспомнить о Лацисе и Романовском, чтобы понять бессмысленность такого заявления. Будет хуже, если нас разлучат, или посадят в общую камеру с другими арестантками и наседками. А голод мамы представлялся нам совершенно невыносимым испытанием.

Мы часто вспоминали Италию и годы, прожитые на берегу Средиземного моря. Казалось, что десятилетия отделяют нас от жизни в Алассио в нашем доме над морем, с изгородью, первитой белыми розами.

Однажды поздним утром часовой открыл дверь, и в комнату вошла небольшая женщина средних лет. Она представилась маме — Дивильковская, жена редактора "Известий". Она узнала о том, что десятилетняя девочка сидит в тюрьме, и Дзержинский разрешил ей лично взять ребенка к себе на поруки. Она живет с семьей в гостинице "Националь". Дивильковская сказала нам, что они тоже бывшие эмигранты и долго жили в Швейцарии.

Мама радостно согласилась на предложение Дивильковской и мы быстро собрали Адины вещи в небольшой чемодан: ее платья, туфли, книги. Дивильковская села на нары и говорила с мамой очень добрым и оживленным тоном. Она сообщила, что "они все не одобряют целиком действий Чека и в своем кругу называют ее "Черезчурка". Это звучало почти весело. Она не задавала нам никаких вопросов.

Мама спросила ее, а как же с нами — мной и Наташей — долго ли мы еще будем под арестом, и за что мы сидим? Не может ли она узнать об этом. Дивильковская ответила, что нас держат "как заложниц" и она постарается взять и нас на поруки под свое ручательство.

Вещи Али были сложены, я застегнула ей серую плюшевую шубу и повязала поверх шапочки узорный шерстяной платок. Она надела варежки — самодельные, сшитые Наташей из

обрезка материи и мы попросались. Мама горячо поблагодарила Дивильковскую.

С уходом Ади стало пусто и тоскливо. Но Дивильковская не забыла нас и в один из первых дней марта ее впустили в нашу камеру в сопровождении коменданта нашего отделения тюрьмы ВЧК. В руках у нее были бумаги с печатями: постановление о том, чтобы я и Наташа были переданы ей под ее ручательство. Комендант проверил бумаги, посмотрел на нас и велел собираться "на выход с вещами". Дивильковская присела на нары, пока мы с Наташей, торопясь, собирали вещи и укладывали в чемодан. Она сказала, что Адя ждет нас в машине у выхода.

Было мучительно оставлять маму. Каково ей будет одной? На улице солнце слепило глаза. Мы обе шурились, влезая в машину, на которой Дивильковская приехала за нами. Адя бросилась к нам. От Лубянки до Националя — всего несколько минут. Шофер внес наши вещи. Дивильковская у входа назвала свое имя швейцару и попросила пропуск для меня и Наташи — без этого нельзя было входить в гостиницу. В Национале жили ответственные работники и видные члены партии с семьями — их надо было охранять.

Мы поднялись на третий или четвертый этаж, и Дивильковская ввела нас в небольшой номер, предоставленный нам. Это была типичная отдельная комната с темнокрасными бархатными занавесками, креслом и диванчиком. Небольшой круглый стол стоял посередине, а в углублении — двуспальная кровать. Дивильковская сказала нам, что мы до дальнейшего решения будем жить здесь. Нам выдадут талоны на обеды и завтраки, которые отпускают в кухне в самом нижнем этаже гостиницы. Она прибавила, что должна уйти, но придет вскоре проведать нас.

Это устройство показалось нам неправдоподобным сном: паровое отопление, умывальник с текучей водой! Наконец-то после стольких недель мы сможем вымыться с головы до ног. И будем получать готовые обеды, как привилегированные большевики!

Пока мы раскладывали вещи Адя сказала нам, что

Дивильковская очень заботилась о ней, укладывая ее на ночь на диване в их гостиной. Но когда Адя, не решаясь прямо просить о передаче для нас, навела разговор на тюремный режим, Дивильковская никак не отзывалась и "не понимала". С большим юмором Адя рассказала нам, что ее водили в Большой Театр на "Лебединое озеро". В их ложе сидел Демьян Бедный, толстый и самодовольный, и в антрактах все время шутил с нею. А где-то в другой ложе присутствовал сам Ленин.

Дивильковская как-то сказала нам, что однажды вечером жена и сестра Ленина, бывшие у них в гостях, захотели посмотреть на спящую Адю. Но Дивильковская возмутилась и решительно заявила, что девочка не "ученый медведь" и надо ее оставить в покое. Адя очень жалела впоследствии, что из-за принципиальности Дивильковской ей не удалось увидеть Крупскую и Ульянову.

Дивильковская вернулась и дала нам продовольственные талоны. Мы благодарили её за все, что она сделала для Ади и для нас. Она села и охотно разговорилась.

— Слух о вашем аресте дошел до Ленина. Узнав, что детей Черновых держат в тюрьме, он очень возмутился и велел "немедленно прекратить этот скандал! А то, — прибавила она опрометчиво, — Чернов воспользуется этим и даст знать заграницу, а там это послужит пропаганде против большевиков".

Мы узнали уже гораздо позже, что после нашего ареста Виктя написал письмо Ленину, поздравив его с тем, что не сумев арестовать его самого, Чека арестовала его несовершеннолетних детей. Он выразил уверенность, что при помощи таких методов большевики добьются всего, чего хотят.

Мы всё приготовили, чтобы помыться. Из крана текла только холодная вода, и мы в кухне попросили горячей для мытья головы. И в обеденный час, чистые, переодетые и причесанные, мы спустились вниз. Нас поразили огромные сверкающие плиты, кастрюли и чистота во всем. Через широкое окно повар в белоснежной куртке и колпаке выдал нам в обмен на талоны три аккуратные нагретые тарелки с аппетитно разложенной едой. Порции были небольшие, но обед казался роскошным по тем временам: картофельные котлеты с соусом из сушеных грибов, клюквенный кисель и по кусочку хлеба.

После обеда — какое блаженство! — мы с Наташей легли на кровать — настоящую, с пружинным матрацем и мягкими одеялами. И это после голых нар!

Дивильковская пригласила нас в свои комнаты и познакомила с мужем и дочерью. У меня остался в памяти облик худошавого человека с бородкой и в пенсне. Дочери было года двадцать два. Блондинка среднего роста, с неяркой внешностью, она была приветлива и разговаривала с нами охотно и просто, несмотря на разницу лет. Она рассказала нам, что кончила в Швейцарии хозяйственную школу, и меня очень удивило, что домашнее хозяйство может быть предметом изучения. Вскоре ей представился случай показать нам, как артистически она умеет гладить; она расставила доску и показала несколько приемов и принципов глаженья. Вообще в ней было мало примечательного, кроме того, что она была невестой страшного Петерса. На мраморном камине ее комнаты стоял его большой фотографический портрет в фуражке и френче, с надписью крупным почерком в правом углу. Когда она показывала его, я внутренне содрогнулась — мы знали его репутацию, одного из самых бесчеловечных вождей Чрезвычайной Комиссии.*

Вскоре Екатерина Павловна Пешкова навестила нас в Национале.

Е. П. принесла два кусочка туалетного мыла — для нас и мамы — и большой круглый сыр, вроде голландского, со светлой коркой. В это время она и Михаил Львович Винавер были представителями Политического Красного Креста, который держался только на личном престиже Екатерины Павловны в глазах Дзержинского, глубоко уважавшего ее. Е. П. сказала нам, что маму уже перевели с нижнего этажа наверх, в Особый отдел ВЧК. О свидании с нею мы можем хлопотать лично у Лациса или Романовского, которые, оказывается, жили в Национале.

* Не лишне отметить, что ни Петерса, ни Дивильковского в БСЭ нет: официально они никогда не существовали, хоть первый был ближайшим сподвижником Дзержинского, а второй редактором "Известий". Впрочем, удивляться не стоит — в Энциклопедии нет даже Троцкого, но за то есть тропкизм. В пол. собрании соч. Ленина (4 изд.) Дивильковский А. А. (Авдеев) и Петерс упоминаются по одному разу, без малейшего указания, кто были эти партийные товарищи. О том, как кончилась их партийная карьера, мне так и не удалось ничего узнать.

На следующий день, узнав у Дивильковской номер телефона Лациса, мы позвонили ему и попросили принять нас. В назначенный час мы поднялись вдвоем с Наташей в его великолепный номер. Он принял нас как старых друзей — приветливо и даже как будто радостно, попросил сесть, а сам, по старой привычке, развалился в кресле.

За большим массивным письменным столом сидела совсем молодая женщина со стриженными завитыми волосами. Перед ней были разложены акварельные краски и лежал, Бог знает какими путями попавший сюда, номер журнала "La Vie Parisienne". Она срисовывала картинки в альбом и раскрашивала их кисточкой.

— Познакомьтесь с моей супругой, — сказал Лацис. — Чем могу вам служить?

Мы попросили его дать нам пропуск на свидание с мамой, и он тут же написал нам на бланке ВЧК разрешение на "личное непосредственное свидание" с заключенной Колбасиной на завтрашний день. Это значило, что мы имели право видеть маму не через окошко и не через решетку.

— Ну, а как поживает ваша сестренка? Занятная девчушка. Из нее выйдет толк. Я вот подумываю, не отдать ли ее в нашу колонию, устроенную для детей работников ВЧК. Дочь Чернова — в колонии ВЧК — пикантно получится!

На другой день в указанное на пропуске время мы пошли втроем на Лубянку и очутились в той же комендатуре, куда нас привезли на грузовике почти два месяца назад. Комендант прочел пропуск и велел конвойному проводить нас на второй этаж. Солдат провел по длинным переходам и лестнице в светлый коридор: справа окна выходили на двор, слева были устроены крохотные комнатки-клетушки из свежего, еще белого дерева, с большими замками, выкрашенными блестящей черной краской — это были боксы.

Навстречу вышла надзирательница и, ознакомившись с пропуском, гремучим ключом отперла одну из дверей. Мама вышла к нам в своей фиолетовой шубе. Я не успела заглянуть в каморку, видела только, что туда не проникал дневной свет. Конвойный и надзирательница немного отошли от нас, но они всё же могли слышать наш разговор. Впрочем, когда между

собой говорят очень близкие люди, понимая всё с полуслова, посторонним недоступна их речь.

Мама шопотом сказала нам, что к ней посадили провокаторшу — старую баронессу, которая днем и ночью не дает покоя, пытаясь адрес Викти. Как Ия, она была "накануне освобождения" и предлагала найти его и передать ему записку. Впоследствии мама рассказала нам, что эту несчастную женщину — аристократку, запутанную в какое-то дело монархистов, повели на расстрел в подвал ВЧК. И там, стоя на окровавленном, еще не вымытом полу, она согласилась — ценой жизни — стать тюремной насадкой.

Наше приношение — душистое мыло, сыр, чистое полотенце и выстиранное белье очень обрадовали маму. Мы рассказали ей, в каких чудесных условиях мы оказались. Она попросила нас, когда мы придем еще раз, принести ей чего-нибудь сырого: кислой капусты, клюквы или луку; у нее болели дёсны — признак начинающейся цинги. Следующее свидание нам было обещано через неделю.

Надзирательница сказала, что время прошло, и мы попросались, обещав раздобыть всё, что нужно. Когда мы шли обратно, нам показалось, что за нами кто-то идет и, обернувшись, мы увидели двух молодых солдат, которые как будто следовали за нами на некотором расстоянии. Они исчезли не дойдя до гостиницы. В этот раз мы не придали этому большого значения.

Погода стояла хорошая. Утром светило солнце и снег таял, а к вечеру подмерзало. Наши силы постепенно восстанавливались, и мы стали больше гулять. На ближайшем Охотном рынке нам удалось купить для мамы клюквы — к счастью, она недорого стоила.

Во время наших длинных прогулок мы снова заметили издали двух сопровождавших парней. В этот раз один был в штатском, другой в военной шинели. Мы поняли, что они приставлены к нам для слежки. Они всегда следовали за нами, куда бы мы ни ходили. Иногда для проверки мы разделялись и шли в разные стороны: тогда один следовал за Наташей, другой за мной. Они вскоре догадались, что мы их заметили и, когда мы

внезапно оборачивались, смеялись в кулак. Очевидно, следователи всё еще надеялись, что мы наведем их на след Викти. Поэтому мы не ходили ни к кому из наших знакомых и жили как отрезанные.

Когда прошла неделя с первого свидения с мамой, мы снова позвонили Лацису, и он, как в первый раз, после салонных шуток и распросов, выписал нам пропуск в тюрьму. Мама вышла к нам в тот же коридор, и мы при надзирательнице передали ей темно-красную клюкву в серой расплзающейся бумаге и капусту, туго набитую в баночке из-под консервов, добытой в кухне Националя. Мама сказала нам, что баронессу, наконец, убрали — несчастная так ничего и не добилась от нее, и мама радовалась одиночеству.

Так и установилось: нам разрешали свидания в тюрьме один раз в неделю. Когда Лацис отсутствовал, мы обращались к Романовскому, предварительно позвонив ему. Он был всегда подчеркнута вежлив, но не пускался в разговоры, как его коллега.

Мы постепенно оживали. Под откровенным надзором Чека нам больше не надо было скрываться и прятаться и мы чувствовали себя свободными. Однажды во время прогулки мы прошли мимо Поповской гимназии, в которой мы учились в 1917 году. У меня и Наташи возникла идея, что мы могли бы попробовать поступить в наш прежний класс. Осенью 1917 года мы вместе поступили в 5-ый класс этой гимназии и проучились в ней до Рождественских каникул. С тех пор для нас прошли "триллионы лет" — Петербург, разгон Учредительного Собрания, подпольная жизнь, Саратов, скитания вдоль Волги, Саратовская гимназия, лето в Молодёнове Звенигородского уезда, комната у Яузских Ворот и арест, — а на самом деле неполные два с половиной года.

В гимназии Поповой учились дети московской интеллигенции, в частности из среды художественного театра: сыновья Качалова, Москвина и Вахтангова. Однако, в нашем классе мальчики составляли довольно инертную массу, девочки были ярче. Мы сразу подружились с двумя из них — Еленой Спендиаровой и Эммой Герштейн.

Елена Спендиарова стала впоследствии артисткой Камерного театра Таирова. В 1922 году, когда мы уже были за границей, она приезжала в Берлин с театром, а затем в 1925 году в Париж, и мы встречались с нею.

Эмма Герштейн отличалась в классе умом и развитием. Она хорошо знала русскую поэзию и читала Блока наизусть. Впоследствии она стала выдающимся знатоком Лермонтова и написала талантливую книгу "Судьба Лермонтова". Она была младшим другом Анны Андреевны Ахматовой, и я встретила Эмму у нее в 1960 году.

Анна Андреевна больше двадцати лет не решалась записать свою поэму "Реквием". Кроме нее самой эту поэму знали наизусть две женщины: Лидия Корнеевна Чуковская и Эмма Герштейн.* Я помню как в 1962 году осенью мой муж и я посетили Ахматову, и она прочла нам "Реквием" целиком; раньше она читала его при нас только в отрывках. Она сказала, что в этот день она впервые решилась записать его на бумаге и даже дала своей приятельнице напечатать его на машинке. Анна Андреевна тогда позволила Вадиму списать и взять с собой за границу несколько строчек из поэмы, с условием никому не показывать.

Мы приблизительно рассчитали время и подошли к зданию гимназии незадолго до выхода учеников по окончании занятий. День был светлый и солнечный. У нас просто дух захватило, когда мы очутились среди молодых, веселых лиц. Нас не забыли, и мы тотчас же были окружены толпой знакомых, немного подросших сверстников.

— Черновы! Чернушки! Откуда вы? Что же вы к нам не поступаете, возвращайтесь скорее.

Мы кое-как объяснили нашим прежним друзьям, что мы должны сначала получить позволение, а потом уже поговорить со школьным начальством. И мы рассказали о своем необычном положении: нас выпустили из тюрьмы, но держат под надзором в качестве заложниц.

* Чуковская рассказывала нам, как Анна Ахматова имела обыкновение читать ей и Эмме только-что написанные стихи. Они обе запоминали их при первом или втором чтении. Затем А.А. сжигала над печельницей бумажку со стихотворением.

Елена Спендиарова со свойственным ей темпераментом набросилась на стоявшего рядом с ней тонкого рыжеватого мальчика:

— Троицкий! Какое безобразие вы делаете! Черновых держат как наложниц!

— Заложниц, Лена — поспешила я поправить ее.

Возмущенная, она продолжала стыдить сына Троицкого и тербила его, дергая за рукав.

Нас сильно потянуло к молодой здоровой жизни учащихся. Мы попрощались, пообещав как можно скорее вернуться в гимназию. По дороге в Националь, оглянувшись, увидели наших постоянных провожатых, и вид их немного вернул нас к реальности. Не откладывая, мы поднялись к Дивильковской и сказали ей о нашем желании. Наша попечительница не только не одобрила этого шага, но пришла в ужас от подобного своеволия. Тем не менее она посоветовалась с кем-то из "руководящих" и подтвердила нам их категорический отказ. С нашей стороны было наивно надеяться, что нам позволят встречаться с молодежью одной из самых видных школ в Москве.

Вероятно именно тогда, тяготясь возложенной на нее ответственностью, Дивильковская поговорила с Пешковой и попросила ее взять нас на свое попечение. Е.П. добилась этого, думая, вероятно, что жизнь в ее доме будет нормальнее для нас, чем жизнь в Национале, и так кончилась наша жизнь в гостинице с ее комфортом и небывалой, почти беззастенчивой свободой.

Мы вскоре переехали в квартиру Пешковой в Машковом переулке, ставшем потом улицей Чкалова, в дом № 1, где теперь прибита мемориальная доска, указывающая, что в этом доме останавливался Максим Горький. С Екатериной Павловной постоянно жил их сын Максим или Макс, и ее мать, которую все называли Бабушкой.

Макс занимался во "Всеобуче", но больше всего его увлекал спорт, особенно его новая подаренная отцом мотоциклетка. В то время он не проявлял никаких интеллектуальных интересов, и это, видимо, огорчало и даже уязвляло Е.П. Макс встретил нас весело и добродушно и, по старой привычке, шутил с нами по-французски, по-итальянски и по-немецки. Мы его мало видели.

Он отсутствовал днем и проводил вечера со своими друзьями из театрального мира.

Бабушка отнеслась к нам сначала недружелюбно. Е.П. объяснила нам позже, что ее мать была дочерью генерала и выросла в богатой семье. Когда она была еще молодой, они потеряли состоянье и сразу обеднели. С тех пор у бабушки остался болезненный страх бедности и она стала маниакально скупой.

Еще членом семьи был Михаил Константинович Николаев, друг и неофициальный муж Е.П. Брак этот оставался негласным. Михаил Константинович жил в том же доме на одном из верхних этажей. Днем он работал в "Международной книге", но обедал и проводил вечера у Пешковых.

Е.П. жила тогда очень бедно, как большинство москвичей. Она с Михаилом Львовичем Винавером весь день была занята делами политического Красного Креста. Они посещали тюрьмы и сами носили арестованным передачи из немногих продуктов, которые удавалось достать Красному Кресту. Это был большой самоотверженный труд: тюрем было много в Москве — на Лубянке, в Бутырках, Новинская женская тюрьма, Таганская — мужская. Сообщения не было, и они отправлялись вдвоем, с салазками, нагруженными передачами. Центр Красного Креста помещался на Кузнецком Мосту, и они должны были проходить большие расстояния пешком. Е.П. возвращалась домой к вечеру, замученная тяжелым днем работы. В квартире было холодно — топлива хватало только на печку в столовой и на небольшую кухонную печурку.

Нас поместили в маленькой нежилой комнате. Для меня и Наташи поставили две железные кровати, а для Ади постелили на двух сундучках. Е.П. достала простыни из шкафа в нетопленной комнате, и вечером, когда мы легли спать, оказалось, что они совсем влажные. Я и Наташа продрожали всю ночь — простыни так и не могли высохнуть. Ночью Адя проснулась с громким плачем: у нее ужасно ломило руки и ноги. Испуганная Е.П. перевела ее к себе в комнату на диванчик, и Адя спала на нем долгое время.

Было естественно из-за большой работы Е. П., что оказавшись в ее доме мы с Наташей взяли на себя большую

часть хозяйства. Бабушка немного занималась домом; она часто сидела одна в своей большой темноватой комнате, заваленной всяким хламом вперемежку с ценными вещами и сувенирами. Однажды я извлекла из-под кучи неопределенных предметов на столе книжку Ходасевича "Путем Зерна" с надписью автора: "Моему дорогому учителю, глубоко уважаемому мной Алексею Максимовичу".

Максим со свойственным ему юмором любил пародии на правительственные лозунги, которые красовались на улицах, заборах и учреждениях: "Царству пролетариев не будет конца", "Воду зря не выпускай, краны крепче закрывай", "Граждане хищнически расходующие воду будут призываться к строгой ответственности", "Чтоб избежать холеры муки, мой чаще хорошенько руки", "Рукопожатья отменяются", "Дети — цветы жизни", "Все на единый трудовой фронт по борьбе со вшами". Он вывесил плакат с надписью: "Все на единый трудовой фронт по борьбе со стеклом и железом в бабушкиной комнате!".

Е. П. была неласкова со своей матерью и, усталая, часто на нее сердилась и раздражалась; другие домочадцы или просто с нею не разговаривали, или обращались грубовато и свысока. Поэтому всегда угрюмая бабушка вскоре оценила нашу вежливость в обращении с нею. Кроме того мы освободили ее от самой трудной хозяйственной работы, и она стала хорошо относиться к нам. Главная моя и Наташина задача состояла в том, чтобы к приходу Е. П., часам к пяти или шести, сварить обед на маленькой буржуйке в кухне. К сожалению, эта печка была похуже нашей у Яузских Ворот: ведь наша была "настоящий Бромлей". Сырые дровишки приходилось колоть на мелкие щепы, и поддерживать огонь стоило нам больших усилий. Обед большей частью состоял из одного супа.

Хуже всего было то, что Е. П. как будто не замечала наших усилий и труда. Войдет молча — и никогда ни слова поощрения или удовольствия от сделанного нами. Она была неизменно сурова и только иногда улыбалась Аде и говорила ей два-три ласковых слова.

В спальне Е. П. над кроватью висел портрет прелестной маленькой девочки, похожей на Максима. Бабушка объяснила мне в отсутствие Е. П., что это Катя, старшая дочь Е. П. и

Алексея Максимовича, умершая от менингита пяти лет. Я тогда подумала, что если бы она осталась жить — всё было бы по другому. Любовь Е. П. к Максиму была бы менее исключительной, и, может быть, она была бы мягче. Суровости Е. П. боялись не только мы, девочки, но и многие женщины, работавшие с нею в Красном Кресте и заключенные в тюрьмах. В общении с мужчинами Е. П. была менее взыскательной, и в ней пробуждалась женская обаятельность. Мама рассказывала нам потом из своего тюремного опыта, что женщины охотнее обращались с просьбами к Винаверу, простому и добрейшему человеку.

Однажды Максим вернулся раньше обычного и застал нас всех в столовой.

— Знаешь мать, — сказал он Е. П., — глядя на Наташу и Олю у меня глаза отдыхают после всех моих приятелей!

Е. П. улыбнулась — это был редкий случай, когда она проявила свое благосклонное отношение к нам.

Мы продолжали посещать маму в тюрьме, заранее позвонив по телефону Лацису или Романовскому и заручившись их обещанием дать нам пропуск на свидание.

Онажды вечером Макс вернулся домой возбужденный, прошел в комнату матери и запер за собой дверь. Е. П. рассказала нам позже, что он встретил днем Виктю на улице и узнал его несмотря на измененную внешность и сбритую бороду.

— Понимаешь, мать, по партийному долгу коммуниста я должен был бы немедленно задержать его. Но я не сделал этого, я не смог.

— Кроме долга, Макс, — ответила ему Е. П., — на свете существует еще и ч е с т ь . Не забывай этого.

Когда она пересказывала нам этот разговор, видно было, что Е. П. гордилась своим ответом.

Еще при нас к Екатерине Павловне приехал Горький и в первый раз после долгого периода остановился у нее на квартире. В присутствии Алексея Максимовича Е. П. преобразилась — куда исчезала ее обычная строгость? Она молодела, улыбалась, лицо становилось мягче, движения — более легкими.

Когда я смотрю на его портреты того периода, Горький кажется мне еще молодым, но тогда в моих глазах он был уже

пожилым человеком. С Алексеем Максимовичем было всегда легко: он смотрел в лицо добрыми глазами из-под мохнатых бровей, задавал вопросы и вдумывался в сказанное. И я и Наташа нисколько его не стеснялись. Когда за столом начались обычные шутки над моим сходством с Наташей, А. М. заявил, что никакого такого сходства не замечает: перед ним два различных человека. А когда однажды домашние хотели его разыграть, представив Наташу как Олю, он сразу заметил обман. С его приездом дом оживился: к Горькому приходили молодые писатели и музыканты. Я помню Пильняка, Леонова и многих начинающих прозаиков и поэтов. Чаше других к Пешковым приходил пианист Добровейн и охотно целые вечера играл для А. М. Стол накрывали праздничной скатертью и расставляли красивый чайный сервиз. Их было два — голубой и розовый, и я никак не могла понять, в каких случаях надо было пользоваться одним, и когда — другим. Бывало бабушка или кто-нибудь из нас накроет стол, но в мгновение ока Е. П. меняла наше решение, и вместо голубых просила поставить розовые чашки.

Горький не любил этих приготовлений, и Наташа вспоминает, как однажды мы сели пить чай одни с А.М.:

— Наташа, уберите пожалуйста эти тряпки, — сказал он, снимая скатерть. — Давайте пить чай по-настоящему, на клеенке.

А у меня осталось в памяти, как за обедом, вылавливая из мною сваренного борща кусочки свеклы, которую он терпеть не мог, А.М. выкладывал ее на край тарелки. При этом он рассказал, как в тюрьме облепил давленными клопами писчую бумагу и написал на ней губернатору в Нижнем Новгороде о том, что он приговорен к *одиночному* заключению, а ему приходится сидеть в обществе этих насекомых.

Я уже говорила, что Е.П. как будто не замечала нашей работы в доме: об этом не говорилось. А Горький сразу это увидел и однажды, когда я вошла в столовую, где пили чай, держа в руках стопку перемытых тарелок, чтобы поставить их в буфет, он возмутился и сказал сильно ударяя на "о":

— Что же это — работает человек, работает, а ему даже чаю не дают.

Во время второго или третьего приезда Горького из Петер-

бурга, когда он оставался по несколько дней в Машковом переулке, в доме появились редкие продукты: белая мука, сахар, сало, присланные из Кремля. Е.П. говорила нам, вздыхая:

— До чего в первый раз мне было совестно принимать всё это. Ну, а потом... Человек ко всему привыкает.

Вспоминаю, забегая вперед, что во время, когда мы уже не жили у Е.П., но, работая в Серебряном Бору продолжали в дни отпуска приходить в Москву на свидания с мамой и останавливались у нее, что именно Горький рассказал нам подробно о собрании, устроенном Союзом рабочих-печатников в честь приехавшей в Москву рабочей английской делегации. Собрание происходило в зале Консерватории. Виктя решил во что бы то ни стало выступить на нем. Это могло показаться безрассудным, так как из-за приезда иностранных гостей Чека удвоила свою бдительность, охраняя английских делегатов от всяких нежелательных для правительства встреч и разговоров. Однако Виктя именно понадеялся на дерзость своего неслыханного по смелости поступка.

Ему помогли предупрежденные заранее сочувствующие эсрамы печатники, а их было в то время большинство, и они поставили надежных людей у входов и выходов. Виктя давно ходил без бороды, но для этого случая он побрил и голову. Неузнанный, он пробрался к трибуне и после речей нескольких делегатов, когда трибуна временно опустела, он попросил слова в качестве русского делегата. Взойдя на трибуну Виктя начал говорить. В своей краткой речи он сравнил надежды социалистов перед русской революцией с чаяньями христиан первых веков. Так же как церковь, утвердившая свою власть на земле, переродилась и отошла от трудящихся и обездоленных — партия большевиков, захватив власть, забыла об интересах рабочих и крестьян и водворила беспощадную диктатуру, подавив все свободы.

Прежде чем Виктя кончил, раздались аплодисменты. Присутствовавшие спрашивали имя оратора, и Виктя крикнул с трибуны:

— Я Виктор Чернов.

Его окружили англичане и стали задавать ему вопросы, но друзья перебили их: "здесь вам не Англия" и, подхватив Виктю

под руки, проводили его к выходу. Чекисты, бывшие на собрании, растерялись, смешались, а когда сообразили и подняли тревогу, было уже поздно. Виктя покинул здание и затерялся в переулках Москвы.

Горький рассказывал об этом за столом, громко смеясь, подчеркивая смелость Викти и шутил над одуроченными чекистами. В то время коммунистическая идеология Алексея Максимовича была еще шаткой. Об этом свидетельствуют его письма 1920 года.

Время шло, а наша жизнь у Е.П. оставалась всё такой же временной, как будто в ожидании какого-нибудь выхода. У нас не было своего угла. Небольшая проходная комната, которую мы занимали, была целиком заставлена кроватями, шкафом и гладильной доской. Она выходила во двор, и в ней было темно даже днем, а вечером горела только слабая лампочка под потолком и читать было невозможно. Поэтому нам всегда приходилось быть на людях и только урывками удавалось сесть за книгу в гостиной или спальне Е.П. У нас не было ни своей жизни, ни своего дела.

В те годы кроме Красного креста Екатерина Павловна состояла в Правлении Лиги спасенья детей. Эта общественная организация, созданная усилиями Короленко, Кусковой, Прокоповича, Кишкина и других общественных деятелей для оказания помощи голодающим детям, организовала колонии в окрестностях Москвы и, в частности, в Серебряном Бору. Воспитательной частью заведовала Репьева, очень известный московский педагог. В колониях не хватало руководителей для занятий с детьми. И Е.П., поговорив с Репьевой, предложила мне и Наташе поехать в Серебряный Бор в качестве "воспитательниц-практиканток", надеясь поместить Адю в колонию детей ее возраста. Мы согласились: нам обоим хотелось начать работать, ведь учение было закрыто для нас. И возможность попробовать силы в помощи нуждавшимся детям представилась нам как выход и начало самостоятельной жизни.

Я помню разговор с Репьевой, небольшой сухой женщиной с маленькими серыми глазами. В беседе она подвергла нас экзамену, сразу обдав холодом, сильно умерившим наш первоначальный энтузиазм. Но она всё же сочла нас достаточно

взрослыми, чтобы принять на работу: меня в I-ую колонию, под начало Надежды Поликарповны Поповой, а Наташу в 4-ую, к Алисе Федоровне Вебер. Адю она решила поместить в 3-ю колонию с ее сверстниками, детьми от 10 до 14 лет, к Марии Ивановне Перешивкиной.

Так началась для нас совсем новая жизнь с незнакомыми людьми, в среде русских педагогов. Дело нашлось для нас сразу, и нас обеих встретили как необходимых сотрудниц.

Ольга Чернова

Воспоминания об отце В. В. Розанове и обо всей семье*

Мама мне помнится еще молодой, красивой, статной, с прекрасной каштановой косой вокруг головы. Помню, как она собирается с папой и старшей моей сестрой Алей в театр на "Руслана и Людмилу". Я спрашиваю, что такое театр? А папа говорит, что будут показывать большую голову, мертвую, которая потом заговорит. Я думаю, что же они такие веселые, нарядные, а это так страшно! Мама в сером костюме, в шелковой белой блузке — такая красивая. Сестра в белом нарядном платье с искусственной розой, приколотой у пояса. А папа в сюртуке и очень важен и серьезен.

Мама озабочена, оставляет нас на няню Пашу, велит нам не шалить. Но как только родители уехали, все двери в квартире настежь и начинается игра "в разбойники". Паша должна изображать разбойника, а мы убегаем, прячемся и кричим. Она нас ловит и должна нас туго вязать веревкой, в этом вся соль игры. Стулья все повалены, в комнатах полный беспорядок, няня замучилась с нами. Когда родители приезжают, видят в ужасе эту картину и нам, конечно, попадает.

Заводилой в этих играх была я. Но были и другие игры — спокойные. В детской ставились стулья подряд, связывались веревкой. Это был поезд. Мы куда-нибудь уезжали. Впереди на стуле сидел Вася — он был машинист, а мы, пассажиры, — садились на другие стулья с поклажей. Так мы сидели часа два,

*Эти воспоминания дочери В. В. Розанова, Татьяны, переданы нам для печати проф. Юрием Павловичем Иваском, за что редакция приносит ему благодарность. Начало воспоминаний см. кн. 121 "Н. Ж." РЕД.

тихо и спокойно ехали. Но потом нам надоедало, мы разбрасывали в разные стороны стулья, ссорились, поднимали шум, и папа сердился у себя в кабинете.

Квартиры в Петербурге у нас были большие, часто менялись, так как отец не переносил ремонтов в квартире, и поэтому, когда вставал вопрос о необходимости ремонта, — подыскивалась новая квартира, и мы вновь переезжали. Так в 1899-1904 гг. мы жили на Шпалерной улице, в 1905-1910 в Казачьем переулке, с 1910-1912 — на Звенигородской улице, с 1912-1916 на Коломенской улице. Поблизости, на Кабинетской улице была гимназия Стоюниной, куда отдали остальных сестер и где я потом кончала курс; с 1916 — 1917 мы жили на Шпалерной улице, д. 44, кв. 22; отсюда мы совсем покинули Петербург (в то время именовался он Петроградом) и переехали в Троице-Сергиев посад, где уже началась совсем другая жизнь и где окончились дни отца, но об этом расскажу дальше.

У нас, как я говорила, в Петербурге было сначала 6 комнат, а затем 7. Домашней прислуги было трое: кухарка, няня и горничная; дрова носил на 5-ый этаж дворник, белье большое стирать приходила прачка раз в месяц; маленькие стирки лежали на обязанности горничной. Она должна была по утрам чистить всем обувь и пальто, открывать парадную дверь на звонки, подавать к столу кушанья, мыть вместе с кухаркой посуду; по утрам мести, вытирать пыль в комнатах; раз в месяц приходил полотер и натирал полы. Папа этот день очень не любил и уходил из дому.

Мама была очень хорошей хозяйкой и за здоровьем детей очень наблюдала. День был строго распределен. Нас, детей, будили в восемь часов утра, мы умывались, одевались и, прочитав "Отче наш" и "Богородицу", шли здороваться с папой и мамой в спальню. Это время мы очень любили. Мы целовали у папы и мамы руку. Потом шли завтракать. В это время привозили 4 бутылки молока из Царского Села, считалось, что там молоко лучше. Мы ели манную кашу, пили кофе с молоком и ели булку с маслом. Через полчаса вставали мама и папа со старшей сестрой Алей. Отец просматривал за кофеем газеты. Выписывались: "Новое Время", "Русское Слово", "Колокол". Когда мы стали взрослыми, отец все равно не разрешал нам читать газеты.

Говорил, что нам они не нужны, а что он, как писатель, обязан читать их, но что и ему они надоели. Любил читать на последней странице газеты всякие страшные происшествия, а полностью ни одной газеты никогда не прочитывал. Мама газет никогда не читала, кроме папиных статей, а сестра Аля любила читать журналы: "Русское богатство", а больше всего кадетский журнал "Русская Мысль".

За столом мы должны были сидеть тихо, перед едой креститься, съесть все, что положено на тарелки. Если мы капризничали за обедом и не ели что-нибудь, папа рассказывал о своей бедности в детстве и вспоминал, сколько есть на свете бедных детей, которые даже черного хлеба не едят досыта. Нам становилось стыдно и мы принимались за еду. После завтрака мы шли в детскую играть, мама лежала в спальне на кушетке, Аля тоже, у нее был порок сердца и она была очень больная; последние годы она у нас не жила, поселилась с подругой своей Натальей Аркадьевной Вальман на отдельной квартире, на Песках.

Обыкновенно в час дня подавался завтрак — котлеты или что-нибудь легкое. После завтрака отец ложился в кабинете спать на кушетку, мама накрывала его меховой шубкой, и в квартире водворялась полная тишина; нас, детей, спешно одевали и отправляли гулять во всякую погоду: будь то снег или дождь. Гуляли мы большей частью в Таврическом саду. Помню там хромую, некрасивую девочку Асю, старше меня, которая меня полюбила и все за мной ходила, а мне она не нравилась и я обращалась с нею холодно и пренебрежительно, и даже до сих пор в этом я себя упрекаю.

Летом мы часто гуляли в Летнем саду. Мама, не доверяя ни няне, ни бонне, часто приезжала на извозчике и украдкой смотрела, как мы играем. Это было чаще в Таврическом саду.

Я очень не любила эти прогулки, — особенно зимой; мерзли руки и ноги, особенно, когда заставляли кататься на коньках. Но послушаться не приходило и в голову.

В четыре часа папа просыпался, вставал, одевался и ехал в Эртелев переулок, в редакцию "Нового Времени": потолковать о новостях, узнать, как идут его статьи в газете, поболтать с

сотрудниками. Близких друзей у него в редакции не было. Главного сотрудника газеты — Меньшикова — он недолюбливал и посмеивался над ним — за зонтик и калоши в любое время года, а также за статьи его об аскетизме, считая их фальшивыми. У Меньшикова был свой кабинет, у отца никогда не было. В редакцию отец всегда ездил на извозчике, для вида всегда торговался — 15 или 20 копеек дать? Поговорит, посмеется и всегда даст больше. Отец очень любил шутить, болтать всякие пустяки, особенно с домашней прислугой, с извозчиками. Всегда расспросит: женат ли, сколько детей, отчего умерли родители, выслушает с интересом и прибавит от себя какое-нибудь утешительное наблюдение нравоучительного характера. Домашняя прислуга его очень любила и говорила: "Барин — добрый, а барыня — строгая".

Если папа не уезжал в редакцию, то в четыре часа пили чай, а если уезжал — то в шесть часов подавался обед, а чаю уже не пили. Отец не смел опоздать на обед. Мама тогда сердилась, говорила, что труд прислуги надо беречь и приходиться во время. Папе очень попадало за опоздание к обеду. Когда мы совсем были маленькие, обед был в два часа дня, а в шесть часов — ужин. Помню, в зимние дни ждем мы папу из редакции. Звонок, горничная идет открывать парадную дверь, мы, дети, гурьбой бежим к отцу навстречу. Мы рады, что он пришел. Он пыхтит, шуба на нем тяжелая, на меху, барашковый воротник, руки у него покрасневшие от мороза, перчаток он не признает. "Это не дело, — говорил он, — ходить мужчине в перчатках". На ногах у него штиблеты и мелкие калоши. Лестница высокая — 5-ый этаж, лифт когда работает, когда нет. Отец улыбается, целует нас, детей, идет в столовую, подают миску со шами или супом, валит пар, и счастливая семья, перекрестясь, дружно усаживается за стол. Как я любила эти моменты — так уютно, тепло было в столовой после мороза, папа за столом рассказывает всегда что-нибудь интересное. Обед состоял из трех блюд. Щи или суп с вареным, черкасским мясом. Мясо из супа обыкновенно ел только папа, и обязательно с горчицей, и очень любил первое блюдо. На второе подавалось: или курица, или кусок жареной телятины, котлеты с гарниром, изредка гусь, утка или рябчики,

судак с отварными яйцами; на третье — или компот, или бeze, или шарлотка, редко — клюквенный кисель.

После обеда мы должны были играть в детской, а отец шел заниматься в кабинет, разбирать монеты или читать. Читал он в конце жизни мало, больше с середины книги или с конца, — уставал. Много прочитал серьезных книг смолоду. В кабинете у отца стояла большая вертящаяся полка с книгами по богословию, сектантству, а на высоком стеллаже стояли старинные фолианты книг на латинском и других языках, энциклопедисты XVIII века. Он хотел после своей смерти книги эти пожертвовать в Костромскую городскую библиотеку, откуда был родом, но разруха в революцию не дала осуществить эту мечту, он с грустью говаривал: "Кто будет там читать, а я эти книги собирал будучи бедным студентом, покупал на последние деньги у московских букинистов".

В трудное время сестра Надя продала их, не знаю кому, потом я очень об этом сокрушалась. Была еще полка с русскими старинными книгами: Херасков, Сумароков, Ломоносов, Карамзин — все в старинных, красивых переплетах. В кабинете у отца, на круглом столе красного дерева лежали хорошие книги по искусству. Были на полке у нас и чудесные журналы — "Старые годы", "Столица и усадьба", "Русские Пропилеи", много книг с автографами Гершензона, Мережковского и других писателей. Библиотека не сохранилась. В голодные годы отец продавал книги в Троице-Сергиевом посаде в магазин Елова, и сестры во время голода потом тоже продавали книги. Последние хорошие книги я продала в Государственный литературный музей. Среди них были и книги Гершензона, и с интересным автографом "Оправдание добра" Вл. Соловьева. Был у нас и весь Леонтьев, стоял на полке с книгами русских писателей-классиков: Достоевским, Толстым, Пушкиным, Лермонтовым, Гончаровым. Тургенев весь стоял в шкафу у сестры Али.

Как я уже сказала, отца мы видели, в основном, только за столом. Он любил рассказывать всякие случаи из жизни, о бедствиях своего детства, страшной нищете и болезни бедной своей матери. Любил рассказывать страшные рассказы, читать Гоголя: "Страшную месть", "Вий", "Тараса Бульбу"; читал

Пушкина стихи и Лермонтова: "Анчар", "Три пальмы", "Выхожу один я на дорогу", а особенно "Ангела" Лермонтова. Мама его часто останавливала, говорила, что дети и без того очень нервные, — плохо спят.

В беседах со взрослыми отец часто критиковал школьное образование, а также либеральные статьи в газетах; приводил рассказы о простых, добрых людях, живущих просто и нравственно. Я очень любила эти папины беседы за столом, они были фундаментом, заложившим нравственную основу во мне на всю жизнь.

На Шпалерной улице, вечерами, мы сидели на подоконниках в столовой и смотрели в окна на Петропавловскую крепость, на Неву, на пароходики с зелеными и красными огоньками. Мы загадывали, какой из-за угла дома покажется парходик — с зеленым или красным огоньком? И это нас очень увлекало.

Днем к нам редко приходили гости. Делалось исключение для Нестерова, Мережковских. Помню Зинаиду Николаевну Гиппиус, жену Мережковского, всегда (и зимой) в белом платье и с рыжими распушенными волосами. Мама ее терпеть не могла, а мы, дети, посмеивались и считали ее сумасшедшей.

В то время, когда у нас бывали Мережковские и отец увлекался юдаизмом (1908-год), однажды произошел следующий случай. Звонок. Входит молодой, красивый офицер и обращается с просьбой к моему отцу, не может ли Варвара Дмитриевна (моя мать) быть крестной его невесты. Она была еврейка из богатой семьи, и этот русский офицер не мог на ней жениться и по церковным, и по гражданским законам. Моя мать очень неохотно согласилась, дала ей Евангелие и научила ее главным молитвам. Они обвенчались. Через год у них родился ребенок — мальчик, но тут произошло несчастье — жена заболела и умерла от тифа. Было очень горько моим родителям, так как все полагали, что эта смерть была вызвана проклятием родителей, истых иудеев, не простивших дочери отступления от религии отцов.

Наша вся семья очень жалела мужа, положение было ужасное — молодой офицер с маленьким ребенком на руках. Он продолжал у нас бывать, часто брал меня на руки (мне было лет

семь), и помню, как он мне рисовал все одни и те же маленькие деревянные домики, неказистый забор, за забором — яблоня, а из трубы идет дым.

Затем он уехал на Кавказ, на свою родину, с ребенком. Помню, как мы на нескольких извозчиках всей семьей его провожали. Помню, как я потихонечку там горько плакала, жалея, что он уезжает. Через некоторое время он прислал нам свою фотографию, где он был снят уже в мундире, с прелестным курчавым ребенком. На обороте фотографии была длинная надпись, но содержания ее я не помню. Эта фотография до последнего времени хранилась у меня, но потом я испугалась, что он снят с эполетами старой царской армии, и уничтожила ее, о чем теперь очень жалею.

Раза два бывала у нас вдова Достоевского, Анна Григорьевна, в черном шелковом платье, с наколкой на голове и лиловым цветком. Представительная, красивая; она просила отца написать рецензию на роман дочери "Больные девушки". Но папа нашел роман бледным сколком с Достоевского и бездарным и не написал рецензию. Анна Григорьевна жаловалась на дочь, что она ее замучила, и она хочет уйти в богадельню. Я тогда очень удивлялась этому.

Вспоминаю нашу знакомую, Фрибис. У нее были две дочери — Вера и Надя. Фрибис была крестной матерью моих сестер — Веры, Вари и Нади. Дочь ее, Надя, бывала у нас чаще, одна, — и брала меня с собой гулять по прилегающим к нашему дому улицам. Она мне очень нравилась, она была хорошенькая блондинка, очень изящная. С ней мы останавливались у красивых витрин, особенно я любила останавливаться около табачных лавчонок, где были в окнах выставлены нелепые, блестящие открытки, а также маленькие бутафорские колечки с красненькими стеклянными камешками. Мне очень они нравились, и я просила Надю, чтобы она купила мне такое колечко. И она мне купила. Через некоторое время я узнала, что она покончила с собой. Никто так и не узнал причины ее смерти. Об этой истории, как я понимаю, написал мой отец статью "О самоубийствах", которую я прочла только в этом году, в сборнике "Самоубийство", М., кн-во "Заря", 1911 г.

Другой печальный случай вспоминается мне: молодой человек, Зак, музыкант, приходил к нам играть на рояле, так как у него своего инструмента не было. Он готовился к поступлению в консерваторию. Однажды он к нам не пришел в назначенный час. Через несколько дней мы узнали, что он покончил с собой, выбросившись из окна. Причина была та, что по ограниченной процентной норме для евреев он не попал в консерваторию. Это был довольно красивый, скромный и тихий молодой человек. Мы его очень, очень жалели и часто потом вспоминали.

*

Днем приходил Евгений Павлович Иванов, изредка бывала моя крестная мать — Ольга Ивановна Романова со своей дочерью Софьей — папиной крестницей. По зимам, с мамой и со старшими детьми, отец изредка ездил к ним в гости на Васильевский остров. Зимой, на санках, проезжали через Неву, красиво горели фонари на оснеженной, замерзшей Неве. Мы любили эти поездки. Старик Иван Федорович Романов, довольный, выходил к отцу навстречу, и лилась у них мирная и интересная беседа, а мы, женщины, говорили про свое житейское, обыденное.

Обыкновенно дети ложились спать в 9 часов вечера. Папа всегда приходил их крестить на ночь. Мама со старшей сестрой ложились часто часов в 12, я же потихоньку зачитывалась допоздна.

Ночью папа обыкновенно или писал, или определял свои древние монеты, или же ходил по кабинету по диагонали и о чем-то размышлял. Писем он писал мало и по крайней надобности. Много курил. Папиросы он набивал сам и клал в хорошенькую бордовую коробочку с монограммой: "В.Р.", подаренной ему его падчерицей — Александрой. Коробочка эта сохранилась и передана мною в Государственный литературный музей в Москве. Если в воскресенье, когда магазины табачные закрыты, у отца не было папирос, то он был совершенно растерян и не мог работать...

В 1904 году началась японская война. Помню, у нас, детей, было два альбома и мы наклеивали туда вырезки из газет с изображением боев, Цусимской битвы, крепостей, генералов.

Эти альбомы мы бережно сохраняли в нашей семье долгое время.

Я просила мать отдать меня на воспитание крестной матери — Романовой, но та отказалась, и меня в 1904 году отдали в пансион. Этот пансион был только что открыт в Царском Селе по образцу английских школ и принадлежал некоей даме, по фамилии — Левицкой. Отдали меня в этот пансион, чтобы укрепить мое слабое здоровье и закалить меня, так как я росла любимицей в семье и сама боялась, что выйду в жизнь слишком избалованным и слабым созданием.

В этом пансионе девочки учились вместе с мальчиками. Прекрасный воздух, парки, строгий режим — все это должно было укрепить мое здоровье. Программа была мужской гимназии, с латинским языком. Меня туда привезли и оставили. Я долго горько плакала и всех боялась, особенно мальчиков. Мальчики меня звали "мокрой курицей", и я этим очень огорчалась. Через две недели меня стали пускать домой на воскресенье, а если в чем-нибудь провинилась, то оставляли на воскресенье в школе. Но я обыкновенно ездила домой.

Папа и мама мои очень не любили лгать, особенно мама; она была очень привязана ко мне, потому что я тоже не могла сказать неправду. Сестры же были большие фантазерки и никогда нельзя было узнать, правду они говорят или придумывают. Мама с папой очень верили мне и очень держались меня. Папа говорил: "Таня нас не бросит в старости", и случилось так, что оба они умерли при мне; когда папа болел, очень помогала Надюша, а мама умерла при мне, и до последней минуты я была с ней в больнице.

Вспоминаю свои приезды домой в зимние дни с субботы на воскресенье. Как я любила субботы! Бывало, мама лежит на кушетке, а я сзади нее, за ее спиной, и слушаю ее неторопливые рассказы о Ельце, о бабушке, о первом мамином муже. Милая мама, — больше всех в жизни я ее любила и она тем же отвечала мне.

К моему приезду всегда в вазочке стояли розы. Было в комнате моей тщательно все прибрано, и я весело проводила эти дни, а вечером, в воскресенье, возвращалась в школу Левицкой. Комнату мою мама запирала на ключ, чтобы сестры там не

напроказили и я была бы спокойна. В детстве, лет до десяти, я была очень резва, смела, ничего не боялась, но с десяти лет характер у меня изменился — я стала очень серьезной, боязливой, о чем папа и пишет в письме. Я была прямолинейна, требовательна к себе, но еще более требовательна к другим. Я осуждала многих, особенно сестер за их легкомыслие, и эта черта моя делала, в сущности, меня несчастной. Родители мои любили меня и жалели меня, а сестры меня недолюбливали и боялись. Я была очень старательной в учебе и во всех делах, мне никогда не надо было много раз напоминать, я сама знала и чувствовала, что я должна делать и как поступать, чтобы не огорчать родителей. Но в одном я родителей не слушалась: я по ночам запоем читала, и чуть ли не восемнадцати лет прочла всего Достоевского. Это увеличило мою нервозность и сильно испортило мое здоровье. Так как я была очень слабым ребенком, то меня поздно начали учить по настоянию врача, что было очень тяжело для моего самолюбия. Я росла замкнутым, нервным и не по летам серьезным ребенком.

В марте месяце 1905 года вдруг перестали к нам в школу Левицкой доходить письма от родителей, они тоже не приезжали ко мне и нас не пускали домой. Поезда из Царского Села одно время в Петербург не ходили. Шопотом говорили, что революция в России...

В один из приездов, весной, я видела, как казаки с нагайками разгоняли толпу народа около Зимнего Дворца, и мы с няней убежали; затем волнения улеглись, но долго у нас дома были разговоры. Я напрягала свой детский ум, чтобы понять, что же произошло?

В 1905 году, летом, мы поехали за границу по окружному билету: Берлин, Дрезден, Мюнхен, затем Швейцария и обратно через Вену. Но отцу очень хотелось посмотреть Нюрнберг, и мы сделали отклонение от маршрута и поехали в Нюрнберг. Он красочен и интересен. Ходили в костел, слушали орган. За границу ездили: отец, мать, сестра Аля, Вера, Варя и я. Васю и Надю оставили у знакомых Гофштетеров.

Из Германии мы поехали в Швейцарию, сначала жили в Женеве, в гостинице, напротив был разбит сквер. Помню один случай, — и серьезный и комичный: сестры Вера и Варя устали

от путешествий, им все надоело. Они решили сами прогуляться и убежали из гостиницы. Мы очень испугались, что они потеряются, не зная языка, такие маленькие дети. Отец их догнал в саду и крайне рассерженный, запер их в платяной шкаф. Слышу, Вера, встревоженная, плачет и шепчет, задыхаясь: "вот скоро умру", а Варя ее утешает: "не бойся, папа пожалеет и выпустит нас, он не даст нам задохнуться". Вспоминается и второй случай, когда я в сумерках, в горах, убежала от родителей. Я обиделась на сестру Алю, что она не обращает на меня внимания и разговаривает с нашим знакомым Швидченко, который в Швейцарии сопровождал нас, любезно показывая разные достопримечательности.

В Женеве мама сильно заболела, и мы перебрались в местечко "Бе" в горах. Там мы прожили в пансионе три недели, ходили в горы, а мама лежала в гостинице. Из местечка "Бе" мы через Вену вернулись в Россию. Видели собор св. Стефана, были в костеле, слушали поразительный орган; но сама Вена нам не понравилась: очень шумная, беспокойная и дорогая. Васе и Наде привезли много подарков, все были очень довольны, мама очень беспокоилась за младших детей, первый раз оставленных на чужие руки.

Поездку за границу я запомнила, привезла оттуда много открыток с видами Швейцарии, очень их берегла, но в 1943 году, при несчастном случае, их у меня выкрали.

*

Пришвин появился у нас в Петербурге на квартире с рюкзаком за плечами и женатым. Он принес свою первую книгу "В краю непуганых птиц" и просил отца написать об этой книге рецензию. Это я очень хорошо помню. Отец засмеялся и сказал: "Вот, Таня, как хорошо, что я его выгнал, по крайней мере, узнал жизнь, путешествовал, и написал хорошую книгу, а то был бы каким-нибудь мелким чиновником в провинции". Отец сдержал слово, поместил похвальную рецензию в "Новом Времени". После него дал о книге отзыв еще и Горький. С этого времени Пришвин пошел в гору. Позднее он написал роман "Кашеева цепь", где высмеял Василия Васильевича, не упоминая его

фамилии. Когда в 1928 году я стала бывать в его семье в Троице-Сергиевом посаде, то он хотел прочитать мне это место из своей книги, но я отказалась слушать. Он был, видимо, очень смущен этим и через несколько времени принес мне на квартиру в подарок портрет моего отца, а также фотографический снимок с пелены преп. Сергия, которая находится в Государственном Троице-Сергиевом музее в Загорске. Фото эти до сих пор висят у меня на стене.

*

В 1906 году мы ездили летом в Гатчину. Смутно запомнились дворец и зелень садов. В 1907 году летом мы ездили всей семьей в Кисловодск — мама болела и врачи посоветовали лечение нарзаном. Помню, как я смотрела из окна вагона на цепь невысоких гор.

Отец нашел, по совету художника Нестерова, дачу, расположенную близ дачи художника Ярошенко.

Из Кисловодска мы ездили в Пятигорск: отец, сестра Аля, Вера и я. Ходили смотреть на место дуэли Лермонтова. Рассказ старожила Пятигорска о смерти Лермонтова казался сомнительным, о чем сказала Аля. Если бы дуэль была на том месте, где указывали, то Лермонтов должен был бы упасть в пропасть и разбиться на смерть, так как площадь была небольшая, а он жил (по свидетельству биографов) еще некоторое время, хотя был без сознания.

Памятник же Лермонтова находился совсем в другом месте и был очень неудачный — в виде ограды из алебастра или мрамора с его бюстом. Потом мы пошли осмотреть домик Лермонтова, в котором поэт провел последние дни своей жизни. Одноэтажный домик стоял в саду, густо заросшем, тенистом. В самый домик нас не пустили, как я хорошо помню, а какой-то старичок повел нас в сад — уютный, где было много яблонь.

Старичок этот что-то умиленно и долго рассказывал о Лермонтове моему отцу... Оттуда мы вышли очень грустными, с мыслями о том, что память о Лермонтове плохо сохраняется в Пятигорске, что рассказ о последних его днях неясен. Отец решил написать о домике Лермонтова и просить сохранить его

для потомства, что он и сделал, написав статью в "Новом Времени" в 1908 году об этом. На статью обратила внимание Академия Наук, а затем и общественность, и спустя некоторое время домик был передан в ведение города.

Я очень любила Лермонтова. Первый классический стих, который я услышала от отца, был "Ангел" Лермонтова. Часто впоследствии отец читал мне наизусть стихи Лермонтова.

Помню, как отец подарил мне собрание сочинений Лермонтова в одном томе, в красном переплете. Отец ставил Лермонтова выше Пушкина, учитывая, что Лермонтов ушел из жизни совсем молодым.

Из кавказских впечатлений помню нашу поездку к подошве горы Эльбрус. В жизни впервые я увидела восход солнца, видела, как брызнули кровавые лучи солнца на белые снега Эльбруса. Зрелище это было незабываемое по своей красоте... Вот все, что я помню о Кавказе... да еще вспоминается один эпизод: как-то мои младшие сестры и братишка собрали исписанные открытки и решили их продать, а на вырученные деньги убежать из дому в горы. Отец поймал их и пребольно выск, пошадив лишь младшую сестренку Надю.

*

В 1908 году мы жили в Финляндии, в местечке Лепенено, а в 1909 году в Луге. Помню суровую природу Финляндии.

Уезжали мы всегда сразу после экзаменов с мамой, сестрой Алей и Домной Васильевной. Летом у меня всегда были перезкзаменовки по арифметике, и это меня угнетало, но все же опять запоем читала, гуляла мало. Отец жил на нашей квартире в Петербурге, в Казачьем переулке, так как ему нужно было бывать в редакции, и он приезжал к нам в конце недели на воскресенье, всегда с какими-нибудь подарками. Мы очень радовались его приезду. В воскресенье, ближе к осени, всегда ходили за грибами. Ранней весной, иногда, на дачу уезжала Домна Васильевна с Васей и Надей — младшими детьми, у которых еще не было экзаменов.

Папа и я очень любили эти прогулки в лесу и собиране

грибов и кричали: "Вот белый гриб, вот белый гриб!", а брат Вася всегда набирал червивых грибов, над ним посмеивались сестры и безжалостно выбрасывали их из корзинки, чем он очень огорчался. Дома тщательно разбирали, сортировали, жарили или мариновали грибы. В конце лета обыкновенно набиралось больших стеклянных банок — 12, их заливали воском и убирали на зиму.

*

Помню свою жизнь с родителями в Петербурге. Помню свою комнату: детская кровать — она и до сих пор у меня, — старинная, с завитками на спинке кровати, каких теперь и не делают, диван, шифоньерка с любимыми книгами и бельем, письменный дамский столик, зеркальный платяной шкаф, на стенах картины Бёклина.

Семья делилась на две половины. Я была ближе с отцом и матерью, а с сестрами и братом — далека, любила только младшую сестрёнку Надю, но она меня не любила. Так было в течение первого периода нашей жизни, а затем, перед смертью отца года за три, отец очень сдружился с Надей, которая увлекалась античными мифами, даже экзаменовала его; а ко мне становился все дальше и дальше, потому что я интересовалась православием и аскезой. Как жалею теперь я об этом. В старости захватил меня древний мир, особенно Ассирия и Египет, о многом я сейчас бы расспросила отца, ближе и дороже становится он мне.

Теперь я вернусь к рассказу о семье. Старшая, сводная наша сестра Аля — Александра Михайловна Бутягина — нас всех объединяла своей любовью, заменяя нам большую мать. По вечерам мы приходили к ней, и она рассказывала нам чудесные сказки Андерсена, особенно мы любили "Дюймовочку" и сказку про "Снежную королеву", а также сказку народную про Иванушку-дурачка. Мы заслушивались и сказкой о Золушке. С нами Аля иногда ходила гулять, много нам интересного рассказывала и была нам родной и близкой. Помню, как однажды пошли мы с ней на Марсово поле смотреть военный парад, было очень интересно и красиво. Но вдруг, в конце парада, один

всадник упал с лошади, и мы видели, как вся конница проехала по нему. Это было ужасно! Мы вне себя пришли домой и больше на парады никогда не ходили.

Вспоминая своих родителей, вижу, насколько они были разные люди, несмотря на то, что они очень любили друг друга.

Мама была очень молчаливая, сдержанная и с оттенком суровости. Свои чувства она не любила выражать внешне, но любила отца самоотверженно, горячо, до самозабвения. Из детей она страстно любила меня, прямо боготворила и баловала очень сильно, а младшую мою сестру Надю полюбила тогда, когда последняя вышла замуж и уехала в Ленинград с мужем. Тут Надя была ей очень близка. Мама писала ей трогательные письма. Вспоминала с ней свою молодость и трудную необеспеченную жизнь с отцом в первые годы замужества, писала, что все образуется. Надя вышла замуж за студента. С ними в Ленинграде жил свёкр и младшая сестрёнка мужа. Было материально очень трудно, квартира была большая, дров не было. Но сестра все скрыла, чтобы не расстраивать меня. В то время я лежала в больнице в Ховрино с осложнившимся ревматизмом.

Когда сестра Надя умерла в 1956 году, я из писем к ней матери только и узнала о настоящем положении дела в то далекое время.

*

В молодости сестры Вера и Варя своей анархичностью причиняли маме большие заботы и огорчения, она их совсем не понимала и была далека от них. Но у Вари все же сохранилось очень хорошее стихотворение к матери.

Моей матери

Завтра утро.
Встанешь рано, —
До зари.
Я приду плести прямые
Волосы твои.

Завтра утро...
Час тревожный,
Отдохни,
Снова встретится возможный
Белый лик тоски.

Знаю, скажешь:
"Опоздала",
С грустью отойдешь
И бродить тоскливо станешь,
Все кого-то ждешь,
Платье черное закрыто
И тревожно спит,
Все неясное сокрыто
И молчит, молчит.

Сергиев. 25 декабря 1917 г.

Сестра Вера обожала отца, день и ночь думала о его сочинениях, ночью писала ему любящие письма и оставляла у него на столе. К матери же она была очень холодна.

Брат Вася помогал маме, бегал постоянно в аптеку за лекарствами — у нее часто бывали тяжелые сердечные приступы. — и причинял мало забот, кроме того, что плохо учился, — писал с ошибками; был очень мягкий, добрый и тихий, а ученье ему не давалось. Поэтому его отдали в Тенишевское училище — реальное, чтобы только ему не изучать в гимназии древних языков. Вася и Варя плохо учились, Вера — сносно, хотя уроков мало учила и читала запоем, как и я. Я же была очень старательная, но математика мне тоже давалась трудно, как и Наде, и я плакала над уроками. Отец, бывало, часто помогал мне в решении задач на краны и поезда; этих задач я никак понять не могла. В старших классах, когда пошла логика, психология, история искусств и отпала математика, так как я была на гуманитарном отделении, я училась на одни пятерки. Как я уже сказала, Вера и я читали запоем. Вася и Варя совсем не признавали книг. Варя мечтала о танцах и всяком веселии, Вася любил летом удить рыбу; есть очень интересные Васины письма о рыбной ловле. Мама всегда говорила: "Трудные мои дети. Маленькие дети — маленькие заботы, большие дети — большие заботы", и тяжело вздыхала.

Папа как-то не очень вникал в наши занятия, он только очень огорчался, когда я горько переживала свои неудачи. Отец полагал, что учат нас многим глупостям, и видя, что мы к науке

неспособны, махал только рукой; огорчался лишь из-за Вари, которая приносила домой из школы одни только двойки и очень шалила за уроками, но сама Варя нисколько не унывала; она была в жизни удивительная оптимистка, ее интересовало только одно — как сидит на ней юбка, как завязан бант, и она вертелась дома весь день перед зеркалом.

Татьяна Розанова

О МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ УТОПИЗМА

В 120-м номере "Нового Журнала" напечатана в *порядке дискуссии* статья Е. Валина "К философии социализма" (в связи со статьей И. Р. Шафаревича "Социализм" в сборнике "Из-под глыб"). Не возражая против тезисов Валина по существу, хотя они и могут показаться несколько необычными, нам хотелось бы дополнить то, о чем писал он. Валин дает нам как бы вертикальный разрез философии социализма, тогда как в этой статье нас интересует больше горизонтальная перспектива этого явления. А так как именно такую перспективу мы находим в статье Шафаревича, то, чтобы не повторять его мыслей, мы выделили здесь только то, что у него подлежит рассмотрению под несколько *иным* углом зрения. И, кроме того, рассмотрим предпосылки к философии *утопизма*, а не социализма: последний, ведь, является одним из конкретных и частных воплощений идеи первого.

*

Прежде всего дадим несколько определений *утопии* и *утопизма*.

В самых общих чертах *утопию* можно определить, как *мечту о максимальном счастье человечества*. Утопия есть подмена христианской идеи Царства Божьего секуляризированной идеей земного рая. *Утопизм* же — это идеология, основанная на систематизированной или программированной утопии того или другого вида, не только разрабатывающая

теоретические основы, но и руководящая осуществлением того или другого вида утопии на практике.

У С.Л. Франка имеется несколько иное определение утопизма, а именно "Под утопизмом мы разумеем не общую мечту об осуществлении совершенной жизни на земле, свободной от зла и страдания, а более специфический замысел, согласно которому совершенство жизни может — а потому и должно быть — как бы автоматически обеспечено неким общественным порядком или организационным устройством; другими словами, это есть замысел спасения мира устрояющей самочинной волей человека".

Иной еще аспект утопизма отмечает П. Новгородцев. Его определение можно свести к следующему: Утопизм есть идеология, основанная на вере в возможность земного рая, и выражающаяся в убеждении, что человечество, по крайней мере в избранной своей части, приближается к заключительной и блаженной поре своего существования, и что соответственным идеологам известна та заветная истина, посредством которой они приведут людей к этому и последнему пределу истории.

*

Всему живому свойственно развиваться, т.е. стремиться к своей энтелехии, практически же говоря — к некому жизненному оптимуму. Это стремление сопряжено с трудом, ибо существование индивида в данной среде обусловлено сильной конкуренцией со стороны всех иных индивидов. Борьба за существование имеет много разновидностей и никакой жалости не знает. Даже явление симбиоза основано не на сочувствии, а на обоюдной пользе: это есть благоразумный эгоизм. Природа на всех ее иерархических ступенях знает два основных блага-цели: возможный максимум жизнеудовлетворенности и сохранение рода. Те же стимулы определяют и жизнь человека как животного организма.

Но в случае человека действительность осложняется тем, что он обладает способностью к альтруизму и сознанием долженствования, т.е., иными словами, человек способен поступать *вопреки* инстинктам, всегда окрашенным эгоисти-

чески. Не всякий пользуется этим даром, но всякий *может* им воспользоваться. Но коль скоро он встает на путь альтруизма, тем самым он включается в универсальность и создает новую стихию, разумно-духовную, аксиологическую, и его личные возможности роста в этом направлении неизмеримо увеличиваются, надо только переходить в процессе развития от целей низших к высшим, от целей материальных к духовным, от целей индивидуальных к универсальным, от эгоизма — к альтруизму.

Верующий человек, какой бы религии он ни был, а тем более если он христианин, знает одну высшую, абсолютную цель: бессмертие путем приобщения к Божеству.

Если же человек по недомыслию или же по злой воле отказывается от устремления, пусть постепенного и частичного, к этой абсолютной цели, то ему остается выбирать, в качестве главной — цель относительную, т.е. абсолютизировать нечто неабсолютное и тем самым извращать единственную правильную ориентацию, со всеми и предвиденными и не поддающимися учету последствиями. Это есть то, что религия называет грехопадением, совершенным однажды перво-человеком и совершаемым в той или другой мере каждым из нас.

Обратим теперь внимание на то, куда может обратиться взор человека, *формально* остающегося альтруистом, но отказавшегося видеть в альтруизме его божественное целенаправление. Перед ним открыт путь безблагодатного применения альтруистического дара, в том, что он может постулировать, а затем и осуществлять, некоторое оптимальное состояние коллектива (класса, народа, человечества) либо в воображаемом будущем как совершенно новом, либо в будущем, в которое проецируется идеализированное прошлое. Советский коммунизм являет собой пример осуществления прогрессивного утопизма с полнейшим отказом от всего прошлого, а германский национал-социализм был неудавшейся попыткой осуществления утопизма регрессивного (господство расы, возврат к древне-германскому язычеству, культ германского сверх-человека по образу языческого полу-бога). Оба явления дают наглядный пример того, куда заводит абсолютизация относительных целей.

С.Л. Франк прямо назвал утопизм *ересью*. В

секуляризованной форме эта ересь воплотилась сперва в якобинстве, а потом — в революционном социализме.

Снова и снова встает перед человеком, как в свое время и перед Иисусом Христом, искушение насильственного добра, и снова и снова люди, *не следуя примеру Иисуса Христа*, улавливаются на эту дьявольскую приманку. "Без Меня вы не можете творить ничего", сказал Христос, а человек все время прельщается идеей совершить то, от чего отказался даже Христос. В результате очень глубокого анализа Франк приходит к выводу, что в самом замысле создания совершенной жизни на земле путем проведения в жизнь декретами некоей *идеологии*, заключается внутреннее противоречие. Оно явно выходит при попытке практического осуществления идеологии, на первый взгляд безупречной, но таящей в себе, роковым образом, предрешенность к отмене того, во имя чего она была создана.

Не отвлеченные размышления показывают порочность утопизма, но *практика*. Как ни странно, но отдельные человеческие общества, в общем довольно охотно пользующиеся техническими достижениями других народов, остаются слепыми и глухими при опытах в области социально-революционной и утопической.

С. Франк вскрывает парадоксальность утопических диалектик: утопизм "вопреки первоначальному замыслу... всегда приводил не к добру, а к злу, не спасал, а губил жизнь". Поразительно и то, что "на этом пути сами спасители человечества и самоотверженные служители блага, неожиданным образом превращались в бессовестных злодеев и кровожадных тиранов. Утопические движения всегда начинаются людьми самоотверженными, горящими любовью к людям, готовыми отдать свою жизнь за благо ближних; такие люди не только кажутся святыми, но в известной мере действительно причастны, хотя и в искаженной форме, святости. Однако по мере приближения к практическому осуществлению своей заветной цели, они либо сами превращаются в людей одержимых дьявольской силой зла, либо уступают свое место злодеям и развращенным властолюбцам, имеют их своими преемниками".

Первое заблуждение утопизма, — продолжает Франк, — состоит в том, что утописты надеются осуществить господство

добра путем устранения зла. Но, возникает сразу же вопрос: в чем состоит добро, а в чем зло? Естественно, что относительно этого мнения расходятся, и каждый пытается защитить *свое понимание добра и зла*. Затем возникает проблема: добро одних может обернуться злом для других, и наоборот. Сразу же, наряду с разномыслием, подает голос эгоизм ("я хочу *своего блага, даже за счет других*"). Здесь уже возникает вопрос не только теоретического расхождения мнений, здесь возникают расхождения жизненных интересов, нужд, начинают действовать инстинкты и дело доходит до физической борьбы. Проведет свою линию тот, кто возобладает властью: а это требует *уничтожения* противника. Захваченную же власть надо сохранить всеми силами и способами... и так, с железной последовательностью, начинает работать *практическая* диалектика, которую с предельной ясностью можно было наблюдать на примере России. Насилие, сделки с совестью, — все это изменяет *характер* человека, стоящего во главе движения, а затем начинается естественный отбор сотрудников по той же линии... Идеи, во имя которых движение началось, лишаются содержания, становятся *формальными* лозунгами, догмами, не имеющими ничего общего с актуальной жизнью: начинается царство ЛЖИ И НАСИЛИЯ.

Задачу, которую ставят перед собой утописты, это создание нового порядка, *НОВОГО ЛАДА*. Но всякий порядок основан на законе. Тот же, кто свергает существующий закон силой, не уважает законности, и однажды вступив на стезю беззакония, непреложно начинает пользоваться *своим законом* т.е. узаконивает свой произвол.

Кроме того, законы регулируют только внешние отношения между людьми. Этические же категории добра и зла принадлежат внутреннему миру: это область религии и область свободного принятия или неприятия религиозно-нравственного кодекса. Эту область регламентировать нельзя. Принуждением и насилием можно только калечить человеческие души, но не воспитывать. Все же закон, каким бы он ни был, лучше беззакония. Ведь, в принципе, он обязывает не только граждан, но и правительство. Он ставит *вехи*, внутри которых индивид может устраивать свою жизнь. Ибо в законе он может обрести стража и

охрану перед нарушителями установленных норм взаимоотношений между людьми. Всякий, кто нарушает законы или силой их низвергает, обещая, что делает он это для установления *лучших законов*, на деле оказывается обманщиком.

”Исходя из совершенно правильного сознания, — пишет С. Франк, — что при несовершенстве человеческой природы свобода не только не обеспечивает разумной и справедливой жизни, а напротив, фактически есть в весьма значительной мере свобода зла и неразумия, утопизм есть замысел в корне пресечь эту опасность через планомерное принудительное водительство общественной жизни единой направляющей разумной волей к добру”. И таким образом, как в порочном кругу, снова надо прибегать к идее (и трагедии) ”принудительного добра”. Порочность круга выявляется потому, что закон действует *вне*, а не *внутри* человека:

”Создается болезненное, отравляющее жизнь противоречие между только видимой благопристойностью и упорядоченностью жизни как ее поверхностным наружным слоем, и ее внутренней хаотичностью и порочностью. И, с другой стороны, сами водители жизни, долженствующие своей разумной и благой волей преодолеть ее злое неразумие, фактически, как люди, полны того же несовершенства человеческой природы, которую они призваны преодолеть: злую и неразумную человеческую волю направляет и обуздывает не какая-либо высшая, более совершенная, инстанция, а — в лице руководителей — та же самая человеческая воля, полная зла и неразумия”.

Философия утопизма окрашена в сильные тона прогрессизма и эволюционизма, ибо считает, что устройство мира возможно достичь *умением*, и пренебрегает проблемой греха и покаяния.

Некоторые утописты, по недомыслию, имеют перед своим умственным взором только главные свои тезисы; они закрывают их, когда им приходится делать логические *выводы* из их мыслей. Ведь экзистенциальный фон, на который они наносят узоры своих учений, всегда шире этих учений. Перед утопистами, дошедшими до власти, возникают неожиданные и непредвиденные проблемы, которые им приходится решать не с позиций теоретически обдуманной программы, а с позиции силы, вернее — насилия.

”Посвящая все свои силы, — пишет Франк, — бесконечной, никогда не завершимой задаче обуздания, подавления, разрушения исконных основ мирового бытия, спасители мира становятся его заклятыми врагами и постепенно подпадают под власть своего естественного водителя на этом пути — духа зла, ненависти, презрения к человеку. Богоборческая антропократия роковым образом вырождается в демонократию, которая ведет не к спасению мира, а к его гибели”.

Другой русский мыслитель, Г. Флоровский, в статье ”Метафизические предпосылки утопизма” отмечает, что утопизм есть лишь внешний симптом более глубокой установки, которую он называет историко-космическим натурализмом: ”Утопизм есть постоянный и неизбывный соблазн человеческой мысли, ее отрицательный полюс, заряженный величайшей, хотя и ядовитой энергией”. Утопизмом он также называет ”всякую веру в возможность *последних слов*, в возможность имманентной исторической удачи, окончательной и предельной, хотя бы и только частичной, но такой, которая не требовала бы и не допускала бы дальнейших перемен в лучшую сторону”.

Время измеряется движением и изменением в пространстве. Как же можно мыслить нечто ”вечное” в потоке временности и бывания? Правда, эволюция природного мира знает примеры ”задержанных цивилизаций”, уткнувшихся в тупик без выхода в дальнейшую историю. Но это — идеал ”муравейника” и чтобы его достичь, человека надо лишиться свободы, до остатка рационализировать его и соответственно ”программировать”: ужас такой перспективы убедительно показан анти-утопистами: Замятиным, Орвеллом, Гексли...

В свете вышеизложенного понятны становятся анти-прогрессистские и антиутопические тезисы, вроде следующих: *история имеет только воспитательные задачи* (С. Франк), *в глазах Творца все эпохи имеют равное значение* (Шубарт) или что человек должен устремляться не к имманентной цели, находящейся в горизонтальном направлении истории, а к цели вертикального направления, т. е., к цели трансцендентной (Флоровский)...

Ибо не в имманентное завершение упирается история, не в "Третий Завет", и не в земное мессианское царство, но в Парусию и в Страшный Суд.

Игумен Геннадий.

О СОЦИОЛОГИИ И СОЦИОЛОГАХ В СССР

То, что будет описано мною, иллюстрирует положение в СССР социологии и вообще отношение людей к труду и друг к другу.

Социологическая лаборатория, социологи, утро, начался рабочий день. Все — даже несколько торжественно, рассаживаются за столы, под самые новые и самые свежие — вечерние и ночные — анекдоты. Конечно же, анекдоты, главным образом, политические. Научные сотрудники не шадят никого — ни Косыгина, ни Брежнева. Они не шадят, но за анекдоты — шадят их.

Приведу два таких "анекдотических" примера. Анекдот 1: встречается медведь с зайцем. Здорово, Топтыгин — говорит заяц. Здорово, Косыгин — отвечает медведь. Конец анекдота покрывает дружный хохот. Учёные мужи — разных возрастов, научного статуса, партийные и беспартийные — все объединяются в этом "анекдотическом катарсисе", воистину демонстрируя факт "единства всего советского народа". Анекдот 2: Брежнев лежит в кровати, собираясь опочить. Вдруг раздаётся стук в дверь. Брежнев поспешно надевает очки, берёт с ночного столика том "Капитала", и разворачивая его, говорит: "войдите". Анекдотическое единство советского народа подтверждается ещё раз, опадая отдельными смешочками уже за рабочими столами, все рассаживаются.

Но, скажут, ведь это — дважды хорошо. Во-первых, хорошо, что единство советского народа — анекдотическое. Во-вторых, что это единство всеобщего смеха над советскими

лидерами. Всё это так. И всё же. В том то и дело, что советская власть начинает понимать, что запрещать *ВСЯКИЙ* протест менее выгодно, чем разрешать протест *СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ*. И что запрещать *ВСЯКУЮ* критику менее выгодно, чем разрешать критику *СЕНТИМЕНТАЛЬНУЮ*. Поёршится человек, похихикает, и останется чистеньким для "новых дел, новых свершений", для выполнения новых приказов начальства. Сентиментальная критика и протест не могут быть реальной угрозой существованию власти потому, что они не базированы ни на крепкой социологической школе, ни на серьёзном гражданском чувстве.

Расселись сотрудники по столам, вытащили из ящиков пачки бумаги, ватманские листы со схемами, взгромоздили перед собою арифмометры. Каждый знает, что ему нужно делать. Но... это же можно сделать и завтра, и послезавтра, и вообще — "на этой неделе". Почему это возможно, спрашивается, каким образом такое может быть?

Дело вот в чём. Наверху решили, что социология нужна. Для того, чтобы управление советским государством было более эффективным. Социология нужна как подотрасль науки Управления в широком смысле. Иными словами, нужна правдивая, отражающая истинное положение вещей информация о том, что происходит в советской жизни, каковы в действительности советские люди. Для того, чтобы эффективнее можно было манипулировать ими. Социологии волею советского начальства было предназначено 1) давать беспристрастную информацию о положении вещей в стране и 2) давать обоснованные рекомендации относительно эффективности Управления этим положением вещей.

Социологии дали ход. И тут выяснилась одна не просто досадная, а прямо-таки — роковая вещь, что никакая работа над фактами невозможна без теоретической их организации. Фактология не может существовать без социологической теории, *НО СОЦИОЛОГИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ РАЗРЕШИТЬ — НЕ МОЖЕТ*. Ибо понимает, что это неизбежно будет другая, чуждая ей теория.

Да, советская власть хочет, чтобы социология существовала.

Но не хочет, чтобы социология — думала. Ей нужна социология, но позволить ей быть живой она не может.

Слово "социология" появилось в словаре советской интеллигенции в период благодетельной хрущёвской "смуты сверху". Хрущёв как Балда из знаменитой Пушкинской "Сказки о попе и работнике его Балде" — стал мутить стоячую воду прогнившей советской жизни. Он пытался решать проблемы более конструктивно и действенно, а не путём "партийной стыдливости", заставляющей замалчивать правду и являющейся следствием некоего "идеологического пуританизма". Конечно, ни партийную стыдливость, ни идеологический пуританизм сам Хрущёв не мог преодолеть, но хоть начал мутить. При Хрущёве советская власть и решила сделать из социологии свою служанку.

И молодая советская интеллигенция, не обладающая чётким представлением о том, что именно в советской жизни идёт на пользу власти, а что нет — стала наполнять своими чаяниями и надеждами русло социологии. Советская интеллигенция не понимала — чем может стать социология в условиях советского Союза — то ли новым оружием советской власти, то ли показателем того, что советская власть сдаёт позиции. Вообще, интеллигенция надеялась на то, что обращение к социологии свидетельствует, что советская власть начинает некое — почётное отступление.

Вопрос сводится по-сути, к следующему: тождественна ли советская власть с политикой замалчивания фактов социальной жизни, не уместяющихся в марксистско-ленинские схемы, и насилия над всем, что выходит за рамки этих ортодоксальных представлений о жизни, или же она может остаться собою даже если готова признать несоответствие фактов с "великими учениями" и необходимость изучения этих фактов.

В социологию ринулось в 60-х годах много людей с философским, историческим, журналистским и филологическим образованием (социологического факультета в СССР нет). Эти люди, главным образом, молодёжь, надеялись, что после эпохи лжи наступает новая эпоха, когда можно — видеть и констати-

ровать правду, стараться её понять и решать не ложные и высосанные из догматического пальца, но истинные жизненные задачи. Многие из этих людей стихийно поверили в пресловутую хрущёвскую либерализацию и смутно надеялись, что советская власть, стремясь к выявлению и решению подлинных задач, стоящих перед государством — тем самым отказывается от упора на идеологическую ложь.

Помимо всяких идеологических импликаций, многих привлекала в социологии надежда делать реальное дело. Всякий молодой человек с хорошим интеллектуальным вкусом хочет заниматься реальным делом, а не болтовнёй. Но оказалось, что как раз заниматься реальным делом в социологии невозможно. И на деле молодые социологи сталкиваются не с делом, а с вполне обычной советской ситуацией. За деятельность по мысли и слово-блудию советская власть оперативно платит — явно — карьерой, скрыто — возможностью бездельничать в рабочее время. То, что А.И. Солженицын описывает в "Архипелаге Гулаг" как трудовую манеру зэка — всё это присуще советской ориентации во всяком труде, хотя и не в таком явном виде.

Годы тоталитарного рабства воспитали в советском человеке хроническую неприязнь к труду, и потому бездельник, как и пьяница — хорошие люди как типы советской жизни, хорошие люди, потому что в той степени, в какой человек — бездельник и пьяница — он ускользает от "честной и добросовестной" работы на власть. Однако, неприязнь к труду как вполне понятный психический защитный механизм, возникший в ответ на ситуацию отчуждения труда, имеет и свою оборотную сторону.

Хорошо, что человек плохо работает на тоталитарную власть, но он приучается к паразитизму. Ведь то, что он получает от тоталитарной власти за свой дурной труд, он норовит получить даром. Он норовит обмануть власть, но в той же степени власть обманывает его — тем, что делает его психологически намертво от себя зависимым. Попробуй, найди другого хозяина, который тоже будет платить даром. Тоталитарная власть, таким образом фабрикуя собственных паразитов, **ПЛАТИТ ИМ ДЕНЬГИ ФАКТИЧЕСКИ — ЗА ЗАВИСИМОСТЬ**. Паразиты составляют моральный, а при

случае — и физический резерв советской власти, ведь привыкший к паразитизму навряд ли легко сможет перестроиться на труд. ПАЗАЗИТЫ ПОЭТОМУ ЯВЛЯЮТСЯ ИСТОРИЧЕСКИМ БАЛЛАСТОМ, который своею пассивною тяжестью упрочивает статус кво, затрудняя все социальные преобразования.

Таким образом получается, что сопротивление власти в одном может парадоксально привести к усилению зависимости от неё в другом. И *ЗАВУАЛИРОВАННЫЙ ТРУДОВОЙ САБОТАЖ ИМЕЕТ ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ В УСИЛЕНИИ ЗАВИСИМОСТИ САБОТИРУЮЩЕГО ОТ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ.*

Последней даже выгодно иногда проиграть по шкале эффективности труда, но выиграть по шкале этой внутренней вербовки паразитов, и через это — удержать их при себе.

Прежде чем перейти к детальному описанию повседневных "трудовых подвигов" социологов конкретной лаборатории, опишем некоторые типы социологов, которые бы характеризовали человеческий контингент советской социологии.

Прежде всего представляем тип *АДМИНИСТРАТОРА-КАРЬЕРИСТА*. Эти приходят в социологию, уже доказав советской власти свою лояльность на других поприщах. Представителями этой категории становятся те, кому предлагают перейти в социологию в качестве своеобразных "руководящих агентов" советской власти на малоосвоенной территории. Многие из этих людей уже имели кандидатские диссертации, например, по истории партии или истории СССР (в двух словах делается такая диссертация в "исторических науках" так: берётся какой-либо период истории в какой-нибудь конкретной точке, например в каком-нибудь местечке между городишками Клином и Калининым с 1920 по 1925 гг, — подробно описывается со ссылками на более общие картины этого периода и места, уже где-то данными другими "лояльными" авторами диссертаций, и "прогоняется" по критерию "эксплуатации", "классовой борьбы", "военного коммунизма", "нэпа" или чего-либо подобного, и вот — готова обычная диссертация. Ну, а если к этому добавляется "критический разбор" высказываний какого-нибудь "буржуазного" историка, где-то

помянувшего интересующий диссертанта период и место, то "научная ценность" данной работы сразу же повышается до уровня академического значения). Пришедшие в социологию кандидатами, как предполагается — должны в ней сделать докторские диссертации, что человеку на хорошей должности довольно легко — на его диссертацию будут работать его сотрудники. Если же этакий приписанный к социологии администратор ещё не успел проявить свои способности в "научной деятельности" и приобрести "научный" статус, он вполне может и кандидатскую диссертацию сделать руками своих сотрудников.

Само собою разумеется, что люди, которых мы группируем в описываемый сейчас тип администратора-карьериста, обладают весьма убогой компетентностью в социологии, творческой способностью и общеобразовательной культурой. Это, как правило, люди дремучие, с весьма спутанным мышлением, люди, которых не коснулась мировая культура. Среди них, однако, попадаются люди инициативные, с сильным от природы характером, и очень комично, когда эта инициативность работает на холостом ходу, а сила характера, по-существу, бесплодна, потому что ни к чему неприменима, и очень досадно, когда инициативность эта вместе с силой характера — могут только мешать, как только соприкасаются с чем-либо конкретным в работе.

От людей этих в учреждении исходит колорит армейских представлений о дисциплине: во-время прийти на работу, не опоздав ни на минуту, справно просидеть за рабочим столом всё рабочее время, во-время уйти. Само собою разумеется, что за администраторами-карьеристами — идеологический контроль над сотрудниками. И их не то, чтобы как-то явно боятся, но раскрепощённо себя никто в их присутствии не чувствует.

Перейдём ко второй категории социологов в СССР, которую определим как — *КАРЬЕРИСТ — РОМАНТИК-ЦИНИК*. Это люди, одержимые идеей карьеры — быстрым, спорным путём — в области, где можно легче, чем в других — подняться, поскольку она неразработана и нова, поскольку критерии профессионального качества, уже налаженные в других областях, здесь рыхлы и создают возможность быстрой проходимости вверх.

Карьеристы — романтики-циники — это люди, в основном, молодые, от 20 до 35 лет, в отличие от составляющих предшествующую категорию (которые, как правило — старше 45). Это бойкая, предприимчивая молодёжь, которая, по-сути — эксплуатирует социологию во имя собственных карьеристских упований.

Они хотят находиться как можно выше в структуре социальной иерархии, частично — в силу чисто интеллигентской брезгливости к народной жизни и желания держать "быдло" от себя на социальной дистанции, частично в силу, опять же — чисто интеллигентского раздражения на "тупость" тех, кто ныне пребывает на иерархических верхах. Люди эти считают, что их ум и талантливость (это в большинстве случаев соответствует действительности), даёт им большее право, чем "Брежневу и иже с ним" руководить страной (имеются в виду, конечно, не обязательно правительственные кресла, но многочисленные места практических руководителей).

По своим политическим взглядам люди описываемой категории — почти все либералы позитивистского толка, все они считают благодетельным заимствования у Запада практических достижений и техники управления жизнью. Они особо не афишируют подобных мнений, но в личном общении отнюдь не скрывают своих пристрастий, зная, что определённая западническая ориентация, если её не сочетать с "критикой основ", допустима для людей, *ПРАКТИЧЕСКИ* доказывающих советской власти свою верность.

И пока люди эти не добрались до управленческих рычагов, они готовы на любые маски, сказать всё (и умело добавить от себя), что от них потребуют, и с хладнокровием и методичностью проводить в жизнь любое "хамское" приказание начальства, в процессе же такого "проведения" они могут и кое-что усовершенствовать, и чтобы отличаться, и потому что их ум и талант требуют деятельности. Так что они являются не просто исполнителями приказов власти, а — творческими исполнителями, и при этом они все таки внутренне отчуждены от содержания этих приказов.

Таким образом, получается, что люди, по конкретным внутренним политическим взглядам совершенно чуждые

советской власти, работают, да ещё и не без творчества, на советскую власть. Будучи сторонниками в глубине души преобразований в духе западнической ориентации, они презирают на самом деле советскую власть, и вообще и в лице её конкретных представителей, а с другой стороны и — "серую массу".

Люди эти составлены из опыта страха перед властью и презрения к простым людям, в них отсутствует то, что пропитывает все западные достижения — внутренняя установка в человеке на демократизм, на уважение к другому, на терпимость к чужому мнению. И очень характерно, что этих людей раздражает в советской власти не её бесчеловечность, жестокость, цинизм, но — глупость, тупость, засилие рутины, инертность, необразованность.

Люди подобной ориентации ринулись в социологию, потому что старые пути вверх — через партийную и административную карьеру — слишком долги, и на путях этих слишком много — проверяющих тебя, и соперничающих с тобою глаз. К социологии же привлечено внимание самого высокого начальства непосредственно. И потому даже рядовой социолог-исследователь вполне может мыслить себя референтом самых верхов, и хотя, конечно, и здесь, по законам формирования советской бюрократии из воздуха уже образуется дутый штат: референт на референте, социология пока ещё далека от более "матерых" областей.

И всё же люди этой категории социологов при всём их цинизме являются романтиками-интеллигентами, поскольку делают очень рискованную в тоталитарной стране ставку — на гуманитарную науку.

Теперь опишем третий тип советского социолога, которого назовём — *ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ*. Это, пожалуй, не только самый интересный тип, но и выражающий собою некоторые существенные для характеристики положения вещей в советской стране 70-х годов перипетии, связанные с определением интеллигенцией собственной социально-политической позиции, с выбором ею роли на социально-политической арене.

В хрущёвские 60-е годы многие молодые люди, чьё

естественное стремление и потребность — понимать то, что происходит, и разбираться в жизни, душимое на протяжении всех лет их детства и юности, было всколыхнуто разоблачениями 20-го съезда КПСС, стали искать профессионального самоопределения, которое бы дало им возможность удовлетворять и развивать их жажду познания в отношении мира и жизни. Молодёжь, склонная не к техническим, а к гуманитарным занятиям — те, которые, как правило, тяготеют к философскому осмыслению мира, очень часто теперь выбирают социологию. Это понятно, ведь именно социология гарантирует от всевластия догматической болтологии, от засилия тупых схем марксистско-ленинского понимания мира, которые у любого философски одаренного человека не могут вызывать ничего кроме отталкивания. Такой гарантии не могут обещать ни штудии философских дисциплин, наркотизированных марксизмом-ленинизмом, ни психология, скрученная по рукам и по ногам физиологией высшей нервной деятельности Павловской ориентации и лабораторным "опытничеством", ни литературные занятия, которые ставят на пути творческой способности такое игольное ушко **ОБЩЕСТВЕННОЙ ЦЕНЗУРЫ**, что ради тех зачухших крох, которые могут через неё пролезть, нет смысла предпринимать громоздкое и хлопотное дело пролезания. С 60-х годов социология вербует таких любознательных интеллектуалов.

Можно утверждать, что навряд ли среди этой категории встречаются люди старше 40-45 лет, но она непрерывно пополняется новыми молодыми кадрами. Если бы эти люди не были талантливы, умны, серьёзны и действительно способны к полноценной научной работе, то не стоило бы о них много говорить. Но они на самом деле — могли бы работать в социологии по-настоящему. А это как раз и невозможно, ибо им приходится приспособливаться к той поразительной ситуации между номинальным существованием социологии и фактической невозможностью её свободного существования.

Главное для "любознательных интеллектуалов" — наука, а не карьера, и вообще понимание жизни вместо активного участия в ней.

Некоторым из этих людей повезло — это те, кто начинал

вместе с социологией в 60-х годах. Некоторые из них уже защитили докторские диссертации и возглавляют отделы, некоторые работают старшими научными сотрудниками или начальниками исследовательских групп. Основная же масса любознательных интеллектуалов — в младших научных сотрудниках, в старших лаборантах, и совсем молодые, только что окончившие институты, — так называемые — стажёры-исследователи. Тем, кому повезло и кто не стремясь или почти не стремясь, всё же сделал карьеру в социологии, "дешевили" минимально и подлостей почти не делали, а это для советской среды уже не так плохо.

Люди этой категории социологов попадают в любопытную и по-человечески — довольно драматическую ситуацию. Они, без сомнения, могут профессионально квалифицированно работать, но не могут в своей профессии эту квалификацию использовать. И, приспособляясь к такому положению, они превращаются — в эрудитов-потребителей профессиональных знаний, получаемых ими из западной социологической литературы, в талантливых неудачников, которые, чувствуя, что могли бы внести определённый вклад в науку, понимают, что так ничего и не внесут.

Не имея возможности работать, они, обладая статусом научных работников — имеют доступ к закрытой для "народных масс" литературе. Работать социологам не дают, но читать и думать профессионально им не возбраняется. И работа над информацией — лишь часть научной работы — становится для них заменой всего комплекса научного исследования (то же, что они "проводят", является лишь пародией на истинную социологию и ими самими не рассматривается как научные исследования).

Что и говорить, они приобретают очень высокую степень осведомлённости, но она в условиях СССР — неприложима к жизни. Кое-кто всё-таки сдаётся и решает "подешевить", и пишет, основываясь на своей информированности какую-нибудь очередную "критику" на ту или иную "тенденцию в буржуазной социальной науке", но большинство из описываемой категории всё же не падает так, и, погружённые в свои интеллектуальные экзерсисы, сидят тихо. Это — целый пласт людей без применения, без дела, без жизни.

Здесь мы подходим к очень важному вопросу. Дело в том, что не имея социологической подготовки, вряд ли можно иметь понастоящему квалифицированное мнение о происходящем в социальной жизни. Так вот — может быть — чреватый трагическими последствиями для всей России парадокс состоит в том, что как раз именно те, кто могут иметь такое мнение, кто могут понять, обладая профессиональным мышлением и пользуясь социологическим инструментарием — то, что происходит в советской стране, являются людьми, полностью оторванными от участия в происходящем, людьми, которые никоим образом не влияют на ход событий.

Более того, они подспудным образом становятся связаны со статус кво и с советской властью именно той паразитической зависимостью, о которой мы уже говорили.

Подумаем об отрыве от жизни тех, кто как раз мог бы составить о ней компетентное суждение и, если бы стал влиять на её ход, то в направлении, определяемом не только "благими порывами", но и пониманием реального содержания происходящего. Рассмотрим вплотную *советских "норных" людей с высшей социологической квалификацией.*

Любая критика статус кво становится реальной, только если это научная критика. Но научная критика советского статус кво невозможна, потому что те, кто способен ею заниматься, не расположены к этому. Причины можно выделить две. Одна, более внешняя, в оторванности от советской жизни тех, кто способен быть её носителями, в том, что мир советской жизни вызывает у них отталкивание как "грязный" по сравнению с миром теоретических понятий. Вторая более глубока.

Дело в том, что в СССР в силу отсутствия демократической культуры Запада борьба противоположных сил — советской власти и оппозиции (нелегальной) настолько обострена и принимает крайние формы, что в этих условиях научная критика моментально стала бы видом политической борьбы, участием в диссидентском движении.

На Западе невозможна такая полярность между сферой культуры и сферой политики, *ПОТОМУ ЧТО САМА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БОЛЕЕ ЦИВИЛИЗОВАНА, ЧЕМ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ.* В условиях же такой полярности участие

социолога в жизни страны должно стать или борьбой на стороне советской власти, или таковой на стороне диссидентов. Но учёный в большинстве случаев не борец, а исследователь, это совершенно иная жизненная установка. Правда, на Западе деятельность учёного не полярна деятельности политика. Но в условиях советского тоталитарного режима эта полярность вопиюща. Здесь человек, который по личным склонностям является учёным-исследователем, стихийно ощущает тот факт, что активное участие в жизни означало бы для него некую профессионально-человеческую переориентацию (из учёного в борца), потребовало бы от него изменить себе, выступить в несвойственной ему роли, делать то, что ему не присуще. По этой же причине он в глубине души может быть благодарен советской власти за то, что, зажимая социологии глотку, она тем самым выключает его из участия в политической борьбе.

Получается, что советская власть сама не даёт социологии работать на себя, тем, что тормозит её развитие в силу полуиррационального к ней недоверия, и косвенно, самим фактом своего существования, способствуя поляризации культуры и политики, не даёт возможность социологии работать на свою оппозицию. *Эта ситуация и формирует содержание советской социологии.*

Перейдем к описанию рабочих буден одной типичной социологической лаборатории.* Чтобы соответствовать иерархической логике советского быта, начнём с начальника. Это был человек лет 40 с небольшим, более всего подходящий, пожалуй, под категорию карьериста — романтика-циника. Он был "милейший", "обаятельнейший" человек, который "слова худого не скажет". Но держал всех людей своей мягкостью — намертво. Власть его была укоренена глубоко, базируясь на праве лишить норы. Ему подчинялись ради сохранения права на безделье.

Он грабил подчинённых ему научных сотрудников, заставляя их приписывать его фамилию под их научными статьями. О, что это были за научные труды! Каким языком они

* Речь идет о лаборатории при ГИПРОНИИ АН СССР (Госинститут по проектированию научно-исследовательских институтов).

были написаны! Всё мастерство писания таких трудов состоит в том, чтобы было написано много и просто — ни о чём. То, для выражения чего в обычном разговоре достаточно одной фразы, вырастало в представительную статью или доклад. В этих работах марксистско-ленинская методология (даже не теория) — сама себя жуёт, глотает, отрыгивает, снова пережёвывает. Стоит человеку научиться подобной алхимии, и ему достаточно часа в неделю, чтобы отработать все получаемые им деньги.

Автору этой статьи повезло присутствовать при том, как уже упомянутый начальник лаборатории объяснял молодому сотруднику, ещё не преуспевшему в создании подобных чудес и испытывавшему затруднение с написанием "научного отчёта" ни о чём, — как надо писать. "Нужно делать так, — говорил он, — чик, чик, чик, чик, — и делал движения рукой, будто, он не то срубает сучки с дерева, не то стругает палку, — чик, чик, чик, понимаешь? На страницах всё должно быть чётко, такая должна быть чечётка, братья Гусаковы (это известные советские чечётчники)". Так вот и делается чечёточная советская социология!

Начальник лаборатории, о котором идет речь, прекрасно понимал, что его сотрудникам делать нечего, но надо было соблюдать видимость работы, а следовательно то, что называется "рабочей дисциплиной" (от работы осталась одна "рабочая дисциплина"). Поэтому сотрудники обязательно должны были отсиживать свои часы, приходя на службу ни в коем случае не опаздывая ни на одну минуту и уходя ни в коем случае ни на минуту раньше. И чтобы заставить нас отсиживать, нашему начальнику приходилось делать вид, что он не понимает, что нам делать нечего. А раз так, то от него нужно было скрывать тот очевидный факт, что делать — нечего. Скрывать, и в то же время пользоваться всеми благами подаренного советской властью безделья. И тут-то наши социологи доказывали свою талантливость — придумывалось огромное количество достаточно изошрённых интеллектуальных игр, для которых требовался всего лист бумаги и ручка. "Ходы" делались поочередно, будучи объявляемы вслух, все отмечали в своих листках, и захватывающая игра продолжалась часами. И входящее начальство ничего не могло заметить, даже если бы

захотело. Когда возникала потребность поиграть в шахматы (а в лаборатории все шахматисты-разрядники!), то специально купленные для "нелегальных" турниров, в меру миниатюрные шахматы — расставлялись в ящике письменного стола, ящик широко выдвигался, партнёр хозяина стола располагался сбоку, а на столе лежал материал, якобы — обсуждением которого они и занимаются. И если входило начальство, наши "подпольные" шахматисты моментально закрывали стол, так, будто они только что положили туда карандаш или резинку, и продолжали обсуждение материалов, разложенных на столе.

Где-то часа в три, после уже использованного обеденного перерыва, какой-нибудь из сотрудников обводил всех, начинавших при этом заговорщически переглядываться и улыбаться, долгим, нарочито глубокомысленным взглядом, и начинал нараспев: "Что-то стало холодааать...", и остальные, иногда дуэтом, иногда трио, а в редких случаях особого единодушного вдохновения — хором, завершали начатое: "Не пора ли нам — поддать!!".* Рифма завершалась всеобщей разрядкой хохота, один из сотрудников командировался в ближайший магазин за водкой и закуской, в воздухе воцарялась атмосфера торжественного ожидания. Бутылка водки ставилась в шкаф, там же на обёрточной бумаге нарезалась толстыми ломтями колбаса. И действие начиналось! Сотрудники подходили "причащаться", прячась за огромной открываемой дверью шкафа. Все пили из одного стакана — из чаши солидарности социологов в чуждой и страшной советской жизни, из кубка социологического клана, затерянного среди враждебного советского мира.

В. Зубов, 1975

* Первый из этого хора в подлиннике читал Хейдеггера, второй был поклонником Талкотта Парсонса, а третий писал совсем неплохие стихи.

КУДА ИДЕТ АМЕРИКА?

Отмечая двухсотлетие своей независимости, Соединенные Штаты Америки с понятной гордостью обращаются к своему прошлому. А гордиться есть чем — за такой короткий срок тринадцать бывших британских колоний превратились в величайшую державу, по мощи и богатству превосходящую остальные страны мира.

Отцы-Основатели великой американской республики, воодушевленные идеалами свободы, дали стране либеральную конституцию с четким разделением властей на исполнительную, законодательную и судебную. Конституция обеспечивала также свободу экономической деятельности. И в этом один из секретов такого необычайно быстрого развития США. Но одной хозяйственной свободой нельзя объяснить превращение США в величайшую державу мира. Частная инициатива не могла бы развернуться так широко, если бы не было совершенно исключительно счастливых обстоятельств, способствовавших росту страны: ее большие, почти незаселенные пространства, огромные природные богатства, хороший климат, способствовавший развитию земледелия. И еще весьма важное обстоятельство — обеспеченность государственных границ. С запада и востока Штаты надежно прикрыты водными пространствами Тихого и Атлантического океанов, на севере родственная Канада, на юге слабая и неопасная Мексика. И в то время, когда Европа раздиралась конфликтами и войнами, США крепили и развивались без содержания дорого стоящих больших — армии и флота. Средства, обращенные на мирное развитие страны, быстро оборачивавшиеся, умножались из года в год

небывало высокими темпами, и на пороге 20-го века могучая экономика вывела США в ранг великих держав.

Уже в колониальном периоде с большой силой проявился дух частного предпринимательства. Тем более стало развиваться частное предпринимательство в условиях независимого существования. Богатства страны, обстановка свободы, труд материально заинтересованного самостоятельного населения, постоянный приток новых иммигрантов из Европы с их энергией и стремлением устроить свою жизнь, все это вместе взятое благоприятствовало стремительному росту США.

Адам Смит и экономика США

Двести лет назад, в марте 1776 года, выдающийся теоретик политической экономии, шотландец Адам Смит опубликовал свой труд "Исследование о природе и причинах богатства народов". Этот плод изучения современной Смицу экономики воздавал хвалу свободному хозяйственному хозяйству и вкратце выражался в двух словах *Laissez-faire*.

По мысли А. Смита, "невидимая рука" регулирует деятельность рынков и принимает решения автоматически и лучше, чем любое правительственное учреждение. Свободная конкуренция и взаимоотношение спроса и предложения, по его убеждению, составляют двигательную силу экономических процессов, а "невидимая рука" регулирует цены на товары и уровень производства.

По времени учение Смита совпало с промышленной революцией, начавшейся в Англии конца 18-го века. Идеи Смита пришлись по душе и зарождавшейся в США промышленности. Под сенью этих идей десятки лет развития Америки протекали с великой пользой. Пройдя первоначальный период накопления капиталов, с жестокой эксплуатацией неорганизованного труда, страна вступила в период, когда крупные предприятия, обладавшие большей способностью конкуренции, стали мало по малу душить предприятия мелкие. Перелом наметился во время гражданской войны 1861 — 1865 г.г., когда военные нужды произвели революцию в народном хозяйстве. На сцену вышли могучие "капитаны промышленности". Война ускорила темпы

строительства железных дорог, открыла путь многим изобретениям и усовершенствованиям, создала благоприятные условия для роста городов, дала работу множеству иммигрантов, прибывавших в США.

Тресты и монополии

Америка до А. Линкольна была страной преимущественно аграрной, мелкое предпринимательство было наиболее распространенной формой хозяйства. Вскоре после смерти А. Линкольна, "капитаны промышленности" повели страну по новому пути. Начался процесс концентрации производственных и финансовых ресурсов. Сильные мелкие предприятия превратились в крупные, поглотив часть слабых предприятий или начисто вытеснив с рынка часть остальных. Тресты и акционерные общества стали наиболее видными в экономике США. Густая сеть железных дорог способствовала развитию страны, богатой железом, углем и нефтью, и одновременно открывала все большие возможности к дальнейшей концентрации капиталов. Появились такие промышленные гиганты, как созданная Эндрю Карнеги "Юнайтед Стейтс Стил Корпорейшн", поглотившая большинство из существовавших тогда шестисот мелких предприятий черной металлургии.

Тресты объединяли множество отдельных компаний, подчиняли оставшиеся централизованному управлению и начали влиять на политику федерального и штатных правительств.

Экономическая мощь трестов обернулась уменьшением конкуренции, появилась тенденция к фиксированию цен на товары. Еще больше возросла эта тенденция с зарождением монополий. Первой такой монополией была созданная Джоном Рокфеллером компания "Стандарт Ойл". Воспользовавшись самоубийственной конкуренцией мелких нефтепромышленников Пенсильвании, Рокфеллер скупил их предприятия и объединил их в одну компанию. Десять лет его деятельности по захвату нефтяных предприятий привели к полной монополии над добычей и распределением нефти. Обдренный успехами, Джон Рокфеллер заявил: "Будущее за крупными предприятиями. Эпоха индивидуализма кончилась и никогда не вернется".

В те же восьмидесятые годы 19-го века возникли монополии по производству хлопкового масла, виски, свинца, сахарный трест, спичечный трест и другие. Процесс концентрации происходил так же в области связи и транспорта. Образовались такие монополии, как "Вестерн Электрик", "Бэлл Телефон Систем". Железнодорожный предприниматель Вандербилт добился слияния мелких железнодорожных компаний в крупную систему "Нью-Йорк Централ". Тем же в других местах были заняты Гарриман, Хилл, банкиры Морган и Белмонт.

Появление монополий и трестов дало их владельцам большую власть над деньгами многих миллионов людей. Крупный капитал превратился в силу, навязывающую свою волю правительству. По мнению Э. Карнеги, это было "торжеством демократии".

Антитрестовское законодательство

Итак, "невидимая рука" А. Смита уже в восьмидесятих годах прошлого столетия превратилась в видимую руку магнатов промышленности, управляющих ценообразованием по своему произволу. Их деятельность вызвала беспокойство в стране, раздались требования ограничить свободу деятельности корпораций. Федеральное и штатные правительства были вынуждены принимать меры к упорядочению хозяйственной жизни. Наиболее важной мерой было принятие закона Шермана в 1890 году, направленного против трестов. Но осуществление мер по раздроблению трестов натолкнулось на жестокое сопротивление со стороны возглавления трестов. Последнее находило защиту в судах, под знаком свободы частного предпринимательства отстаивавших интересы монополистов.

Обстановка вынудила президента Теодора Рузвельта к борьбе с трестами. Правительство добилось раздробления Трансмиссисипской железнодорожной компании, управляемой Морганом, Гарриманом и Хиллом, оно одержало победу над компанией "Стандарт Ойл", над мясным и табачными трестами. Но по существу это были пирровы победы. После разделения монополии нашли способы сохранения общности интересов, продолжая сговариваться о координации деятельности и

политике цен. К концу президентства Т. Рузвельта тресты стали сильнее, чем при его вступлении в должность.

Недостаточно действенный закон Шермана был подкреплён принятыми в 1914 году законом Клейтона и законом о Федеральной торговой комиссии. В 1950 году был принят закон против слияния корпораций. Все эти законы должны были охранять систему свободного рынка, принося благо не только бизнесменам, но и всем потребителям.

Но процесс сосредоточения капиталов продолжается и в наши дни. С течением времени тресты превратились в конгломераты, охватывающие всевозможные виды промышленности. И не видно пока никаких сил, которые могли бы остановить этот процесс.

В 1974 году экономическое положение как будто создавало условия для более благоприятного антитрестовского климата. Были возбуждены дела против крупнейших корпораций: "Америкэн Телефон энд Телеграф Компани" была обвинена в монополизации оборудования телесвязи и обслуживания; принадлежащая "Интернэшнел Телеграф энд Телефон Компани" хлебопекарная фирма "Вондер Брэд" была обвинена в попытке монополизировать оптовую торговлю хлебом; четыре крупнейшие нефтяные компании — Эксон, Амоко, Стандарт Ойл (Калифорния) и Стандарт Ойл (Охайо) — обвинены в сговоре о ценах на шины через принадлежащую им компанию Атлас; 21 издательская фирма обвинена в сговоре о ценах на книги.

Но уже в ноябре 1975 г. заготовленный в Юридическом комитете Палаты Представителей законопроект был положен под сукно. И понятно почему — законопроект предусматривал трехкратное возмещение суммы, нелегально навязанной группе потребителей, обчисленных, скажем, на молоке или хлебе. Сторонники законопроекта объяснили провал законопроекта сопротивлением со стороны организации "Круглый стол бизнеса", представляющей интересы 160 крупнейших корпораций. Если бы этот проект обрел силу закона, то он в немалой мере усилил бы действие закона Клейтона.

Итак, в свете практики бизнеса и антитрестовского законодательства выяснилось, насколько устарело представление Адама Смита о "невидимой руке". Движимые жадной наживы,

предприниматели производят товаров значительно больше, чем их в действительности нужно потребителям. Избыток товаров обычно ведет к периодическим кризисам производства и росту безработицы, ставшей в США хроническим явлением. И как знамение времени, производственные кризисы не ведут к снижению цен на товары, как это бывало в условиях мелкого предпринимательства. Наоборот, пользуясь своими командными высотами, корпорации неуклонно повышают цены на товары в открыто принудительном порядке, тем самым усиливая инфляцию, тоже ставшую хроническим явлением в жизни США.

Следует отметить, что А. Смит был противником каких-либо монополий, ему в его время не был известен порочный цикл бума и экономического спада. Его *Laissez-faire* устарело, но за него держатся корпорации и ортодоксальные экономисты, консерваторы экономического либерализма.

Кейнсианство

Экономический кризис 1929 — 1933 года воочию показал несостоятельность *laissez-faire*. Последовавшая за ним депрессия не могла быть преодолена только силами свободного предпринимательства. На сцену вышло государство. В период "Нового курса" президента Франклина Рузвельта были приняты меры для преодоления депрессии и упорядочения экономики. В этом деле большую роль сыграла учрежденная Рузвельтом Финансовая корпорация по реконструкции. И впервые в США были приняты законы о социальном страховании.

В этот тяжелый период экономисты свободного мира изучали проблемы, поставленные на повестку дня глубоким кризисом. В 1936 году английский экономист Джон Мейнард Кейнс опубликовал книгу "Общая теория занятости, процента и денег". Эта книга внесла некоторые поправки к взглядам А. Смита. В противоположность Смигу, Кейнс рекомендовал государственное вмешательство в дела экономики с тем, чтобы повысить занятость и уменьшить безработицу путем стимулирования экономики и повышения потребления. Стимулирование за счет государственного бюджета дало кое-какие положительные

результаты. Но излечить болезни крупного частного предпринимательства по рецептам Кейнса государство не смогло.

Появление различных государственных организаций, наблюдающих за деятельностью частных предприятий, было подсказано жизнью. Но любое вмешательство правительства в дела бизнеса вело к трениям. Для преоделения правительственного влияния частное предпринимательство образовало множество лобби, преуспевающих в деле отмены мер, ограничивающих бесконтрольность бизнеса.

Жадность бизнеса отнюдь не уменьшилась а, наоборот, увеличилась. Его стремление к производству максимально возможного количества товаров привело к тому, что были построены производственные мощности, значительно превосходящие потребности страны в товарах. Так, в январе и феврале 1976 г., по данным компании Мак-Гроу-Хилл, несмотря на некоторое оживление экономики, производством товаров было занято 73,5% мощностей. Казалось бы излишек мощностей мог бы быть использован для сбыта на зарубежных рынках. Но американские товары дороги, им трудно конкурировать с товарами таких стран как Западная Германия и Япония. В течение многих послевоенных лет торговый баланс США сводился с крупным дефицитом. В конечном счете, администрация Никсона, после заметного уменьшения запасов золота, накопленного в годы Второй мировой войны, провела дважды девальвацию доллара, в декабре 1971 г. и в феврале 1973 г. В результате была разрушена налаженная в 1944 г. в Домбартон Окс денежная система свободного мира, покоившаяся на долларе как расчетной единице.

Инфляция и ее факторы

Инфляция — болезненное явление, указывающее на неполадки в государстве. В наши дни, отмеченные отказом от золотого обеспечения валюты, инфляция становится подлинным бичом экономики. Государство из года в год тратит больше денег, чем получает их в виде налогов с населения. В результате неудержно увеличивается дефицит государственного бюджета, покрываемый в США путем поднятия потолка государственного

долга. Обычно, по очередному предложению президента, законодательные учреждения, без долгих обсуждений и с легким сердцем, одобряют увеличение долга, тем самым идя по пути наименьшего сопротивления. Так, фискальный 1974 — 1975 год был сведен с дефицитом в 43,6 миллиарда долларов. Дефицит был покрыт новым выпуском обесценивавшихся бумажек. 1975 — 1976 год был запланирован с дефицитом в 68,5 миллиарда долларов. Законодатели ответили на это в феврале этого года новым повышением потолка долга до 627 миллиардов долл.

Вторым и самым важным фактором инфляции следует считать большой бизнес. Произвольно повышая цены даже в условиях переполнения рынка товарами, бизнес подрывает покупательную способность доллара, но при том за счет потребителя успевает снять сливки с этого повышения. Бизнес повинен и в значительной доле дефицита в государственном бюджете, ибо корпорации и многие частные лица уклоняются от полновесной уплаты налогов. Многие миллионеры либо совсем не платят налогов, либо уплачивают только часть. Корпорации представляют заниженные сведения о своих доходах, тем снижая поступления в бюджет. Даже по категории налога на дивиденды и на проценты с вкладов в банки государство теряет от 10 до 12 миллиардов долларов в год. Все это свидетельствует об отсутствии настоящей финансовой дисциплины и контроля над организациями и частными лицами с большими доходами. Вероятно, у государства не было бы дефицита, если бы были закрыты лазейки для уклоняющихся от налогов. Попытки же закрыть эти лазейки путем налоговой реформы всячески пресекаются заинтересованными кругами бизнеса. Характерно также, что в редкие годы без дефицита инфляция продолжалась, цены повышались по воле бизнеса.

Третьим и тоже важным фактором инфляции нужно считать мощные профсоюзы. В экономическую жизнь страны они вносят свою долю хаоса, предъявляя преувеличенные требования при заключении очередных контрактов с работодателями. Как и большой бизнес, профсоюзы представляют собой могучие монополии, тем более страшные, что в любой момент они могут парализовать экономическую деятельность великой страны. Забастовка насчитывающего 2 миллиона членов союза

транспортных рабочих в мае 1976 г. поставила страну в безвыходное положение. При полном воздержании государства, работодатели согласились на прибавку зарплаток в размере 30 процентов в течение трех лет. Такая прибавка явно инфляционного характера. Но президент Форд, при вступлении своем в должность объявивший инфляцию врагом номер один, не вымолвил ни слова протеста.

Как пассивный фактор, потребители тоже вносят свою долю в инфляцию. Откликаясь на призывы торговых предприятий, навязывающих покупки в кредит, население тратит деньги в большей мере, чем это предоставляют ему его реальные доходы. По данным Артур Андерсон и Ко., на руках американцев имеется около 250 миллионов кредитных карточек, по которым ежегодно проводится свыше 5 миллиардов транзакций. По сведениям б. сотрудника "Волл Стрит Джорнел" Р. Воллена, задолженность обладателей кредитных карточек составляет 200 миллиардов долларов.

Система кредита вводит в соблазн приобретать вещи, без которых они могли бы обойтись. За кредит же приходится платить высокий процент, часто до 18% годовых. В результате нередки случаи, когда нерасчетливо кредитующийся потребитель попадает в категорию банкротов. Так, 1975 год был рекордным по числу индивидуальных банкротств: около 245 тысяч американцев не смогли уплатить долги на общую сумму в 1 миллиард долларов.

Иногда бывают наказаны и фирмы, предоставляющие кредит. Так, недавно объявила себя банкротом гигантская розничная фирма В.Т. Гранта, имевшая в стране 1.100 магазинов. Одной из важных причин банкротства была неуплата долгов несостоятельными владельцами кредитных карточек.

Рост мощи нефтяников

Еще не так давно стальной бизнес задавал тон всей экономике, возвещая об очередном повышении цен на сталь. Каждое такое повышение вызывало рост цен на все продукты и товары, при непременно участии профсоюзов, требовавших повышения зарплаток для своих членов. Президенты

Эйзенхауер и Кеннеди оказывали сопротивление стальным магнатам. Но уже их наследники по отношению к бизнесу стали уступчивее.

В семидесятые годы на первое по влиянию место вышли нефтяные компании США, ведущие свои дела не только в пределах страны, но и везде, где пахнет нефтью. Крупнейшая из них Эксон, потомок основанной Джоном Рокфеллером первой нефтяной монополии, подвергшейся действию антitrustовского законодательства. Эксон и ее сестры Мобил, Тексако, Голф, Стандарт Ойл, Бритиш Петролеум и британско-голландская Шелл составляют могучую нефтяную семерку, доминирующую в мире над добычей, переработкой и продажей нефти.

Будучи мультинациональными, эти компании сообщают действуют на мировых рынках, устанавливая цены на нефть. Их монополитическая практика в конечном счете привела к образованию картеля стран-экспортеров нефти — по образу и подобию американских монополий. Когда пять стран третьего мира — Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и Венесуэла — объединились в 1960 году для защиты своих интересов, никто не предполагал, что к 1974 году, путем присоединения к ней Алжира, Эквадора, Габона, Индонезии, Ливии, Нигерии, Катара и Объединенных арабских эмиратов, эта организация превратится в могущественнейший картель, контролирующий примерно 85% экспорта сырой нефти. Свою мощь картель проявил осенью 1973 года в связи с последней арабо-израильской войной. Сперва арабы наложили эмбарго на вывоз нефти в США и Европу. Затем все вместе подняли цены в четыре раза, вызвав энергетический кризис, особенно острый в Европе.

Могучая семерка соучаствовала в арабском эмбарго. Как писал в 1973 г. в "Харпер'с Магазин" Кристофер Рэнд, б. сотрудник компании Стандарт Ойл (Калифорния), семерка создавала иллюзию энергетического кризиса. В своем стремлении к максимальным барышам, она распространяла сведения о скором истощении нефтяных запасов. При ее участии 20 нефтяных корпораций США получили сверх-прибыли — в два раза больше автомобильных компаний Детройта и в десять раз больше сталелитейных компаний. По сравнению с 1972 годом, прибыли нефтяников в 1973 году возросли почти на 60%. По

данным Волл Стрит, барыши Голф выросли на 74,78%, Гетти — на 63,1%, Эксон — на 59,3%, Мобил — на 46,8%. В ответ на требования обложить налогом сверх-прибыли нефтяники ответили, что их прибыли отнюдь не чрезмерны.

Федеральное правительство, в лице президента Никсона и его сотрудников не принимая мер противодействия, фактически соучаствовало в топливном кризисе конца 1973 и начала 1974 годов. Об этом убедительно повествует отпечатанный в правительственной типографии в Вашингтоне пространный документ "Исследование о надзоре и действенности исполнительных органов по отношению к нефтяной промышленности в связи с недавним недостатком горючего".

Подобно Никсону, президент Форд, убежденный консерватор экономического либерализма, не предпринимает никаких мер к обузданию произвола нефтяников. Объявленная им в начале 1975 г. программа ВИН, основанная на добровольном ограничении потребления горючего, никакого практического значения не имела. Но она была выгодна для нефтяников: сокращения потребления не произошло, и в текущем году потребление топлива значительно выше, чем в 1973 году.

Одно время в правительственных кругах говорили о принятии мер по изысканию новых источников энергии с тем, чтобы сделать США независимыми от картеля. План, предложенный главой Федеральной комиссии по энергетике Джоном Соухиллом, был отвергнут Фордом, а сам Соухилл был немедленно смещен со своего поста.

В настоящее время Эксон, вместе с другими компаниями, строит нефтепровод на Аляске, длиной в 800 миль, от нефтяных залежей в Прудо Бэй. Компании платят бешеные деньги строителям нефтепровода — даже неквалифицированный рабочий получает после вычетов тысячу долларов в неделю, плюс бесплатные жилище и стол. Во сколько же обойдется американцам новая отечественная нефть при условии, что компании несомненно поторопятся с возвратом вложенных в дело капиталов? И даже эта нефть не гарантирует независимости США от картеля стран-экспортеров. Вопреки интересам страны, крупнейшие компании не расширяют свою деятельность в

пределах США и предпочитают импортировать дорогую нефть из стран картеля.

В статье "Большая нефть, большие барыши", опубликованной в "Вашингтон Пост" 21 июля 1975 г., Джек Андерсон пишет: "Международный нефтяной картель не смог бы достичь большего, если бы президент Эксона был президентом США. Пользуясь любезностью Джералда Форда, нефтяники повидимому твердо направляют энергетическую политику США".

Но нефтяники заняты не только нефтью. Они также доминируют в газовой и угольной промышленности, вырабатывают энергию на атомных электростанциях и причастны к геотермальной энергии.

Со времени арабского эмбарго нефтяники добивались от президента Форда и Конгресса отмены контроля цен на отечественную нефть. Их давлению уступил Конгресс, одоббивший решение Форда отменить с 1 июля текущего года контроль над ценами на горючее.

Мощь нефтяников вызывает в стране большое беспокойство. Раздавались даже голоса о национализации нефтяной промышленности. Конечно, до этого дело не дойдет. Но все же 1 апреля 1976 г. Сенатский комитет по делам трестов и монополий, большинством четырех против трех, принял законопроект о раздроблении крупнейших нефтяных компаний.

Конечно, нефтяники окажут энергичное сопротивление любым попыткам раздробления. Учитывая прошлое, можно предвидеть, что и раздробление не приведет к желательным результатам. И будучи раздробленными, компании будут сговариваться о главном — о ценах на свою продукцию.

Сельское хозяйство

Еще сравнительно недавно земледелие США было представлено множеством мелких полеводческих и скотоводческих хозяйств. Но и тут, вместе с ростом механизации производственных процессов, преимущество оказалось за более мощными хозяйствами. Подобно промышленности, американское сельское хозяйство пошло по пути концентрации производства и сосредоточения земель в руках все меньшего и

меньшего числа крупных фермеров. Современное сельское хозяйство США приобрело промышленный характер, его фермы можно назвать фабриками зерна и мяса с высокой товарной продукцией. Возникшие во второй половине 19-го века организации фермеров теперь похожи на корпорации. И их деятельность направлена также к монополизации продовольственного рынка. В наши дни связанная с сельским хозяйством пищевая промышленность стала крупнейшим бизнесом страны. В 1974 году потребители затратили свыше 133 миллиардов на свое пропитание. Эта цифра объясняет, почему многие крупные корпорации заинтересовались сельским хозяйством. В результате их деятельности, в течение шестидесятих годов в среднем еженедельно ликвидировалось около двух тысяч мелких ферм.

Концентрация в пищевой промышленности теперь такова, что четыре фирмы контролируют продажу 90% зерновых продуктов для завтраков, 65% сахара, 80% консервированных продуктов, 56% разделанных мясных продуктов и т.п.

Наряду с нефтяниками, пищевая промышленность стала крупным фактором инфляции. Осознав свою силу, объединения фермеров и торговцы зерном проявляют тенденцию к полному освобождению от правительственного контроля. В этом отношении они встречают поддержку со стороны министра земледелия Эрла Бутца, открыто высказывающегося за невмешательство правительства в дела сельского хозяйства.

Оборона страны

Перед лицом воинствующего коммунизма, стремящегося к всемирному господству, США вынуждены держать наготове крупные вооруженные силы. В бюджете страны военные расходы составляют внушительную статью, достигая 100 миллиардов долларов. И с каждым годом растет стоимость вооружения. Так, самолет-истребитель, стоивший в 1943 г. в среднем 99.400 долларов, обходится в 1975 г. в 10.900.000 долларов. Новые подводные лодки типа "Трайидент" оцениваются около 1.3 миллиарда каждая. Много денег уходит на уплату жалованья военнослужащим. Так, недавно журнал "Юнайтед Стейтс Ньюс энд Ворлд Рипорт" привел таблицу, из которой явствует, что

генерал-майор получает в год свыше 56 тысяч плюс различные льготы, полковник — 48 тысяч и льготы, рядовой — 8 тысяч в год на всем готовом. Генералов в трехмиллионной армии больше, чем во время Второй мировой войны, когда под знаменами было свыше 12 миллионов человек. Жалованье военных больше, чем у гражданских служащих: даже конгрессмен, получающий 44 тысячи основного содержания, уступает полковнику.

Корпорации весьма заинтересованы в крупных заказах военного ведомства. Каждая из них имеет своего собственного отставного генерала, служившего в Пентагоне и знающего наилучшие способы получения заказов. Таким образом, бизнес проник в священное дело обороны страны, хотя на первом месте у него именно материальная заинтересованность, а не патриотизм и не то, насколько хорошо и дешево будет изготовлено вооружение. О дешевизне речи нет. Алчность бизнеса намного удорожает вооружение страны, тем внося заметный вклад в инфляцию. В 1975 году крупнейшим подрядчиком была авиационная компания Локхид, в 1973 году из-за бесхозяйственности и расточительности на дивиденды оказавшаяся на грани банкротства, и для спасения которой президент Никсон добился от Конгресса ассигнования в 250 млн. долларов. Ее доля заказов в 1975 году выразилась в сумме 2.080.303.000 долларов.

Нынче у Пентагона появилась неожиданная забота: Американская Федерация государственных служащих, входящая в возглавляемую Дж. Мини Федерацию профсоюзов, в июне 1975 г. выступила с предложением организовать профсоюз солдат, матросов и младшего летного персонала. Хотя генералы резко отклонили это предложение, тем не менее юридические эксперты Пентагона признают, что, в соответствии с первой поправкой к конституции, военно-служащие имеют право на организацию профсоюзов.

Сенатор Джон Пауер сказал, что последствия организации таких профсоюзов будут ужасающи: "Представьте себе армию, солдаты которой отказываются выполнять приказания офицеров до того, как приказания будут санкционированы стюардом или одобрены собранием профсоюза. Представьте себе армию, не готовую выполнять свои задачи потому, что профсоюз ставит

препоны трудным условиям службы, таким, как ночной поход, выполнение служебных обязанностей в дни вик-эндов и обучение действиям в трудных физических условиях”.

Солдатские профсоюзы, к сожалению, уже есть в армиях Зап. Германии, Швеции, Бельгии и Голландии. Деятельность профсоюзов в голландской армии привела к резкому снижению дисциплины.

Солдатские профсоюзы, по сути дела, прообраз советов солдатских депутатов, при помощи которых была разложена русская армия и Россия ввержена в пучину ”великого октября”.

Будем надеяться, что США избегнут своего приказа № 1 и не пойдут по гибельному пути такой ”демократизации” вооруженных сил. Все же яд юнионизма уже проник в сферу Пентагона. Его гражданские служащие составляют добрую половину Американской Федерации гражданских служащих. Лидеры этого профсоюза заявляют, что их интересуют только ”хлеб и масло”. Но кто поручится, что вслед за экономическими требованиями не появятся политические? Даже если этого не произойдет, то одни экономические требования неизбежно поведут к дальнейшему удорожанию обороны США.

Роль потребителей

Потребители составляют основную массу населения. Поэтому экономические советники президента Форда, возглавляемые А. Гринспеном, в своем докладе от 4 февраля 1975 г., заявили: ”Потребители держат ключ к выздоровлению экономики”. Снижая налоги населения в качестве меры для преодоления экономического застоя, администрация до некоторой степени стимулировала экономику, большую, увы, не по вине потребителей, плохо и недостаточно организованных перед лицом бизнеса, профсоюзов и государства.

Интересы потребителей с некоторого времени ”представляют” советники по этим делам при президенте, назначаемые президентом же. На практике эти ”защитники” ничего полезного для потребителей не сделали. И вполне естественно скептическое отношение потребителей к таким советникам, как состоящая при президенте Форде Вирджиния Ноуер.

Учитывая недовольство потребителей, президент Форд отдал распоряжение о предоставлении потребителям голоса в делах правительства. Но, как пишет А. Скотт в "Вашингтон Пост" от 7 марта 1976 г., на 17 собраний, устроенных администрацией, представители потребителей не явились. Причина — большой разрыв между пожеланиями потребительских групп и предложениями администрации Форда. "Планы администрации по представительству абсолютно бесполезны", — так заявила Кароль Формен от имени Американской Федерации потребителей, объединяющей 108 местных групп. Эти планы исключают участие потребителей, не обеспечивают их интересы и оставляют все в руках президентского советника.

В течение пяти лет организации потребителей боролись за создание независимого Агентства по защите интересов потребителей. Недавно был выработан текст законопроекта в двух версиях Сената и Палаты Представителей. Но президент Форд заявил, что он наложит вето на этот законопроект.

Позиция Форда объяснима: большой бизнес категорически против независимого голоса потребителей. 12 июня 1974 г. в роскошном Авиационном клубе в Вашингтоне собрался на секретное заседание специальный комитет бизнесменов, представлявших такие компании как Армор, Бетлехем Стил, Эксон, Файрстон, Шелл Ойл, Сан Ойл, Юнайтед Эйрлайнс, Торговую Палату, Национальную Ассоциацию мануфактур и другие, для выработки мер противодействия организациям потребителей. И возведенное президентом Фордом вето есть по существу вето большого бизнеса.

Бизнес и детант

Будучи мультинациональными, корпорации стараются кроить внешнюю политику США сообразно своим интересам. При этом часто нарушаются высшие государственные интересы США. Особенно ярко это проявляется в деятельности нефтяников. В книге британского журналиста "Семь сестер. Большие нефтяные компании и созданный ими мир" приводится много фактов, указывающих на решающее влияние нефтяников. Если верить этой книге, одна компания нарушала нейтралитет США,

поставляя свои продукты Испании во время гражданской войны и даже Гитлеру в начале Второй мировой войны. А другая соблюдала договоры с немецкой И.Г. Фарбен, посылая ей свои секреты и подавляя исследовательскую работу в США по изобретению синтетического каучука, столь важного во время войны.

Русские антикоммунисты одобрительно отнеслись к отправке американских войск для защиты Южного Вьетнама от коммунистической агрессии. Такое решение отвечало доктрине Трумена, рассматривавшей появление каждого нового коммунистического государства как угрозу безопасности США. Но за вступление в войну стоял большой бизнес, интересовавшийся новыми источниками наживы. Как пишет Саул Фридмен в приложении к "Вашингтон Пост" от 7 декабря 1975 г., Волтер Геллер, бывший глава президентской группы экономических советников, создал себе имя, убедив Кеннеди, а затем Джонсона, в необходимости "разогреть" экономику расходами на войну в Вьетнаме.

О том, что эта война велась вопреки разумным политическим и часто военным соображениям, говорить не приходится. Тем военным, которые стремились к быстрым и энергичным наступательным действиям, Вашингтон говорил "нет". А т. н. "активная оборона" ни в коей степени не могла положительно решить судьбу Ю. Вьетнама. Зато длительная "активная оборона" долго питала заказами предприятия, выпускавшие военную продукцию, и приносила соответствующим корпорациям большие доходы. Война во Вьетнаме, кончившаяся разгромом войск Ю. Вьетнама и политическим поражением США, нанесла чувствительный удар по престижу США — к радости коммунистического мира и печали антикоммунистов. Согласно оценкам Пентагона и Си-Ай-Эй, начиная с 1965 г. до крушения Ю. Вьетнама, США израсходовали на войну 140 миллиардов долларов — против 4,22 миллиарда, вложенных в эту войну Советским Союзом и красным Китаем.

Длительные поиски выхода из Вьетнама увенчались знаменитым детантом. И президенту Никсону понадобилось побывать в Москве и Пекине для достижения, по его словам, "почетного мира".

После Вьетнама у большого бизнеса начались поиски новых рынков. И взоры обратились к врагу, к СССР, обладателю больших запасов нефти и газа. Рисовались перспективы импорта советского газа в сгущенном состоянии. Рисовались перспективы и для других отраслей бизнеса. Начиная с конца 1971 года, без особого шума, в Москву потянулись "паломники", представители многочисленных фирм США. Побывали в Москве некоторые сенаторы, депутаты Палаты Представителей. Летал в Москву и министр торговли в администрации Никсона Морис Стэнс, о котором в Вашингтоне шутя говорили, что он и Царство Небесное представляет себе не иначе, как непрерывное заседание совета предпринимателей. Государственный секретарь Генри Киссинджер, до занятия этого поста ярый противник коммунизма, стал горячим сторонником детанта как "единственной альтернативы атомной войне".

Несмотря на протесты части американского общественного мнения, детант продолжается и имеет дальнейшие шансы на развитие. До детанта в Москве были представлены только две американские фирмы — Оксидентел Петролеум, глава которой Арманд Хаммер в молодости дружил с Лениным, и Пепси-Кола, возглавляемая Доналдом Кендаллом, другом президента Никсона.

Как председатель Экстраординарного комитета американской торговли, Кендалл ратовал за предоставление СССР статуса наиболее благоприятствуемой державы. В сентябре 1973 г., незадолго до голосования в Финансовом комитете Палаты по этому вопросу, Кендалл обратился к 64 крупнейшим корпорациям Америки с телеграммой, призывая их поддержать президента Никсона и Генри Киссинджера. Благодаря деятельности сенатора Генри Джаксона и конгрессменов Миллса и Ваника, выступивших в защиту прав человека в СССР, предложение администрации Никсона было отклонено американскими законодателями. Но деловые отношения американских фирм с советами от этого не пострадали. Больше 20 фирм имеют свои постоянные конторы в Москве. Среди них очень интересная для отсталой советской технологии компьютерная монополия Ай-Би-Эм, фирма Мак, принимающая участие в строительстве огромного завода грузовиков в

Набережных Челнах, издательская фирма МакГроу-Хилл и другие. О солидности советско-американской торговли говорит и тот факт, что в Москве открылись отделения крупнейших банков США — Сити-банка Нью-Йорка и рокфеллеровского Чейз Манхаттан, по иронии судьбы помещающегося в доме № 1 на проспекте Маркса.

В Москве работает, с благословения президента Форда и генсека ЦК КПСС Брежнева, Американско-советский торгово-экономический совет, оказывающий помощь приезжающим в СССР бизнесменам. В прошлом году в Москве побывало около 800 бизнесменов. Повидимому, основанное на детанте сотрудничество СССР и бизнеса США затеяно "всерьез и надолго".

Большое место в советско-американской торговле занимает продажа зерна Советскому Союзу. Колхозно-совхозная система не в состоянии обеспечить нужды СССР в хлебе и других продуктах. Ей на выручку пришли капиталисты, продавшие в 1972 году большие партии зерна на основе проповедуемой Бутчем неограниченной свободы торговли. В результате крупных сделок, спекулятивно были подняты цены на продукты в США. В дальнейшем СССР согласился регулярно закупать большие партии зерна в США.

Конечно, никто не пожелает населению СССР умирать с голода, и доставка продовольствия отвечает гуманным взглядам. Но тут мы присутствуем при парадоксе — продажа американского зерна поддерживает советское "коллективное хозяйство" и тем самым укрепляет коммунистический режим в его "ахиллесовой пяте".

Америка на распутье

Концентрация экономической мощи в руках промышленных корпораций, монопольные профсоюзы, охватывающие теперь значительное число государственных, штатных и городских служащих, государство, чересчур учитывающее интересы большого бизнеса и пасующее перед профсоюзами, многомиллионная неорганизованная масса потребителей — такова картина сегодняшней Америки.

Антитрестовские законы не спасают Америку от чрезмерной

мощи монополий. При настоящем положении вещей эти законы всего лишь паллиатив, не дающий ощутительных результатов. Нужны какие-то радикальные меры, которые создали бы предпосылки к гармонии частных и общественных интересов.

Либеральная конституция, данная стране отцами-основателями республики, не могла предвидеть нарождения мощных и своевольных *special interests*. Но дух ее силен в стране, и ее положения о разделении властей и их уравнивающих взаимоотношениях могут быть положены в основу новых социально-экономических реформ.

В последнее время громче слышен голос организаций, защищающих интересы потребителей. Организованные потребители могли бы стать силой, уравнивающей бизнес и профсоюзы. Но до этого еще очень далеко. Пока что можно говорить о зачатках такой организации, дающей знать о себе правительству США. Так, организация Ралфа Надера предлагает "конституционизировать" 700 крупнейших корпораций, имеющих валовый доход 250 и больше миллионов в год. Конгресс должен принять закон о федеральной регистрации корпораций, который установил бы действенный контроль государства над деятельностью последних. Произвол корпораций должен быть введен в берега. Их влияние на общество, мелкое предпринимательство, рабочих и потребителей — вредно. Взяткам, подкупу должностных лиц, произвольному установлению цен и всяким злоупотреблениям должно положить предел. Сами корпорации должны быть демократизированы путем предоставления акционерам полноты прав, узурпированных руководителями корпораций.

Свои предложения Надер довел до сведения Сенатского комитета по делам торговли и сообщил о них возможным кандидатам в президенты США. В кругах законодателей его предложения были встречены сдержанно. Сенатор Фред Гаррис одобрил всю программу Надера, сенатор Генри Джексон высказался за регистрацию нефтяной промышленности.

15 декабря 1975 г. Алвин Тоффлер, автор книги "Шок в будущем", выступая перед сенатским комитетом по загрязнению окружающей среды, заявил, что будущее Америки расточается правительством, не умеющим планировать и не имеющим

никаких далеко идущих планов на будущее. В результате, будущее растаскивается корпорациями. По его словам, "отказ от рассмотрения текущего экономического и политического кризиса, в свете ближайших 25 — 50 лет, обойдется нам бесчисленными миллиардами долларов из-за упущения экономических и социальных возможностей и поведет нас по пути такой технологической и военной политики, которая угрожает жизни всей планеты. Для избежания кровопролития мы должны в ближайшие десятилетия выработать стратегию дальнего прицела и создать совершенно новые формы планирования, вовлекающего в себя не только горсть экспертов-технократов, но и миллионы рядовых граждан. Мы должны стать предвидящей демократией. Предвидящая демократия — единственный возможный вид демократии во времена быстро совершающихся социальных, технологических и политических перемен. Отказ от предвидения приведет Америку к трагедии".

Каким путем пойдет Америка, мы не знаем. Но в знаменательный год ее двухсотлетней независимости мы можем пожелать ей устроить жизнь так, чтобы не были страшны козни мирового коммунизма, чтобы ее социальная структура, елико возможно, стремилась к гармонии интересов частных и общественных во имя ее великого будущего.

Б. Прянишников

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

А. Н. АНЦЫФЕРОВ КАК ЭКОНОМИСТ

Алексей Николаевич Анцыферов (1867-1943) был не только видным ученым до революции 1917 года, но и очень влиятельным членом русского академического мира в эмиграции. Печать русского зарубежья недостаточно отметила его кончину, так как он скончался в разгар второй мировой войны, в Париже. Лица, мало знавшие профессора Анцыферова, считали его суровым бюрократом: своей наружностью и манерами он крайне походил на дореволюционного русского инспектора гимназии. Пишущий эти строки, будучи его учеником в качестве магистранта и его сотрудником в Русском Институте Права и Экономики при Парижском Университете, хорошо знал его сердечную отзывчивость и постоянную заботу о распространении науки в русском Зарубежье. Поэтому русским эмигрантам следует оказать должное внимание покойному А. Н. Анцыферову, который был выдающимся педагогом, духовным руководителем нескольких молодых ученых русского Зарубежья, известным кооператором, статистиком и экономистом. Он был также многолетним и фактически бессменным председателем Русской Академической Группы в Париже. Насколько его авторитет и знания ценились даже иностранцами, можно заключить хотя бы из того факта, что он был постоянным представителем русских зарубежных организаций в Международном Комитете, созданном для сближения ученых всех стран, а Парижская Академия Наук удостоила его своей премией в тяжелый для Франции 1942-й год.

Сама судьба, как бы, предредила, что А. Н. Анцыферов станет видным работником на ниве просвещения, ибо он родился

и вырос в педагогической среде. Его отец преподавал математику в мужской гимназии в Воронеже, а его мать, происходившая из помещичьей среды, была помощницей начальницы женской гимназии. В 1890 году Анцыферов окончил курс на юридическом факультете Московского Университета, где был ближайшим учеником известного экономиста А. И. Чупрова, вызвавшего в нем большой интерес к сельскохозяйственной кооперации и статистике. В 1899 году А. Н. Анцыферов окончательно решил посвятить себя научной деятельности и уже в звании Почетного Мирового Судьи отправился в Германию работать в семинаре известного экономиста Конрада в Галле.

В 1901 году он издал в Москве на русском языке книжку Конрада о положении аграрных пошлин в предстоящем русско-германском торговом договоре. В следующем году появился его первый печатный самостоятельный труд об аренде крестьянских душевых наделов в России. В 1903 году А. Н. Анцыферов стал приват-доцентом и начал свою долгую преподавательскую деятельность в Харьковском Университете. В тому же году он выпустил в Харькове книгу о мелком кредите в России и вскоре после этого был командирован Университетом на несколько лет за границу, чтобы изучить в Германии и во Франции сельскохозяйственное кооперативное движение под руководством таких светил европейской науки как Конрад, Brentano, фон-Майер, Жид и т.д. Во время этой командировки А. Н. Анцыферов снова близко сотрудничал с А. И. Чупровым, собиравшим в то время за границей материал по кооперации. По возвращении в Харьков Анцыферов защитил в 1907 году свою магистерскую диссертацию на тему "Кооперация в сельском хозяйстве Германии и Франции", которая впоследствии была дважды переиздана. Ее третье издание вышло в 1919 году.

В 1907 году Анцыферов преподавал статистику в Харьковском Университете и политическую экономию в Харьковском Технологическом Институте. В 1908 году он совместно с известным экономистом В. В. Железновым (1869-1933) выработал на первом русском кооперативном съезде в Москве устав Московского Народного Банка, возникшего по его инициативе. В 1910 году появились в Харькове два новых труда

А. Н. Анцыферова: "Курс статистики" и "Динамика населения", которые впоследствии удостоились многократного переиздания. Последнее издание курса статистики вышло в эмиграции в 1929 году (всего было 5 изданий) и было популярно как учебник в русском зарубежье.

Между 1909 и 1912 годами профессор Анцыферов участвовал в трех международных конгрессах кооператоров в Баден-Бадене и статистиков в Вене. Главным результатом этой деятельности был его труд под заглавием "Очерки по кооперации", изданный на русском языке в 1912 году (третье издание вышло в 1918 году).

Накануне первой мировой войны Анцыферов участвовал в занятиях Международного Института Земледелия в Риме и по возвращении в Россию использовал материал, собранный тогда в Италии, для написания диссертации на тему "Центральные Банки Кооперативного Кредита", которая в мае 1917 года была защищена им на степень русского доктора и была дважды издана Московским Университетом имени Шанявского (последнее издание в 1919 году). В период войны А. Н. Анцыферов временно преподавал в Москве в Высшем Коммерческом Институте и в Народном Университете политическую экономию и статистику. Революция застала его в Харькове на посту профессора статистики и кооперации в Университете и в Коммерческом Институте. Одновременно он был председателем Харьковской Общественной Библиотеки. В 1918 г. Анцыферов издал в Харькове книгу под названием "Кооперативный кредит и Кооперативные Банки", которая вышла во втором издании в 1922 году в Праге.

В начале 1920 г. профессор Анцыферов эвакуировался в Лондон, а оттуда в Париж. В эмиграции он сделал большой вклад в русскую зарубежную академическую жизнь, если принять во внимание, что Анцыферов был активным председателем Русской Академической Группы в Париже, был одним из создателей и руководителей Русского Института Права и Экономики при Парижском Университете, одним из инициаторов создания Международного Института по изучению социальных движений и одним из создателей Русского Института Сельско-Хозяйственной Кооперации в Праге и Риме.

Когда пишущий эти строки защищал свою диссертацию на

соискание ученой степени русского магистра политической экономии и статистики в 1937 году в Русском Институте Права и Экономики при Парижском Университете, испытательная комиссия возглавлялась А. Н. Анцыферовым. В период эмиграции профессор Анцыферов издал несколько трудов и не только на русском языке. Особого внимания заслуживает его книга на английском языке — "Влияние войны на кооперативный кредит и сельскохозяйственную кооперацию в России", которая была издана в 1929 г. Обществом имени Карнеги в пользу международного мира. Хочу еще отметить, что профессор Анцыферов был женат на русской учительнице музыки и, обладая хорошим басом, любил участвовать в русском православном хоровом пении.

*Борис С. Ижболдин, заслуженный профессор
экономики Сейнт-Луисского университета*

МОНАХ-ИКОНОПИСЕЦ Г. И. КРУГ

На письменном столе покойного Леонида Федоровича Зурова я нашла папку с записями, посвященными умершему в июне 1969 г. отцу Григорию (в миру Г.И. Круг). Видимо, Леонид Федорович собирался написать о нем очерк. Записи эти я теперь привела в порядок.

Отец Григорий известен во Франции, как исключительно талантливый иконописец. Его работы — иконы, фрески, несколько иконостасов — украшают многие церкви во Франции. Есть его иконы и в России, в США, в Англии.

Милица Грин

Я познакомился с Додиком Кругом в Ревеле в 1935 году у Иртелей. Это было весной, во время белых ночей. Он только что вернулся из Изборска и привез с собой зарисовки.

Был он высок, худ, строен, с лицом подвижника. При беседе улыбался, нервно и быстро схватывал все, тонко чувствовал людей и природу. Хотя был деликатен в споре и даже как бы мягок, но отстаивал свою точку зрения с горячей убежденностью и силой. Говорил он быстро, скороговоркой, как-то его уносило в беседу. Было в нем что-то стремительное.

Мы с ним как-то сразу подружились. Он очаровал меня своей живостью, остроумием, свободой высказанных мыслей. Он уговорил меня отправиться к нему ночевать, посмотреть его работы.

Я помню этот вечер белой ночью. Старый Ревель был преобразен луной и казался не только сказочным, но и зачарованным. Потом мы отправились к морю, побывали в гавани, где,

освещенные зарею, желтели пакгаузы, напоминая Петроград. Море было залито светом, вода сияла. А на барже матрос играл на гармонике старинный вальс.

Потом весь вечер я смотрел его работы. Меня уже тогда поразила легкость его рисунка, внутренняя одухотворенность. Он любил старый Ревель, но то не был старый город, а его окраины — заводы, покосившиеся заборы, старые дома. Здесь он как бы нашел то, что так полюбил в голодные годы в Петрограде.

Мы долго беседовали, лежа — свет белой ночи не давал нам уснуть. А на другой день мы Додика провожали, он уезжал в Париж, а я ехал в Печеры, где должен был реставрировать древний храм Николы Ратного в Псково-Печерском монастыре. И мне так было печально, он ведь мог работать в Печерах, где так много чудесных мест. И в Изборске, изумительном, с его старинными церквями, погостом Малы. А он от всего этого бежал в Париж к художникам. Я не знал тогда, что это было для него, Додика Круга, а потом инок Григория, прощание с русской землей, ибо он в Эстонию уже не вернулся.

*

Родился он в 1907 году, в конце декабря. Дед был протестантом, даже по-русски не говорил, приехал в Россию из Швеции. Занимался он выпиливанием из дерева. Отец тоже был протестант, а мать из старой русской семьи, из города Муром. Она была хорошей пианисткой, окончила Петербургскую консерваторию. Любил искусство и отец, мечтал, что сын станет художником. К 8-ми годам мальчик начал болеть. Несколько раз было у него крупозное воспаление легких, потом открылся туберкулез. После болезни стал уходить в себя.

Учился он в гимназии Мая в Петрограде. Потом, когда после октябрьской революции трудно стало добираться с Крестовского острова до центра, пришлось поступить в местную советскую школу. Что происходило в Петрограде — его не пугало, он почувствовал тогда Россию, полюбил окраины города. Писал стихи.

В 1921 году семья уехала в Эстонию. Он поступил в

Нарвскую гимназию, дружил там с будущим поэтом Евг. Клевеном, для гимназического журнала делал много рисунков. Писал он тогда акварелью, потом акварель оставил. Писал стихи. Когда окончил гимназию, поступил в Школу прикладного искусства в Ревеле и стал заниматься графикой, писать маслом, резать по дереву. Работал только в школе, а дома занимался музыкой, по своему особенному методу сам ставил себе руку. Играл по 8 часов в день и сделал поразительные успехи. Его выступление на концерте в Ревеле, где он играл Баха, вызвало сенсацию, а берлинские корреспонденты писали, что появился новый талант.

Он тогда буквально жил музыкой, но уехав в Юрьев, ее бросил. Там в Академии Художеств писал портреты и пейзажи маслом. О Г. Круге стали говорить, его работы покупали — одна была приобретена ревельским музеем.

В феврале 1931 года он уехал в Париж. Мать и сестра поехали с ним. Тут он посещал Русскую Академию, познакомился с художниками — Успенским, Шухаевым, Миллиотти, Сомовым, Гончаровой. Почувствовал тягу к религиозному искусству, стал брать уроки у иконописца Федорова и несколько месяцев у него работал. Дружил с художницей Рейтлингер, начавшей заниматься иконописью. Это была дружба по любви к иконам — они ни в чем не были схожи, были даже противоположны друг другу. С нею он ездил по музеям, посещал Лувр.

В 1935 году, когда я с ним познакомился, он навещал отца в Эстонии, привозил изумительные иллюстрации к гоголевскому "Носу", надеясь найти издателя. Какое-то веселое, легкое уродство было в этих рисунках.

По возвращении из Эстонии в Париж я часто с Додиком встречался у художников. Бывал у него. Он работал по ночам, а днем спал. В комнате был большой беспорядок. Он избегать начал в то время известных людей и как бы опростился. Бунинна он боялся, а когда Татьяна Сергеевна Конюс, младшая дочь С. В. Рахманинова, хотела, чтобы он пришел к ней в гости, он со мною дошел до ее дома, потом у подъезда, смущенный, убежал. Он любил бедных, несчастных. Все готов был отдать нищим, был с ними как равный.

В Париже он познакомился с богословами — Влад. Лосским, Евг. Ковалевским. Чуть не ежедневно они где-то

встречались, жили возбужденно, в горячей атмосфере, обсуждали, изучали церковные вопросы. Вот в таком мире, возбужденном интеллектуально, он тогда жил. А по ночам писал. Мать сетовала, но не могла ничего поделывать. Он рисовал, потом уничтожал. В это время, перед войной, он жил с предельной остротой.

Он говорил, что современное искусство зашло в тупик, что выхода больше нет, работать не стоит — и это при одаренности исключительной, тонкости чрезмерной. Утверждал, что только в религиозной живописи — спасение.

Но подлинное творчество его началось только после войны и пережитой им тяжелой болезни. В 1948 году он постригся в монахи и получил имя Григория, в честь святого Григория, иконописца Печерского. И в монашестве он остался настоящим художником и очень горячо, даже страстно, защищал всегда свою точку зрения в спорах.

Иконопись захватила его всецело. Он изучал фрески, итальянское искусство, иконы. Главное в жизни для него были теперь иконопись и церковные службы (за литургией он всегда причащался). В иконописи он, наконец, нашел себя, в иконах глубоко богословски мыслил.

В жизни он был аскетом, не обращал внимания на то, как обут, одет, где спит, было бы лишь чем прикрыться от холода. На заработок от икон он содержал скит, где жил последние годы. Там началась его настоящая работа.

Он не знал, как грунтовать стену. В скиту его научил старый каменщик-итальянец, которому он рассказал, что хочет иконы писать в церкви, а во Франции никто уже не умеет по-древнему стену грунтовать, старый метод, который был известен в Италии, никому неизвестен, забыт. И вот каменщик сказал, что его покойный отец передал ему это умение. А был каменщик простой, но прекрасно загрунтовал церковную стену в скиту. Он научил отца Григория, как нужно готовить известковый раствор. А наложив известь, надо было сразу писать по-сырому. Но отец Григорий с этим не считался — сначала писал фреску по сырой стене, а потом дописывал, когда она уже подсохла. Бывает — фреска потом бледнеет, а он добивался большей крепости. Как он говорил: "Это на века". И всегда было у него

чувство, что недостаточно сделал. Говорил, что ничего не сделал — несколько только икон написал. А икон им написано много, ведь иконы-то не подписаны. Мечтал, что когда-нибудь ему удастся расписать фресками церковь, говорил мне, что не может равнодушно видеть белые церковные стены.

Это была не проста работа по послушанию, то было творчество свыше. Копировать, писать по заказу он не умел. Он был иконописец вдохновенный. Отрываться от работы он не любил. — Я не могу бросить, я все испорчу, — говаривал он.

У него было такое творческое горение при иконописании, что он, больной, просто сгорал от этого, и вся жизненная энергия уходила в работу, а в результате наступало физическое и психическое опустошение. А не творить он не мог.

Его пригласили католики в Рим. Он был на приеме у Папы, осматривал Вечный город, привез с собой зарисовки.

Когда-то он любил время от времени навещать своих друзей, живущих в разных концах Парижа, но потом передвигаться ему стало трудно. Вел уединенную жизнь в скиту, а в Париж ездил только по большим праздникам.

Началась болезнь ног — полиневрит, врачи говорили, у него артрит. Нервы были больны и сосуды. Ходил он с трудом, но продолжал иконы писать полу-лежа на постели в своей келье. С ногами стало легче, но тут врачи обнаружили, что у него диабет. Плохо стало с артериями, был удар. В больнице нашли, что у него грудная жаба, и инфаркт уже был.

По ночам он работал. Слушал, что передается по радио, слушал музыку. Особенно любил Бетховена и Баха, любил русскую музыку, писал иконы. При свете свечи писал, а зрение очень стало славать.

Раз сказал мне:

— Ах, как мне хочется умереть.

Но потом, через несколько дней, добавил:

— Я понял, что это грех — отказываться от жизни.

В комнате его в скиту стало мало света, разрослись деревья. Позвали каменщика, чтобы пробить в новой стене окно. Но было уже поздно.

Множество книг у него было, большая библиотека по истории искусства, по иконографии, зодчеству. Он был отзывчив

на искусство, широк и очень терпим. У других видел только положительное, дружески хвалил, поощрял. Перед тем, как писать икону, что-то читал, рассматривал, изучал, сравнивал, а потом брал доску и делал набросок. Быстро, быстро набрасывал краски и казалось — все готово. Но потом он долго работал над иконой, что-то добавлял, с разных сторон всматривался в оттенки, цвета. Даже иконы, давно написанные, начинал иногда просветлять, изменять.

Он мог бы стать богословом или ученым специалистом по иконописи. Он знал древнее искусство Греции и Италии, фрески Средневековья. Но его религиозным служением стало иконописание. Он не мог писать по образцам. В его иконах, строго каноничных, все проникнуто духовностью, все вдохновенно, углубленно, прозрачно. Они внутренне просветленные, музыкальные и замечательные по краскам. Светоносно, трепетно, радостно служил он Богу своей иконописью. Была у него истинная преданность церкви, любил он церковное пение. Особенно же он чтит Св. Женевьеву и молился ей.

Он горел любовью к России. Все интересовало его, что происходит там. Хорошо знал не только русское искусство, но и русскую историю. Он считал, что у русского искусства свои древние пути, видел в русском реализме особую теплоту и задушевность. Не сочувствовал беспредметному искусству, всегда защищал творческий реализм русских живописцев, любил передвижников, находил, что путь русского искусства — это путь реалистических преобразений.

В четверг утром 12 июня я в последний раз говорил с ним по телефону. Он умер безболезненно, непостыдно и мирно, как мы молимся, и необыкновенное было у него лицо. Он такой сияющий лежал.

Л. Зуров

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ГОРЬКИЙ О ЛЕНИНЕ И РЕВОЛЮЦИИ

(Неизданный документ 1922 года*)

Майор Пешков только что имел длительные беседы со своим приёмным отцом, писателем Горьким, находящимся в настоящее время в Германии.

Горький говорит, что положение в России гораздо хуже, чем это себе представляют в Европе, и что оно ухудшается с каждым днём, несмотря на все старания большевиков уверить в обратном. По его мнению, положение дел обескураживающее и обезнадёживающее. Дезорганизация и разложение царят во всех областях, политической, социальной и

От редакции. Мы перепечатаваем из № 118 "Вестника Христ. Движения" этот исключительно ценный и впервые опубликованный документ, которому, как мы думаем, надо дать возможно широкое распространение. Во-первых, он устанавливает, что отрицательное отношение М. Горького к большевизму не изменилось с его выездом за границу в 1922 году. Во-вторых, документ этот современен в том смысле, что еще раз подтверждает, что "напрасно думать, что большевики изменятся" и еще раз указывает на то, что единственная цель большевиков — "зажечь мировую революцию". Как указывает "Вестник", документ этот — рапорт майора ("commandant") Зиновия Пешкова министру иностранных дел г. де Перетти. Зиновий Пешков (племянник известного большевика Свердлова) был усыновлен М. Горьким, но он пошел не по революционной дороге, а по военной. Зиновий Пешков поступил добровольцем во французскую армию, в которой в сражениях потерял руку, он занимал видные посты и скончался в чине генерала. *РЕД.*

* Рапорт представленный министру иностранных дел г. де Перетти 6-го января 1922 г. Переведено с французского.

экономической. Некоторые боятся, что если падёт большевистское правительство, наступит анархия. Но может ли быть большая анархия, чем та, что сейчас в России?

Правители стараются удержать свои позиции только благодаря нескольким преданным им частям армии и нескольким бронепоездам, разъезжающим по главным железным дорогам. Вне этого они не управляют.

Деревня фактически не зависима от города, крестьяне самоуправляются, как могут, местными сходками, всюду устанавливая уездные и районные цехи, чтобы обеспечить первейшие нужды.

Правительство не способно организовать что бы то ни было. Все их планы, все их намерения, о которых они громко оповещают мир, — пустые призраки без всякой реальности; обнародованная ими статистика не имеет никакой цены.

Даже если они получают ту финансовую и экономическую помощь, которую они просят у Европы, они не будут способны её использовать; все те капиталовложения, которые сделают иностранцы, чтобы восстановить Россию, должны быть рассматриваемы как заранее потерянные, пока у власти большевики.

Ленин провёл всю свою жизнь за границей; своей страны он не знает, и Горький неоднократно это ему говорил. Но Россия сама по себе совершенно безразлична вождю коммунизма. Он говорит, что она в его руках головня, чтобы поджечь буржуазный мир. Горький ему ответил: "Это головня из сырого дерева, способная лишь начадить и удушить тех, кто её зажжет".

Напрасно думать, что большевики могут измениться; они всё сделают, чтобы получить поддержку, но это будет всего лишь маскировка: намерения их останутся теми же — зажечь мировую революцию.

Так, поговаривают о том, чтобы упразднить ЧК, но одновременно подготавливают новую тайную ЧК с Литвиновым и Ганецким во главе.**

За исключением кучки воинствующих коммунистов, большевики не

** Литвинов (Валлах) Макс. Макс., старый большевик, ленинец, после Октября был полпредом в Англии, наркоминделом, послом в США. При Сталине один из немногих не расстрелянных старых большевиков, умер в 1951 году. Ганецкий (Фюрстенберг) Яков, старый большевик, ленинец, посредник в получении Лениным денег через Парвуса от немецкого ген. штаба. После Ленина — наркомвнешторг, расстрелян Сталиным в 1937 году. РЕД.

имеют в стране сторонников. К сожалению, население пассивно, подавлено и переносит покорно нищету, насилие и грабёж. Замечается довольно-таки потрясающий возврат к религиозным обрядам; но, по мнению Горького, следует в этом видеть признак отчаяния и скорее склонность к предрассудкам, чем к религии настоящей: ошибочно думать, что это может иметь какие-нибудь политические последствия.

Горький ограничивается тем, что рисует безнадёжную картину состояния России; он не предлагает никакого плана действия. Он ждет падения большевизма от судьбы, а возрождения страны от её природной силы.

Горький покинул Россию окончательно, продав всё свое имущество.

Полное его неведение об истинном положении дел в Европе и ошибки в суждениях о нем — красноречиво свидетельствуют об успехах систематической лжи, практикуемой советским режимом.

Горький считает, что продажность и взяточничество созданы и поддерживаются режимом. Они повсеместны, ими пронизаны все органы, заражено население.

На русский народ Горький смотрит крайне пессимистично.

БИБЛИОГРАФИЯ

И. А. БУНИН "ПОД СЕРПОМ И МОЛОТОМ". Издательство "Заря". Лондон. Онтарио. Канада. 1975.

Выход в свет книги "Под серпом и молотом" И. А. Бунина, изданной профессором С. П. Крыжицким, ценен и в литературном и в политическом отношении. Многие рассказы Бунина в СССР не печатаются, другие искажаются, а тем более не печатаются его взгляды на большевицкую власть в Советской России. Собрать рассказы, которые там искажены или не напечатаны — большая заслуга Крыжицкого. Кстати, Крыжицкий — автор прекрасной книги о Бунине на английском языке.

В отчетной книге Крыжицкий сравнил подлинные тексты Бунина с советскими искажёнными и всюду выделил особым шрифтом подлинные тексты, не печатающиеся в СССР. По этим сравнениям можно судить о характере советской цензуры.

Эту книгу можно было бы назвать — "За Бунина и против советской власти". В этом отношении особенно ценно включение в сборник речи Бунина, произнесённой в Париже 16 февраля 1924 года: "Миссия русской эмиграции". Каждое слово бунинской речи, будь она произнесена сегодня, звучало бы столь же современно, как это было в 1924 году. Бунин употребляет сильные выражения, но в его фразах они не звучат бранными словами. Каждый, кто ненавидит советский режим, прочтя речь Бунина получит нравственное удовлетворение. Бунин говорит о страшных событиях, непрерывной цепью совершавшихся в Советской России и даёт им объяснение, приводя слова Ключевского: "Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампы над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата Его Лавры". Революцию и последовавшее за ней время Бунин назвал "окаянными днями". Касаясь столь

жгучего вопроса: Советская Россия и литература о ней, не хочется пропустить мысли, высказанные в ином лагере русской, тоже зарубежной, литературы. Так, например, Владимир Максимов, бывший недавно советским писателем, сказал "мы дети тех, кто делал революцию"¹, и дальше — "Каждый из нас представляет трудовые (подчёркнуто Максимовым) слои своих стран: рабочих, крестьян, передовую интеллигенцию"². Максимова явно не по пути с Буниным и с теми, кто бежал из Советской России как Бунин.

Отчетная книга открывается короткими записями-воспоминаниями Бунина. Крыжицкий пишет — "они высоко художественны". А Роман Гуль писал, что "Грасский дневник" Бунина может быть — самое лучшее в его творчестве. Этюды эти объединены заглавием "Из записей неизвестного". В них много лирики, много беспощадной печали, некоторые из них похожи на стихотворения в прозе. Жаль, что советский читатель не сможет прочесть многих из них, пока окаянные дни не окончатся.

Далее идут три рассказа Бунина объединенные общей темой: так ли мерзка была французская революция как наша, и ответ его вполне утвердительный, французская революция была вполне мерзкой. Андрэ Шенье погиб как и наши поэты: Гумилёв, Мандельштам, почти погиб Пастернак ("загнали как зверя") и по тем же причинам. "Казни шли непрерывно, изо дня в день... его казнили только в первых числах"... О ком это? В Петрограде о Гумилёве, или в Париже о Шенье? "Эти скоты были одарены каким-то животным инстинктом", — пишет Бунин о революционерах, — "Они угадали, что в руках у них благородное и гордое сердце, хорошая добыча для эшафота", а у нас пуль (так быстрее, то есть "производительнее")".

Следующие два рассказа: "Красный генерал" и "Товарищ Дозорный". В первом — обедневший и опустившийся землевладелец, — "бывший" (как раз такой, какой для советской литературы нужен, и рассказ там напечатан). "Бывший" сделался советским генералом. Рассказ "Товарищ Дозорный" в СССР не печатался: неприглядно показан чекист

1. "Нов. Русское Слово", 9 марта 1976 г.

2. "Нов. Русское Слово", 21 мая 1976 г.

по фамилии Дозорный, из полуграмотных "идейных", получивших власть.

Два рассказа "Ильюшка" и "Русь" — в Советской России не напечатаны, а рассказ "Сокол" удостоился советского цензурного разрешения потому, должно быть, что иллюстрирует теорию Вл. Ульянова "Грабь награбленное". Баба — "Она у меня сокол!" — сказал Иван, натаскала полную избу награбленного из усадьбы добра, включая граммофонную трубу.

"Автобиографические заметки", составляющие 38 страниц, напечатаны в Советской России в более чем урезанном виде, только 10 с половиной страниц прошли там сквозь цензуру. В этих заметках, как и в следующих за ними "Воспоминаниях", Бунин развенчивает советских литературных генералов, особенно Максима Горького. Бунин берёт под сомнение даже происхождение Максима Горького: повидимому, он вышел из зажиточного волжского купечества, а совсем не тот молодец, за которого выдаёт себя в "автобиографической" повести "Мои университеты". Развенчивает Бунин и других писателей, в частности, — Александра Блока, приводя из его записей, напечатанных в Сов. России, план "Пьесы из жизни Иисуса". Из этого плана только слова: "Нагорная проповедь: митинг", и "Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу". Давняя вражда Бунина к Блоку известна. С сожалением и без одобрения читаются три строки И. А. Бунина о покойной М.И. Цветаевой; её поэзию он назвал "Ливнем диких слов и звуков в стихах".

Последнюю треть книги занимают очерки Бунина о писателях, взятые из изданной в 1950 году книги "Воспоминания", ставшей теперь библиографической редкостью. Часть "Воспоминаний" в России не напечатана, особенно большие купюры сделаны в очерке Бунина об А. Н. Толстом, которого Бунин называет "Третий Толстой" и характеристика которого резка и беспощадна, хотя по всей видимости и верна.

В книге даны также шесть стихотворений. Из них последнее — "День памяти Петра" — ответ Бунина на переименование Петрограда на его теперешнее карикатурное название. Последней помещена речь Бунина — "Миссия русской эмиграции", о которой мы уже упоминали.

Б. Бровцын

VALENTIN BOSS. NEWTON AND RUSSIA: THE EARLY INFLUENCE 1698-1796. Harvard university Press, Cambridge, Mass. 1972.

На английском языке есть мало трудов, посвященных истории науки в России и ее влиянию на развитие идей. Время от времени появляется статья или книга (например: A.S. Vucinich, Science in Russian Culture: A History to 1860; Stanford University Press, 1963). Еще реже появляются работы с подробным разбором данной темы. Это именно то, что сделал Босс в своей книге, которая явилась результатом большой исследовательской работы. Эта книга — первая из двух, запланированных им, книг о Ньюtone и России.

Книга богата содержанием, и не все в ней рассчитано на рядового читателя, но это не недостаток книги. Из нее можно почерпнуть много ценной информации. В ней обсуждается роль Якова Брюса в распространении трудов Ньютона в России. Это было результатом поездки Петра Великого в Европу, поездки, которая состоялась через десять лет после опубликования "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" ("Математические начала натуральной философии"). В ней также говорится об основании Академии Наук, которая выросла из тайного общества Нептуна. Председателем этого общества был Лефорт, его собрания посещались Петром Великим и Брюсом.

Книга обсуждает дискуссию в Академии о принятии теории Ньютона. Эта дискуссия особенно интересна, т.к. Академия под влиянием Ломоносова и Эйлера придерживалась вначале взглядов Лейбница и Декарта и до пятидесятих годов восемнадцатого столетия воздерживалась от принятия теории Ньютона, несмотря на то, что последняя была подтверждена экспериментально. Еще в 1757 году Ломоносов пытался задержать это признание. Причины, по которым он это делал, очень интересны и имели глубокое научное значение. Но теория Ньютона была уже принята русским обществом в результате популяризации, проводившейся независимо от Академии Наук.

Все же надо быть очень осторожным с утверждением, что Россия в то время была полностью "tabula rasa" в научном смысле. Некоторые научные термины и понятия были известны до Ломоносова. Одним из примеров является "тяготение". Влияние Ньютона в России было заметно еще до его смерти в 1727 г.

Книга Босса — ценный вклад в область истории науки в России, что

до сих пор оставалось в пренебрежении. Сорок семь иллюстраций и хорошие библиография и алфавитный указатель повышают научную ценность этой книги.

Н. Лупинин

PAVEL TIGRID. POLITICKA EMIGRACE V ATOMOVEM VEKU. Index, Koln, 1974, (137)

П. ТИГРИД. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В АТОМНОМ ВЕКЕ

Павел Тигрид, редактор чехословацкого журнала "Сведецтви" ("Свидетельство"), выходящего в Париже, — представитель эмиграции 1948 года (это его вторая эмиграция, первая была во время гитлеровской оккупации). В своей книге Тигрид проделал анализ причин, приведших к возникновению двух волн чехословацкой эмиграции — 1948-го и 1968-69 годов. Книга Тигрида не ограничивает проблематику чехословацкой политической эмиграции лишь ее внутренней жизнью, связями с родиной и отношением к тому, что там происходит. Она включает эту проблематику в широкий контекст того, что происходит во всем мире. Отсюда и название, отражающее содержание и выводы книги. Тема ее — общая тема всей политической эмиграции из стран советского блока в век атомной бомбы, когда война уже не может казаться желаемым выходом из положения.

Выводы автора в отношении будущего не пессимистичны. Тигрид обращает внимание на то, что в атомном веке эмиграция стоит перед совершенно новым положением, но зато перед ней открываются и новые возможности. Политика эмиграции, говорит Тигрид, "будет развиваться в направлении от частного к общему, от задач первоначально "национально-освободительных" к задачам обще-политического характера, задачам гуманным и социальным. То, что было идеалом апостолов "одного мира", становится сейчас условием сохранения жизни вообще. Из этого вытекает взаимосвязь — прямая или косвенная, непосредственная или перспективная — почти между всем, что происходит в одной части мира, с тем, что происходит в другой".

Книга состоит из четырех глав: 1. От Ялты до Венгерской революции, или между желаемым и возможным. 2. Возникновение и структура чехословацкой послефевральской эмиграции. 3. Социализм с

человеческим лицом — после поражения. 4. Политические перспективы.

Каждая из глав представляет собой тематическое целое и отражает хронологию событий, в результате которых возникла эмиграция и которые формировали ее политическое мышление. В первой главе "От Ялты до Венгерской революции, или между желаемым и возможным" Тигрид уделяет внимание этической стороне понятия "политическая эмиграция", так как геперь изгнание — тоже является результатом свободного решения. "Человек выбрал эмиграцию, потому что дома не мог жить, как хотел. Как явление общественное эмиграция и изгнание — это нравственный протест, бунт, жест — против несправедливости, жестокости власти, отсутствия свободы, против тирании и нищеты... поэтому эмиграция требует прежде всего этических критериев", пишет Тигрид. И продолжает: "... но государственная и политическая практика тех стран, с которыми эмиграция связала свою судьбу, часто не соответствует нравственным принципам". Автор анализирует результаты ялтинской конференции и приводит разные, противоречивые оценки её результатов западными историками и представителями восточно-европейской эмиграции, подчеркивая, что проигранный бой за демократию в Центральной Европе в 1945-1948 гг. оказал влияние на развитие холодной войны. Тигрид описывает разделение послевоенного мира на блоки и уделяет особое внимание "тотальной импотенции т.н. политики освобождения, которая в своей полной наготе проявилась осенью 1956 года". Той политики, которую сформулировали Айзенхауэр и Даллес, говорившие, что поработанные народы будут освобождены. Принципы этой политики уже в 1947 году выдвинул Барнхэм, рекомендовавший оказывать постоянное давление на страны коммунистического блока в военной, внешне-политической и экономической областях с тем, чтобы независимость Восточной и Центральной Европы была восстановлена. Тигрид, подробно изучивший американскую внешнюю политику в этой области, приводит также "реальную политическую позицию" Джорджа Кеннана, автора политики, принимающей во внимание наличие двух блоков (policy of containment). Эта политика Кеннана была сформулирована в 1947 году, в его бытность директором отдела планирования политики в Госдепартаменте. Тигрид приводит его предупреждение эмигрантам от 1956 года, когда Кеннан писал: "К добру или не к добру, но существует определенная завершенность в том, что (после войны) произошло в

странах Восточной Европы; и я думаю, что мы не поможем эмигрантам, питая их надеждой, что когда-нибудь они смогут вернуться домой...". Далее Кеннан утверждает, что развитие идет в направлении большей независимости этих оккупированных стран, большей роли общественного мнения в них, причем это развитие будет более быстрым, "если мы не будем требовать от стран Восточной Европы каким-либо образом затрагивать военные интересы СССР или *под давлением извне* проводить идеологию, противоречащую той, которая в этой области мира господствует. В последнее время советское отношение к восточно-европейским режимам более либерально. И важно, чтобы мы, американцы, не казались в мире противниками этой тенденции, укрепление которой в интересах нас всех". Приведенное высказывание не учитывает только того, что у движения "Спротивления" могут быть внутренние причины, что эти нации хотят жить *своей национальной жизнью*, и поэтому позиция Кеннана не дает ответа на вопрос, что же делать, если политическое движение в этих поработанных странах возникнет изнутри? Не говоря уже о том, что венгерские события и все последующие годы вполне ясно охарактеризовали этот советский "либерализм" как *panzersocialism* "пролетарского интернационализма".

Политическая эмиграция, в отличие от Кеннана, не может игнорировать внутреннее развитие в своих странах, так как и это развитие является частью реальной политики. В результате анализа Венгерской революции в контексте политики блоков, в результате анализа операции кубинских эмигрантов в 1961 году и карибского кризиса, в результате наличия противоречий внутри коммунистического движения, Тигрид приходит к выводу, что жизнь человека не станет лучше, пока дубинка будет самым сильным аргументом.

В своей книге Тигрид ставит вопрос: "К ЧЕМУ ВЕРНУТЬСЯ И ЧТО СЧИТАТЬ ОДНОВРЕМЕННО И НЕОБХОДИМЫМ?". Положительное начало Тигрид видит в том, что снова оживают такие понятия как нравственность, честь, правда, порядочность, вера.

Проделанный Тигридом анализ чехословацкой эмиграции 1948 года и роли президента Бенеша тоже выходит за рамки чисто чехословацкой истории, так как доказывает, что эта эмиграция возникла как следствие политики Чехословакии в 1945-1948 гг., когда в демократическом государстве впервые был проведен эксперимент сотрудничества коммунистов и некоммунистов. "Эта эмиграция была результатом

банкротства мирного сосуществования коммунистов с некоммунистами внутри государства". В эти годы многое было перепробовано. Демократия, парламент, свободные выборы, отсутствие на территории ЧСР советской армии, заявления коммунистической партии Чехословакии, что в стране речь идет не о советском социализме, а об особом пути к социализму, который будет соответствовать традиции чехословацкой истории, что в ЧСР не будет колхозов, и диктатура пролетариата не лозунг коммунистической партии Чехословакии. Но мирное сосуществование трагически провалилось в демократической Чехословакии, оглавленной президентом Бенешем.

Мне хотелось бы подчеркнуть, что именно в свете чехословацкого опыта теперешняя пропаганда экспериментов "мирного сосуществования коммунистических и некоммунистических сил", которые, якобы, "вместе и дружно" будут решать проблемы национального развития демократических наций, — именно в свете опыта Чехословакии — внушает полное недоверие.

Очень интересен проведенный Тигридом анализ той части послеавгустовской чехословацкой эмиграции, которая выступает как продолжатель "пражской весны" и называет себя чехословацкой социалистической оппозицией. Тигрид формулирует свое отношение к "социалистической оппозиции" (Йиржи Пеликан и издаваемый им в Риме журнал "Листы"), говоря, что считает их сторонниками одной из тенденций в современном коммунизме, в то время как коммунизм, как таковой, показал, что в разные времена и в разных формах он представляет собой всегда крайнюю опасность для свободы человека и его прав.

В последней главе — о политических перспективах эмиграции и о перспективах развития страны — Тигрид исходит из того, что решающими являются два фактора — как международная обстановка, так и положение на родине. Значительное внимание Тигрид уделяет советской политике блоков, подавляющей малейшее проявление несогласия, и политике американской. В этой главе Тигрид подчеркивает один факт, который способствует оптимизму в отношении политических перспектив: национальная энергия, — говорит Тигрид, — не исчезает навсегда, и Пражская весна показала, что подавленные власть имущими ценности лишь спят в глубине, но в определенный момент проявляют себя. Бывает, что проходит много времени, пока народы опомнятся от нанесенных им ударов, но это

время приходит... "Во второй половине нашего века политика эмиграции и политика вообще исключают дилетантство... политика должна базироваться на принципах морали и на ценностях, которые дают смысл нашим политическим стремлениям и без которых люди и общества могут как будто бы существовать, но не могут жить".

Важнейшую задачу эмиграции Тигрид видит в том, чтобы эмиграция не замыкалась в своих рамках, а проникала посредством своих представителей в общество той страны, где она живет, и действовала там активно.

Франтишек Силницкий

УКРАЇНСЬКА МУЗА. ПОД РЕДАКЦІЄЮ АЛЕКСИ КОВАЛЕНКА.
2-е изд. Том I., Буэнос Айрес, 1973 (326 стр.).

Почти три года назад при помощи Филиала Украинского католического университета в Буэнос-Айресе вышло интересное переиздание антологии "Украинская Муза", изданной в Киеве в 1908 г. Алексеем (Олексой) Коваленко.

В предисловии к этому переизданию, др. Игорь Качуровский, сам известный украинский поэт, переводчик и автор работы по теории стихосложения, указывает, что "Украинская Муза" переросла границы обыкновенной антологии и явилась как бы подводящим итог произведением, фактически охватывающим поэзию целого периода новой украинской литературы. Качуровский подчёркивает, что хотя в советских источниках время от времени встречаются упоминания "Украинской Музы", но в СССР, очевидно, сохранились считанные экземпляры этого издания, во всём же свободном мире, по его сведениям, — лишь один экземпляр этой книги. Принадлежит он Н.А. Чоловскому, издателю "Сеятеля", не только привезшему в далёкие времена эту антологию в Аргентину, но и занявшемуся техническими и финансовыми вопросами переиздания "Украинской Музы", задуманной её редактором Коваленко для показа развития украинской поэзии "от начала и до наших дней", т.е. от Ивана Петровича Котляревского, ставшего отцом современной украинской литературы. Отрывком из его трагестийной поэмы "Перелицованная Энеида" (первые три части которой вышли в Петербурге в 1798 г.) и открывается отчётное издание.

В первом томе "Украинской Музы" (второй ещё не вышел)

представлено 56 авторов, как известных, так и малоизвестных или полузабытых. Наиболее ярким их произведениям (или отрывкам из них) предшествуют краткие, составленные Коваленко, биографии поэтов и оценка их творчества.

Интересно, что в числе украинских поэтов фигурирует и Сергей Александрович Бердяев (1860 — 1914), старший брат философа. В антологию включены его пять стихотворений на украинском языке, в частности, пользовавшееся в своё время значительным успехом "Ночью" (В ночи). Очерк о С.А. Бердяеве приведу в моём переводе:

"В 1885 в галицийской "Заре" было напечатано его стихотворение "Ночью". После этого его стихотворения время от времени появлялись в различных украинских изданиях. В украинской литературе Сергей Бердяев мало известен как писатель, т.к. по-украински он писал немного, а всю жизнь писал, преимущественно, по-русски — стихотворения, публицистические и критические статьи, рассказы, очерки и т.д. Наиболее известен С.Бердяев как журналист. Статьи его, всегда полны энтузиазма, веры в лучшее будущее... Кроме того, он часто писал стихи по-немецки, по-польски, а также и на других языках. Между прочим, он перевёл на немецкий язык чудесную поэму-балладу "Евшан-зилья" Мыколы Воронного.

Любовь Сергея Бердяева к украинскому народу и украинской литературе разгорелась под влиянием украинского национального культурного движения восьмидесятых годов... Его украинские стихотворения носят, преимущественно, народническо-сентиментальный характер, т.к. Бердяев был убеждённым демократом и народником. Родился С.А. Бердяев в довольно богатой помещицкой семье. Учился в Киеве и, в основном, жил в этом городе, отдавая всё своё время и силы литературному труду".

К этим сведениям остаётся прибавить, что С.А. Бердяев, бывший почти на 15 лет старше своего знаменитого брата, врач по образованию, в литературе пользовался также псевдонимом "Обухивец", производя его от названия родового поместья.

Что касается Алексея Кузьмича Коваленко (1880 — 1927), составителя этой антологии, то он также провёл почти всю жизнь в Киеве. Был он не только поэтом, избравшим своим жанром, преимущественно, пейзажную лирику, но и переводчиком на украинский произведений Гоголя, Ершова, Рылеева и др. Кроме "Украинской

Музы” он составил ещё три антологии и популярный декламатор “Розвага” (Развлечение).

Татьяна Фесенко

ROBERT PAYNE AND NIKITA ROMANOFF. IVAN THE TERRIBLE. TH. V. CROWELL CO. 1975. 509 pp.

Популярная биография Ивана Грозного с прекрасными иллюстрациями, почти исчерпывающей библиографией, генеалогическими таблицами, хорошо изданная на английском языке найдет, вероятно, много читателей. Книга написана живо; очень подробно передается многое, что известно о жизни Ивана IV по историческим трудам, летописям, записям иностранцев, гл. обр. англичан (в книге дается, пожалуй, слишком много значения английским связям и интересам царя, но это вызовет больше интереса у англо-американцев).

Мучительно читать бесконечные пересказы пыток, унижений и зверских убийств, которые совершал или придумывал Иван для бояр, князей, видных и простых людей, митрополитов, священников и монахов, избиение населения целых городов деспотом, правившим Россией 41 год (с 1543 г., когда он проявил свою власть, приказав убить кн. Шуйского). В книге уместно указывается на одобрение Сталиным действий Грозного и на позорную книгу Р. Виппера, написанную в угоду тирану XX столетия.

Книга, конечно, не научный труд, многие свидетельства современников принимаются на веру без критики, мало уделено внимания социально-экономическим факторам, напр. очень слабо освещен период положительных реформ первой четверти царствования, в слишком мрачном виде выведен Сильвестр. Мало объяснены корни “опричнины”. Имеются в книге и погрешности: напр. прозвище Грозный вовсе не происходит от русского слова гром, а от русского и славянского слова “грозный”, которое покойный проф. Г.В. Вернадский по моему мнению точнее передает английским словом The Dreaded; к умирающему Василию III был приглашен не брат, а дядя княгини Елены Глинской — Михаил Львович Глинский; слово скоморохи не пришло в Россию от “скарамушей” комедия дель арте, а известно на Руси ранее 11 века и встречается уже в “Повести временных лет”. На стр. 362 написано, что

после 1576 г. ничего неизвестно о судьбе Симеона Бекбулатовича, а на 387 — что в 1581 г. он командовал армией.

Нужно сказать, что от авторов трудно было бы ожидать глубокого исследования происхождения и назначения опричнины, или значения реформ, а главное, решения психологической загадки — был ли Иван Грозный психопатом, или прирожденным, но умным злодеем и мучителем. В заключение скажем, что некоторые места книги, описывающие террор, пассивность населения, алчность иностранных, гл. обр. английских купцов, готовых "торговать хоть с людоедами" и трусость Ивана перед угрозой татарского нашествия, пробуждают в читателе горестные воспоминания недавнего прошлого нашей много-страдальной родины. Фраза из послания Курбского Ивану звучит почти современно: "Ты превратил Русское царство в темницу адову, замкнув рубежи и подавив свободу" (вольный перевод на совр. русский язык).

Н.В. Первушин

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- И.А. Бунин.* "Под серпом и молотом". Изд. "Заря". Составил С.К. Крыжицкий. Канада. 1975 (237 стр.).
- О. Анстей.* "На юру". Стихи. 1976 (92 стр.).
- А. Сахаров.* "О стране и мире". Изд. "Хроника". Нью-Йорк. 1975 (79 стр.).
- Полторацкий Н.П.* "Русская религиозно-философская мысль XX века". Сборник статей. Питтсбург. 1975 (413 стр.).
- А. Платонов.* "Шарманка". Пьеса. Изд. Ардис. 1975 (59 стр.).
- Я. Бергер.* "Английские и другие поэты". Сборник стихов. Лондон. 1974 (48 стр.)
- Странник.* "Иронические письма". Стихи. Париж. 1975 (81 стр.).
- А. Твердохлебов.* "В защиту прав человека". Сост. В. Чалидзе. Изд. "Хроника". Нью-Йорк. 1975 (160 стр.).
- Т. Ходорович.* "История болезни Леонида Плюща". Сборник. Фонд имени Герцена. Амстердам. 1974 (208 стр.).
- Гаррисон Е. Солсбери.* "900 дней. Блокада Ленинграда". Пер. с англ. Р. Тодд. Нью-Йорк. 1975 (920 стр.).
- Л. Рибалка.* "Росыйськы социал-демократи нацыональне питання". Видавництво "Сучасність". 1969 (65 стр.).

- Л. Леонов.* "Вор". Мюнхен. 1975 (540 стр.).
- Н. Арсеньев.* "О Достоевском". Четыре очерка. Изд. "Жизнь с Богом". Брюссель. 1972 (64 стр.).
- Н. Арсеньев.* "Единый поток жизни (К проблеме единства христиан)". Брюссель. 1973 (297 стр.).
- С. Луцкий.* "Одиночество". Стихи. Париж. 1974 (79 стр.).
- В. Бетаки.* "Замыкание времени". Стихи. Париж. 1974 (199 стр.).
- Т. Лопухина-Родзянко.* "Духовные основы творчества Солженицына". Посев. 1974 (178 стр.).
- В. Каменский.* "Жизнь с Маяковским". Мюнхен. 1974 (212 стр.).
- Т. Фесенко.* "Пропуск в былое". Изд. "Сеятель". Буэнос Айрес. 1975 (61 стр.).
- Л. Владимирова.* "Связь времен". Стихи. 1975 (96 стр.).
- Д. Панин.* "Солженицын и действительность". Париж. 1975 (69 стр.).
- И. Одоевцева.* "Портрет в рифмованной раме". Стихи. Париж. 1976 (70 стр.).
- В. А. Кривошеин.* "Девятнадцатый год". Воспоминания. Брюссель. 1975 (132 стр.).
- А. Солженицын.* "Архипелаг ГУЛаг". III Имка-пресс. 1975 (581 стр.).
- В. Н. Войнович.* "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина". Имка-пресс. 1975 (287 стр.).
- С. Соколов.* "Школа для дураков". Ардис. Анн Арбор. 1976.
- Н. Ильинская.* "Три повести". Мадрид. 1976 (190 стр.).
- В. Вейдле.* "Зимнее солнце". Воспоминания. Вашингтон. 1976 (196 стр.).
- Г. Иванов.* "Собрание стихотворений". Вюрибург. 1975 (367 стр.).
- В. Войнович.* "Иванькиада". Ардис. Анн Арбор. 1976 (112 стр.).
- А. Солженицын.* "Ленин в Цюрихе". Имка-пресс. 1975 (240 стр.).
- Хроника защиты прав в СССР.* Вып. 18. Изд. "Хроника". Нью-Йорк. 1975 (53 стр.).
- Д. Панин.* "Вселенная глазами современного человека". 1976 (109 стр.).
- Dostoyevsky.* „Notes from Underground“. Newly translated by Mirra Ginsburg. 1974. p. 158.
- A. Platonov.* „The Foundation Pit“. Translated by Mirra Ginsburg. New York, 1975. p. 141.
- The Serapion Brothers: A critical Anthology of Stories and Essays.* Edited by Gary Kern and C. Collins. Ardis. Ann Arbor. 1975. p. 178.
- R.C. Elwood.* „Russian Social Democracy in the underground“. Assem. 1974. p. 304.
- The Gogol Russian Library of Roma. Roma. p. 9.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «МОСТ» ВЫШЛИ КНИГИ

РОМАНА ГУЛЯ:

«ОДВУКОНЬ»

Советская и эмигрантская литература.
Нью Йорк. 1973 (322 стр.) Цена 6 долларов

«АЗЕФ»

Исторический роман.
Издание 4-е исправленное
Нью Йорк. 1974 (319 стр.) Цена 6 долларов

«ДЗЕРЖИНСКИЙ»

(Начало террора)
Издание 2-е исправленное
Нью Йорк. 1974 (160 стр.) Цена 4 доллара

«БАКУНИН»

Историческая хроника
Изд. 3-е. Нью Йорк, 1974 (208 стр.) Цена 6 долларов

«КОНЬ РЫЖИЙ»

Автобиография, 2-е издание
Нью Йорк. 1975 (288 стр.) 11 фотографий. Цена 6 долл.

«СОЛЖЕНИЦЫН»

Статьи
Нью Йорк. 1976, (96 стр.) Цена 4 долл.

«КОТОВСКИЙ»

Анархист-Маршал
Изд. 2-е. Нью Йорк. 1976. (66 стр.) Цена 2 долл. 50 ц.

Все эти книги можно заказывать в редакции
«НОВОГО ЖУРНАЛА»
и во всех русских книжных магазинах.

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией

Г. АНДРЕЕВА, РОМАНА ГУЛЯ, Л. РЖЕВСКОГО



ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1976 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1976 год 20 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 6 долларов
Во Франции — 20 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: **МО 6-1692**

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня
